

Должен ли я был вспомнить — если родился, то для чего? Если я жил, то где, кем я был? Без ответов на эти вопросы, которые мучают нас, невозможно отделить человеческую сущность от животного начала. Сам мой приход в этот мир не был так уж важен. Я мог прийти в него, мог не прийти. Важно то, что я выжил, остался, чтобы довести этот завет прошлого до его правильного воплощения.

Вот оно — мое первое воспоминание

Возле стены нашего гумна дымил поминальный костер моего отца. Я не понимал, что произошло, не понимал, почему поднялся так рано. Дед был со мной. Он был печален. Камни на кострище совсем почернели от дыма. Почему я глядел на них, зачем помешивал золу — не знаю. В глазах моего любимого дедушки блестели слёзы. Вот оно — моё первое воспоминание... Позже я часто спрашивал деда о том костре, пытался узнать у него, почему его разожгли подле стены нашего дома. Дед всегда молчал, глотая свою печаль. Он был тирацу нашей деревни — наверное, именно это слово на моих детских губах превратилось в Тацу.

В старину из-за яблоневых угодий деревню называли Хндзорик — «Яблочко». А потом армянское «дз» сменилось тюркским «з», и название стало звучать как Хнзри. Но в Турции жило дикое и непокорное племя по названию Хнзр. В наше время это название несло негативное значение: выражение «Хнзр, сын Хнзра» было оскорбительным. Дерджан была последней приграничной деревней — дальше уже начинались горы Баберта.

Кладбище деревни находилось над нашим родовым кварталом, на небольшом ровном выступе скалы. На краю выступа бил родник, воду которого жители отчего-то не любили. Возле родника стоял дом нашего Фило, а за ним и дома других односельчан. Здания были выстроены вдоль улицы, которая сворачивала вниз, на юг, до нашего дома и гумна, под которым проходила большая дорога, тянувшаяся до дворика часовни, одновременно служившего деревенской площадью. На нашей стороне дороги стояли дома армян — род за родом, фамилия за фамилией, а с западной стороны — неровные курдские мазанки.

На границе с армянским кварталом, на склоне холма, стоял родовой дом ага Али Османа. Несмотря на то, что ага Али Осман носил турецкое имя, был он курдом, получившим полномочия турецкого смотрителя, и стал новоиспечённым главой села. Он был вправе положить свою лапу на любой кусок деревенской земли, а взамен был обязан всячески подчёркивать отрешение от курдского прошлого, возвеличивая свое турецкое настоящее.

Кроме того, если не постоянно, то хотя бы время от времени, он был обязан становиться деревенским главой местного пункта вооружения.

Али Осман, хоть и принял на себя эту последнюю обязанность, всё же относился к ней чуть ли не с ненавистью, почти отлынивал от её исполнения. Он несколько не злоупотреблял полномочиями сборщика податей. Его покойный брат Торун участвовал в защите нашей деревни от разбойного нападения. Целью преступников были богатые дома армян. Жителей удалось спасти и от побоев, и от ограбления, но сам Торун был тяжело ранен и вскоре умер.

Так Али Осман остался последним братом. Али Осман как в своём дворе, так и за его пределами, говорил по-турецки. Волей-неволей пришлось ему «отуречиваться» — он был главой большого рода и нёс ответственность за своих людей. Видно, так было предрешиено

судьбой. У Али было двое хороших сыновей. Характером оба напоминали дядю — были такими же добрыми соседями. Помню, что младший был хорошим певцом...

Жена Торуна Ханум досталась после смерти мужа его младшему брату, Шавчи, став для него и женой и матерью. Ханум была матерью двух прекрасных юных дочерей. Девушек берегли для младшего сына Османа, Гайдара, в качестве дарованной добычи. Бедные девушки созрели и сгорали от тоски по любви, а Гайдар распевал песни о любви и грезил о других женщинах.

Наш хлев и гумно были прижаты друг к другу: вход был общий, а изнутри оба помещения разъединялись. Хлев был большим, удлинялся к западу, в сторону часовни. Крыша была общая. Она вместила под своим покровом стоявшие с краю амбар и зернохранилище. Зерно берегли, предварительно очистив и рассортировав. Разделительные стены в амбаре были аккуратно выложены из кирпича. Амбары были полны до краев или хотя бы до середины. Это была большая гордость моего деда — гордость за наши богатые урожаи. В последние годы дед стал выделять для продажи большую долю урожая. Продажа шла золотом с лазами Гюмушахана (город в Турции — Прим. ред.). Покупатели верхом приезжали в нашу маленькую деревню и брали зерно за оговорённую цену. Платили, как я уже сказал, только золотом.

У моего дедушки Геворга — дьякона, которого турки и курды называли «мавином» — было трое сыновей: Назар, Оваким и Седрак. Наш родовой дом формировался под жестким руководством патриарха и отца. Ни одна из невесток не посмела бы нарушить этот порядок. Помню одну из его строжайших мер наказания: собирал невесток в пекарне для лаваша, запирали дверь, доставал дубину и лупил их, пока те не обещали, что больше так делать не будут.

Мой отец, Оваким, рано умер, и мать осталась в доме вдовой. Две мои сестры, не знаю, по какой причине, не выжили — умерли. Я остался единственным у матери. Её называли по-персидски, Баар (по-армянски — Гоар). Она была грамотная, умелица, с ясным взором. Её часто называли вторым именем, Гоар. Я и запомнил её под этим вторым родовым именем — мать моя Гоар.

Остались дяди Седрак и Назар. Седрак был младший, аскяр — он бегал туда-сюда. Я не помню ни его работы, ни присутствия в доме. Его жена, Югабер, со своими тремя или четырьмя детьми постоянно была с Назаром.

Семьи трёх братьев жили под одной крышей, и главой были мои дед и бабушка Змо.

Каждый должен был знать своё дело, думать о своих обязанностях. В доме царили заветы и порядки деда. За ворчание невесток наказывали.

Наш род называли Рстак. Под этим прозвищем мы и были известны всему Дерджану. Говоря Хнзр подразумевали Рстаков или Али Османа. У нас были разного рода волы и вообще рогатые... Из наших скал самой значительной была скала «Камень грифов». И правда, вечерами казалось, что все грифы, и вообще все крылатые собираются там. Просторные, с густой травой, склоны, высокие, ухабистые — к ним был привержен Каракулах (маленький городок на севере Турции). Меж тем, наша богатая деревня очень нуждалась в пастбищах, поэтому почти каждый день нарушались её границы. Турки пользовались этим и, когда хотели, угоняли скот к себе. Пока наши освобождали животных, приходилось жертвовать столькими головами! А иногда горная сторона

оказывалась занята новыми турецкими поселенцами, чаще всего, турки Каракулаха владели всеми землями.

Я был маленьким, когда уничтожили армянскую церковь и школу. Я проучился там год — об этом расскажу позже.

Лучшие уголья села принадлежали нашему роду — самые большие и самые плодородные в округе. И названия у них были своеобразные: «Серни», «Кашдзор» («Нижние поля»), «Джарби», «Аветхан», «Цоцвор», «Амтаджур», «Губан». В память прочно вошли слова деда о наших полях: «Каждое из них надо неделю пропалывать, по пятнадцать подносов с пловом на каждом съесть, пятнадцать ведер мацуна выпить, двадцать казанов галачеша (блюдо из чечевицы, отцеженного и высушенного кислого молока, топленого масла и жареного лука. — Прим. перев.) съесть, и столько же хаурмы, пять бочек пота вылить, десять раз на них ночевать и дневать, силу десяти быков приложить. А то как же!».

Наш хлев был достаточно большой, заставленный двойными яслями. Весь он был разделен прутьями на отдельные отсеки для животных, согласно их виду и возрасту. В начале, в темном загоне помещались буйволы и молодая буйволица, их ясли были подвешены на цепях и отделены друг от друга брёвнами. За ними следовали быки, коровы, олени, телята, в другом ряду — волы. В последнем ряду, на западе, находились лошади и ослы. Отсюда был выход к большому сараю. Запах свежего сена доносился до самых дальних уголков хлева. Иногда корешки и толстые стволы полевых растений тончили и кидали в ясли. В эти дни в яслях не оставалось ни травинки.

Каждый день помет очищали и складывали в вырытой посреди хлева яме. Здесь на толстом канате висел мешок для навоза. К мешку был прикреплен толстый канат, за который его и тянули к месту предназначения. Выход из хлева был изолирован от общего выхода из гумна, хоть и шёл в тот же коридор. В хлеву всегда выделялись молчаливые овцы и козы — не такие, как козлики и барашки. Между прутьями их загонив валился богатый обед для кур, которым последние не брезговали.

В хлеву мы играли — в прятки, в петушиный бой, боролись. Во все остальное время мы находились или на крышах, или во дворе, или в полях. Мастерили хорошие крепкие мячи из выпавших волос домашних животных. Получались очень хорошие, упругие мячики, совсем как современные резиновые.

Очень редко мы забирались поиграть на нашу крышу. Она была неудобная, покатая. Зато на ней хорошо было прятаться. В отличие от крыши дома деда Гокора, у которого она была плоская, и в хорошую погоду она превращалась в прекрасную игровую площадку, поэтому мы забирались на крышу и играли вдоволь! А для групповых игр самым удобным был наш широкий и ровный двор.

Не было у нас ни в чём недостатка, не знали мы бедности. Дед со своими сыновьями устроил надёжную жизнь. Он мог нанять и пастуха, и пахаря — по необходимости, в зависимости от нужд сезона. В какой-то степени это давало бедным односельчанам возможность заработать на хлеб насущный.

Вода наша стекала с семи «сосцов» горы. Большая скала была ужасом и украшением деревни. До самого июня оттуда можно было принести прекрасного снега. Его добывали смелые парни. Если кто-то заболел, его заворачивали в холодные мокрые одежды. Вся деревня веселилась, больной — благодарил.

Деревня была совсем маленькая. Её границы были с четырёх сторон закрыты, не считая прилегавших склонов гор и оврагов. На востоке располагался захватчик — Каракулах; на юге — Торосы, или Толосы, не помню точно — протурецки настроенные курды; на северо-западе находились хлева курдов, граничивших с районом Баберт. Не было никакой надежды на право, на жалобу, на требование. Наши молчали, чтобы сохранить хотя бы то, что было, от грабежа.

Не могу забыть цветочные ковры наших оврагов и полян! Мы знали, где растут съедобные корешки; когда они созревают; виды растений, их «любимые» места, их названия и особенности; знали тонкости составления букетов и способы плетения венков, и ещё много-много других премудростей.

Как мы гордились, если нам поручали пасти барашка или козочку или вести их домой! Следили за полётом ястребов, орлов, соколов, за стаями скворцов. Насекомые, пчёлы, шмели, пресмыкающиеся, гнёзда с яйцами, детёныши, зрелища борьбы за выживание!

В последний год над гумном построили светлую внешнюю спальню. Я помню, как её строили, как ездили за строительным камнем в поле на деревянной воловьей телеге вместе с дядей Назаром. Мы играли, а дядя собирал камни и клал их на телегу. Вот так постепенно смазанные известью камни превращались в спальню.

Когда приезжали гости (чаще — турецкие грабители), мы с Тацу ложились спать вместе с ними в верхней спальне. Там располагались горелки — на углях и с газом. Газ был похож на горящую колючку. Казалось, это была такая сказка: мужские зимние игры, бесконечность долгих зимних ночей, обеды, ритуалы... Вечерами лисы подкрадывались к деревне и начинали свои шаловливые игры в белоснежных сугробах. Кому было стрелять? Армянин не имел права на ношение оружия. Были ружья у Шавчи и Темура, но зачем им это делать? Пусть себе играют звери, радуют детей и дразнят собак. Иногда поутру слышишь: «Волки вошли ночью в деревню и увели собаку братца Мартироса». Для защиты от волков на шею собакам вешали ошейники с зубцами, но и это не помогало. Для сопротивления волкам сама собака должна была быть сильной и смелой, готовой к сражению.

По вечерам мы слушали сказки в большой спальне дедушки Лусена. Часто он нас убаюкивал: «Спи, злой турецкий волк бродит неподалеку, услышит, придёт... Спи.». В глубине души я всегда воображал волка в образе турецкого разбойника.

У нас часто шёл град. Помню, как дядя Назар взял меня в поле Уси. Вдруг небо потемнело, стал слышен гром, появилась молния, начался потоп. Из полей, из каждого оврага побежали люди. У дяди была накидка из кожи, он её тотчас постелил, швырнул меня под неё, а сам побежал вниз: глупый мул спрятался в овраге, инстинктивно защищаясь от града, и поток воды с обломками земли уже к нему приближался. «Беги, беги, дядя!» — кричал я сверху. К счастью, он успел, выгнал животных, спас. Ещё немного, и сам бы погиб.

В деревне были ужасные разрушения. Вода залила курдские хижины. Животные остались по ту сторону бешеного потока. Пастухи старались их к нему не подпускать. Коровы орали, пытались прыгнуть в воду на поиски телят. Только к утру сумели перебраться к деревне, стоявшей на левом берегу потока.

С тем же дядей Назаром отправлялись мы в сторону Аветхана собирать камни для гостиной. Волы паслись, а я играл в низине. Вдруг вижу, он зовёт и бежит ко мне: «Не бойся, Дживан, эй-эй-эй-эй!».

И тут я заметил уставшего волка, который с высунутым языком, с разинутой пастью направлялся ко мне. Голос он слышит, но бежать быстрее не может. Он пробежал чуть повыше того места, где сидел я, и взглянул голодными глазами — наверное, думал о своём спасении. Подошёл дядя, объяснил, что пастушьи собаки так загнали старого волка, что тот совсем обессилел. Тем не менее, он дошёл до развалин и таким образом спасся.

Зимой часто стучались заблудившиеся в дороге прохожие. Помню, как-то под утро мужчины буквально приволокли двоих. Опытные хозяйки взялись за дело — холодная вода, обливание, горячая вода, обливание. Люди открыли глаза: они поняли, что спасены.

Ах, какая была весна, с песнями, с плясками, с букетами и венками... Когда по весне волновались волы и буйволицы или быки, которых впервые выводили в поле, об их толстые лбы ломали куриное яйцо. Однажды весной нашего вола и вола Али Османа вывели в открытое поле, чтобы они вступили в драку. Обоим закрыли глаза и открыли, только когда те уже стояли друг против друга. От неожиданности они разозлились друг на друга, сначала начали рыть землю и постепенно стали приближаться, и вот — первое столкновение. Потом они опустили на колени, выгнули шеи и замахали рогами вправо-влево. Дело затянулось, и бой решили прервать. Наконец их развели в стороны, но оторвать друг от друга окончательно не удалось. Я честно скажу: не могу точно вспомнить, во время этой ли драки, или в другой раз один из них замедлил шаг, отказавшись от поединка. Второй вол, пользуясь случаем, напал. Медлительному ничего не оставалось, как бежать. Победитель помчался за ним — это было вне правил. Они бежали, и бегу их не было конца, бежали, пока убегающий не устал и не упал на землю. Когда второй вол его настигнет, то будет бить, пока не убьёт. Их месть безгранична, ни одно животное больше так не мстит. А как мы бросали петухов с завязанными глазами за изгородь и заставляли драться!.. Вот какие детали я вспоминаю!

Чем больше я пишу, тем больше напрягаются и краснеют мои глаза. Приход весны, Пасха, бросание креста в воду — с какой радостью всё это отмечалось! Семь недель мы ждали, когда иссякнут листья лука, подвешенного к потолку. Но, не успев закончиться, он уже давал зелёные ростки. Великий пост, ах, этот Великий пост, когда же он пройдет?! Как только он кончался, приходила весна. На день Трндеза — «Звездный родник» — в роднике были золотые звездочки. Когда выходили из поста, разговлялись, били красными и зелеными яйцами.

В тот год мы отправились в паломничество к «кривым деревьям». Был языческий праздник, то ли Вардавара, то ли Арамазда, — люди потоками стекались туда из всех сёл. У деревьев и вправду были кривые ветви и дупла. Пошли мы туда ранним утром — в полуденную жару это было бы труднее. Нужно было перейти на другую сторону Каракулаха. У каждого села было своё постоянное место для привала. Даже знакомые курды приходили и становились «друзьями на веки». Сколько песен, хороводов, сколько молодых искателей судьбы там было! Там они встречались и во многих случаях сразу становились близкими людьми. Никто не замечал, как проходили две ночи. Жаль, что за описание песен и танцев никто не взялся, а я уже не могу ничего вспомнить. В глубине леса стоял монастырь. Завязывали талисманы, организовывали игры, например, на канате. Однажды вол по имени Хендук («сумасшедший») боднул меня своим рогом и сбил с ног. Дядя Назар плеснул мне в лицо холодной родниковой воды, чтобы отогнать мой испуг.

Хендук был из деревенских малорослых волов, а для хорошей работы нужно было иметь более крупных, с ветвистыми рогами. Такие были в Карсе, где жили прорусские армяне. И дед мой поехал. Прошёл Карин, прошёл Карс и привез двух великолепных волов — Партева и Терндаса. Полей много, урожай обильный, пусть тащат груз до гумна. Ух, как скрипела повозка, когда их запрягали!

Топ-топ-топ, мы прыгаем туда-сюда, играем, радуемся. Это придумал мой дед, радуется вместе с нами. Он хитрый, не раскрывает цели этой игры, ведь знает, что проповедь бессмысленна. Уж кому знать, как не ему! Вроде бы играет с нами, а ведь мы топчем навоз. Такая вот полезная игра.

Названия, границы расположения лугов и полей у меня перед глазами. Так же, как и клички, масти и характер жителей нашего скотного двора. Больше всего мы любили луга оврагов Каш и Аверхан. Путь туда занимал почти целый день. Были у нас в реке свои места для купания, запруды, где мы купались, сидя верхом на волах. С лёгкостью я мог ответить, где посеяна остистая пшеница — красная, белая рожь. Была у нас особая трава, из которой делали жвачку — сочная, млечная и очень вкусная. Когда наступала пора сбора этой травы, девочки и женщины только её и ждали. Белоснежная жвачка из неё прекрасно чистила зубы. Во время сбора шиповника, конского щавеля, граб, в горах мелькали пёстрые девичьи платья на фоне зелёной травы.

А когда беременели овцы, стадо спускали в деревню. Помню, как отдыхали, разленившись, псы. Вдруг ягнята смешивались со стадом. Поднимался страшный гвалт, мление, блеяние, пока каждый не находил свою матку, и снова воцарялась тишина. Работавшему в поле пахарю или сеятелю несли обед девушки, дети или младшие невестки, крепко привязав поклажу на спину ослу. А в поле уже ждали, когда в дали появится знакомый ослик. Под сенью дерева или под разведёнными в стороны «рукавами» телеги стелили скатерть, на которую выкладывали лаваш, а на нём появлялась и всякая снедь: плов, долма, ячменные лепешки, яичница, халва, мацони, сливки, сыр чечил. А если дело было на полях «Камень призрака», «Овраг Каш» или «Аверхан», возле звонких, кристальных ручьев, то непременно кто-то сказал бы: «Иди, малыш, набери и принеси свежей воды». Пили воду и ложились отдохнуть. «Ну, встали, уже закат! Солнце заходит». Шаг за шагом, и всё поле обработано.

С помощью учителя Хачатура в деревне учредили школу грамоты. Учитель Хачатур был сыном Воски — самой авторитетной женщины в деревне. Единственным работником по хозяйству у них был маленький Андраник. У них не было отца, почему он рано умер — не знаю. Было решено оправить вместе со мной учиться грамоте Торгома и Мадата. Этой осенью нас сдали учителю Хачатуру. Чтобы дойти до места учебы, нужно было перейти единственную общую дорогу перед храмом, сразу за домом Али Османа, справа от которого был дом тёти Воски, в центральной части села. Вскоре пошёл снег, и Торгом с Мадатом стали бегать по снегу и плакать — не хотели идти в школу. А я хотел, мне это было по сердцу. Из-за таких нерегулярных посещений их исключили, а я остался.

Нас, самых маленьких, было несколько человек. Мы садились по росту на скамеечки, которые приносили сами. В руках у каждого из нас был учебник с распятием; у каждого была каменная доска и каменная ручка. Писали, стирали и писали снова. Важнее всего была таблица с алфавитом. Это была прямоугольная, размером с небольшую книгу, обрамлённая или окантованная доска, на которой были изображены буквы алфавита: Айб, Бен, Гим... и т. д. Нужно было называть их с начала до конца и с конца до начала. В этом случае получалось изучение букв, а у учителя была другая цель — научить нас читать.

Лучше этого — только настоящая школа. В наших книжках были стихи на религиозную тему, исторические сведения, картинки, распятие Иисуса Христа.

Учителя все уважали. В руках он держал «прут порядка». Чаще всего наказывали «стойкой аиста»: стоянием на одной ноге, и ударом по ладони:

— Почему не хочешь учиться, почему убегаешь, не идёшь в школу? Ты, глупый теленок, раскрой ладонь!

Он старался и заинтересовать, чтобы дети не убегали с уроков. Гнева его не помню. Он любил сидеть рядом с печкой, сварить кофе и сделать перерыв.

В тот же год (или позже, не помню) к великой радости всей деревни наш дядя решил хвастаться моими способностями. Договорились с дедом, что на праздник Пасхи на церковной службе я буду читать. За это дед должен был дать церкви «награду радости» — золото.

Я должен был листать по одной огромные страницы пергамента и читать громко и с выражением. Это было из Книги пророка Даниила, о гонениях вавилонского царя Навуходоносора. Об избранном Богом народе — евреях, как о несчастном народе. Пришёл день всенощной, меня одели в чистую, украшенную вышивкой церковную рубашку. Я не доставал до книги. Мне принесли скамеечку, и два дьякона встали по обе стороны от меня, держа свечи, чтобы я мог читать. Я прочитал блестяще. Какая радость, прямо в церкви! Дед не мог остановиться, целуя меня. С того дня меня нарекли грамотным мальчиком села. Из деревни меня перевели в школу Каракулаха. Я не пробыл там и года. Всё угасло. Школу стали разрушать, учителей разогнали и преследовали; школа оказалась под угрозой закрытия. Всё пропало для армян! Потом отняли учебники. Я жил у родственников. Дед приходил каждый день, это было недалеко, в двух часах дороги. В те дни скорбь и плач уже достигли нашей деревни. Иногда к моему деду привозили детей, больных чесоткой. Помню один случай. Рано утром к деду привели девочку, нашу ровесницу. Была она из рода Вардана, и привёл её отец. Дед потребовал, чтобы её привели непременно голодной. Я стеснялся девочки, девочка — меня, будто нас сватали. Отец указал на поражённый участок на её шее.

Дед оторвал от свежего, неиспользованного веника чистый прутик, очистил его ножом и стал медленно чесать поражённое место, совершая крестообразные движения и бормоча какие-то слова. Позже я его спросил:

— Дед, а что это ты делал?

— Вырастешь, и тебя научу. Это такая специальная молитва: чешешь прутиком, шепчешь молитву, и зуд проходит.

Впоследствии я взял себе привычку унимать зуд палочкой или куском спички. Кожа не воспалялась, а зуд проходил. Но стоило попробовать расчесаться руками, как появлялось воспаление. Кстати, слова молитвы дед так и не успел мне поведать.

Торгом был старшим из нас, он и Мадат (дядя Мартирос) были братьями, сыновьями Назара, брата моего отца, я был их «домашним» братом. Однажды весной были мы в поле — Торгом, Мадат и я. Поля были видны из деревни. Мы собирали съедобные травы, играли. Был очень тёплый солнечный день, ясное небо. С правого берега реки к нам подошёл Воскан. Вид у него был недобрый, мы встревожились. Подошёл и, ни

слова не сказав, стал шлёпать моих братьев. Хотя на меня он внимания и не обращал, я всё же тоже начал плакать.

— Замолчите, убью!

Мы стали плакать тише. Потом он оставил нас, ушёл. Воскан был старше нас, он из рода Гбо, ровесник нашего Карапета (Карапет умер в Ереване в 1967 г.). Эти двое были самыми сильными, крепко сложенными парнями в деревне. Часто дрались — и удача улыбалась то одному, то другому из них. Воскан в последнее время несколько раз подряд оказывался в роли проигравшего, отсюда и происходила его злоба. Мы были младшими родственниками Карапета. После того, как он ушел, мы немного подождали и побежали в деревню — жаловаться. Дошли до дому:

— Воскан избил нас на поле Маар!

— Чтоб ему ноги оторвало!

— Идите, найдите Карапета и скажите ему.

Мы так и сделали. Ах, Карапет, Карапет... Он схватил дубину и бросился в поля с криком: «Где ты, Воскан? Где ты, Воскан, сукин сын! Выходи! Всё равно найду и убью!».

До вечера он искал — не нашёл. После возвращения пытались унять его гнев, но вражда между ними сохранилась.

В один прекрасный день к нам откуда-то пришёл Гайдар. Он не стал поступать как Воскан, наоборот, угостил нас пирогом, ласково говорил с нами (жаль, не помню, как). Погладил меня и пошёл в деревню. Перед тем, как войти в деревню, Торгом сказал: «Давайте кушать пирог». «Давай-давай», — согласились мы. Он начал резать, и вынул из пирога клочок волос... Мы швырнули его прочь... Честность Гайдара канула в воду. Мы пошли домой грустные и всё рассказали:

— Дедушка, а Али Осман турок?

— Нет, внучек, он не турок, принял туретчину, чтобы стать агой деревни. Ну а нам и нужен такой глава — защитник. Вот, его брат Торан защитил нас от нападения курдов, тебя тогда ещё не было.

— А из каких мест приходят курдские разбойники?

— Они повсюду... Турецкое правительство вооружает их, говорит: «Идите, грабьте армян».

Он грустно запел: «Жестокий погром, вот наша судьба / Разрушена в прах роскошная Адана».

Потом я узнал, что Гайдар — мой «кровный» брат, я этого не помнил. Мой дальновидный дед договорился с Али Османом, что нас с Гайдаром сделают «кровными» братьями, смешав нашу кровь.

Был в деревне один безумец. Он был молодой, крепкий парень. От чего он сошёл с ума — я не знаю. И зимой, и летом на нём была длинная одежда из ковра. По ночам он мог



заснуть в зарослях — и не болел при этом. Питался он тем, что давали люди. Иногда вдруг, непонятно чем движимый, он стаскивал с себя одежду и начинал кричать, при этом обязательно обращаясь лицом к дому Али-ага и поднося руку к своему достоинству:

— Али-ага, съешь это, сунуть бы тебе в бороду, сунуть бы в рот...

— Минас, тихо! Чтоб ты сдох! — кричали женщины. Тогда он начинал плакать.

Что это были за приступы, не знаю по сей день. Что ему за дело было до Али Османа? Странно.

Однажды матушка Армазан, жена Назара, поставила передо мной горячий чай. Случайно, вырывая траву, я опрокинул его, и кипяток брызнул мне на шею. Всю мою жизнь рана оставалась незаметной.

Мама, ты где?

В наших полях было много козлобородника. Мы рвали его и ели исключительно с солью. Помню, как радовались наши, видя меня здоровым и невредимым. Мама уже не жила с нами... я был сирота.

Дед согласился, чтобы моя молодая мать вышла замуж, таков был зов природы, таково было требование общества. Но как ей оставить своего Дживана? Решили не вывозить её из нашего рода. Мисак остался без жены — всё та же молодежь — поженить, и все вопросы решатся!

— Нет, — сказал дед, — это мне не по сердцу. Да и Гоар там будет плохо (скорее всего, они были бедные).

Многие приходили просить её руки.

— Ещё подождём, — говорил дед.

И вот, в далёком селе Чехныз началось движение к нашему дому.

Дед нашёл лучшего из всех кандидатов, тот согласился. Они тоже очень рады. Как должны увезти — это вопрос — в моём присутствии это было невозможно. Договорились не появляться в деревне вовсе, а в наш дом прийти ночью, когда я буду спать. Мать уложила меня на ночь, и сама легла со мной. Я спокойно заснул. Утром я проснулся — матери рядом нет, бабушка стоит у изголовья.

— Мама, ты где? — меня обняли.

— Она в поле ушла, ты не плачь. — А сами плачут. Удивительно.

— Вы обманываете меня, — не перестаю плакать.

— Где моя мать? В какое поле ушла? Я тоже туда пойду. И побежал... Меня поймали.

— Куда захочешь, туда и пойдем, мой детёныш, — дед берет меня на руки и гладит.

— В какое поле? В то и поведите!

Мы пошли в поле Святых Деревьев. Дошли, я плачу... В деревню меня привезли на руках, спящим.

Как я потом привык — не помню.

Дед организовал дело вместе с Манук-ага. Он был основой и лицом деревни Чехныз. Был он богатой и уважаемой персоной также среди турецких чиновников. У него было двое сыновей: старший, Мисак, остался холостым, ребёнка у него не было (потом родился от моей матери), это я хорошо помню. Он был грамотный, занимался торговлей — об этом расскажу чуть позже.

Но пока остановимся ненадолго в нашей деревне, в моей колыбели.

В деревне опять горе. Пришли, коня забирают, поджигают дом Тороса, говорят: «Ты прячешь ружьё». Вот и военная полиция уже на нашем дворе. Мой дед пытается смягчить ситуацию, найти язык:

— Неужели армянин не может иметь коня, господин полицейский?

— Ты только теперь понял, дьякон? Если гяур сядет на коня, разве после этого станет он склонять голову перед османцем? Есть Аллах... Есть порядок, — смеётся он — Наш Гуран требует раба, и ваш Бог должен поработиться. Иначе зачем мы вошли в вашу страну, и зачем распростёрли свое влияние?

— Сам скажи, дьякон, ведь ум армянина с краю, верно? А края нет, нет...

Мой дед сказал мне: «Кофе поднесёшь ему и поприветствуешь». «Приветствую, — говорю — я сирота, умоляю, оставьте лошадь мне», — повторяю слова моего Тацу. Мой Тацу в роли переводчика. Сжалился, оставил.

Тем временем лошадь измазали навозом, чтобы она выглядела похуже, хуже — лишь бы не досталась турку на обед. Выглядела так же убого, как выглядит армянин. Армянин не имеет права ездить верхом, держать лошадей. Убог армянин, убога Армения... Потом мой дед продал коня.

Теперь о моей матери. Мать моя была дочерью сына священника из Гарнпетак (что значит «горный улей»). Мой дед уделял много внимания вопросу женитьбы, с помощью своей старшей дочери, жившей с мужем в Гарнпетак, он нашел для отца мою мать в невесты. Они жили бедно. Я их запомнил, когда мы с дедом поехали навещать их с матерью перед отъездом. По дороге Гарнпетак мы зашли деревню Булк. Там было много-много мельниц. Там дед мне показал какую-то жидкость и сказал:

— Это масло из камня (это была нефть), если поджечь, оно будет гореть. Здесь есть и газ.

Мы остались там на два дня. Потом поехали чуть дальше, в деревню Мандз. Это была родная деревня бабушки Змо. Помню, у её брата было шесть пальцев (два больших).

Пришёл день отправляться к матери, мы пустились в путь на моём коне. Пошли с правой стороны родника Цорак, вышли на дорогу, обращённую к деревне, дошли до крепостного холма Дум-дум, откуда почти под острым углом склонялось к горе высокогорное ущелье. Путник там сразу оказывается укрыт, приходящий же сразу виден со всех сторон, особенно напротив нашего района. Можно было помахать рукой, позвать, что-то сказать.

Рано утром мы — внук и дед — попрощались и пустились в путь по склонам оврага. Солнце уже поднялось, когда мы пересекли вершину, не садясь на лошадь (она была слишком нагружена, это было попросту невозможно). Появились вдали первые дома села Торус. Курдские мальчишки швыряли камни... Но в кого? Армян не было видно. Были дома, и только печальный дым шёл из их труб.

В центре села видели османских опричников. Мы прошли по деревне, ни разу не улыбнувшись армянам, и они тоже с нами не здоровались. Вышли в низовьях. И дед сказал: «Пришли в Торус — разрушен он. Куда ни глянь — везде погром. Не поздоровится тому, кто пройдет по нижним домам! Здесь турки, — сказал дед. — Пойдем поверху».

Пошли, присели возле какого-то колеса. О чём мы думали, не знаю... На просторной земле притесняли друг друга существа разных видов. Спустились в сторону деревни Фриз, хорошо помню. В дали виднелось мшистое зелёное дно Чёрной воды, которую пересекает быстрая река — как черная крапива. Дед по одному показал мне все деревеньки округи и сказал: «Село Девнер наверху, село Котер внизу, пройдем в Котер. Ты увидишь, что за село». Дошли до Пира. Там нас встретили:

— Вах, отец Геворг, вчера Бин-баши ограбил нас и сказал, что мы должны покинуть село, говорит, выходите из села, здесь будут жить мусульмане, а армяне-гяуры должны быть уничтожены.

— Ты пришёл, внука привёл, свет глазам твоим! У кого нам тебя положить?

Этот скорбящий человек был священником деревни и каким-то родственником деда.

Дед ночью не заснул, а я спал. Больше ничего не понял. На следующий день мы пошли уже по правому берегу Чёрной воды, к мосту Котер.

Любой армяновед обязан знать: мать-река Евфрат берёт начало от Чёрной воды. Она берёт начало из гор Каркар Карина. Не увидишь соломинки, чтобы перейти реку. На всей этой территории есть только один-единственный, значительный мост — с соборной славой, имя которого стало святым, который зовётся «мост Котер».

Дошли до прозрачного ручья. У него нельзя было сидеть. Мы хорошо поели, чем был занят дед, не знаю, а я был весел — шёл к матери. Слева также находилось большое плоскогорье. Вдалеке на позиции хозяина — Багарич. Это старинное строение есть в сердце каждого армянина, глядишь на него и кажется, будит память предков.

К полудню достигли мы развалин Кура (это не река Кур), расположенных на правом берегу моста Котер. Огромные разломанные куски скалы валялись друг на друге вплоть до самого основания моста.

— Что это, дедушка, почему все сломано?

— Эти развалины когда-то были самой мощной армянской крепостью. Армянский Дерджанк, Котер...

Дед сам себе ответил. Мы вошли на мост. Мост был защищен с обеих сторон высокими стенами, стоящими на семи протяжённых дугообразных опорах. Это был горбатый

вымощенный мост. На его середине дед остановил коня. Поднял руку и ударил кнутом по каким-то проводам.

— Что это? — спросил я.

— По этим нитям разговаривают между городами. Посмотри вдоль колонн: они идут в Багарич, идут в Карин, идут в Ерзнка, идут в Себастию, идут до Полиса (Константинополя).

— У этих нитей есть язык?

Он не ответил.

— Пойдём, спустимся по ту сторону моста. Там есть святые книги, там жгут свечи, читают молитвы, — сказал дед и взял меня за руку. — Это священный мост. Его велела построить благородная красавица три или четыре столетия назад. Она построила его по подобию своего кольца, а назывался он Мамахатун («Мать и дочь»). Кто она была — я не знаю. И Мамахатун тут не очень далеко. Вот сейчас мы должны до него дойти и перейти воды Мамахатуна. Пойдем туда пешком, там нет моста.

И правда, пошли и дошли. До нас муж с женой прошли вброд, по грудь в воде. А у нас кони, значит, пройдем.

Воду благополучно прошли — дед крепко держал коня за узду, по пояс в воде, а я был крепко привязанный к седлу.

Слева было большое село Хунлар.

— А вон тот уступ в вышине — висячее горное чудо. Там всегда ветер. Если оттуда прыгнет крылатый конь, он приземлится прямо на правый берег.

Мы попали в сухие заросли. Там мы упустили мужа с женой из виду. Мы не узнали, куда они пошли. Сухие овраги, высокие и низкие холмы. Горные цепи, дикие места. Среди них были разбросаны отдельные села, стоявшие группами: Хорку, Хогек, Гатгули — очередности их не помню.

В Хогеке нам не дали пойти вперед.

— Отец Геворг, ты не избежишь визита к нам, поешь у нас дома со своим внуком. Чехнез здесь близко, успеешь. Пусть Манук-ага ещё подождет.

— Родные мои, ребёнку не терпится увидеть мать, но я еле вас увидел, хорошо, не могу не остановиться у вас.

— Дитя, давай немного отдохнем, и кони отдохнут, а потом поедем.

Что это были за родственники — не знаю. Отдохнули, поели. Помню, утром восхитились, когда я перепрыгнул через принесенный ими стул, и вскочил в седло. Дед рассмеялся, он тоже сел, и мы поехали к моей матери.

Был закат, когда перед нами открылась деревня. Двор Манук-ага, подобно площади, был началом начал села. Там были дети, другие гости, но в центре всего этого — раскрытые

руки моей матери. Как горящая курица, набросилась она на меня, стащила с седла, вобрала в свои объятия. Она всё время целовала меня, обнимала, выпускала из объятий и снова обнимала. Она искупала меня, накормила, уложила. И сама легла рядом.

Больше ничего не помню. Просто утром я проснулся рядом с ней.

— Ты вырос, солнышко моё.

Я прижимался к ней, не отрывался. Она целовала мои восхищенные глаза.

— Сынок, душа моя.

— Мама, это твой дом? Чья это деревня? Что это? Кто это на стене?

— Это фотография, погоди, покажу, у деда дома их нет, а здесь есть. Это дом Манук-ага.

— Что такое фотография, кто этот человек?

— Душа моя, фотографии делают в городе. Вырастешь, ты тоже сфотографируешься. Оденся, пойдём на улицу, там дети, поиграешь с ними.

В доме были дети старше и младше меня. На второй третий день я смешался с ними.

Ранним утром был слышен голос Манук-ага: «Ты — туда, ты — сюда, ты — на санки, ты — на соху, ты — на инструменты, ты — к мельнице, ты — к тониру».

Для меня было много новостей. Животных у них было больше, чем у нас. Целый хлев лошадей, ослов, жеребят. Целое стадо коров, мулов, волов. Телята отдельно. Множество баранов, овец, коз...

Чтобы ещё больше меня удивить, отвели на завод, где выжимали масло (он был собственностью Манук-ага).

Буйвол медленно вращал каменное колесо, ходя вокруг него по кругу. Масло текло в расставленные снизу сосуды. Работают круглый год. Только летом и весной немного отдыхают — чистят.

Я не видел вблизи её нового мужа Мисака. Но кто-то показал мне на него издали, не помню, кто это был. Он благоразумно держался подальше от меня. Видимо, это была временная тактика, пока я не сблизюсь с ним. А пока, все это время, что я был с матерью, он ни разу не переступил за порог спальни моей матери.

Меж тем меня вызвали в гостиную Мисака. Был поздний вечер, посторонних не было. Двое дедушек. Я подбежал в объятия деда. Он был грустен, ничего не говорил.

— Как начнем, Геворг-ага? — нарушил молчание Манук.

— Оставляю на тебя, не говори потом, что я влияю на него.

— Не знаю, что делать с материнским горем.

— Какое горе у моей матери? — вмешался я.

— Парень, иди ко мне, расскажи стишок...

— Расскажи «Крест святой», говорит дед.

— Это нехорошие стихи. Давай прочитаю «Лошадь».

— У нас много коней, ты видел? — Так начал подход ко мне Манук-ага. — Не хочешь остаться с нами? Сядешь, на какую захочешь.

— Я такой же дедушка, как и твой дед, здесь живет твоя мама, иди ко мне на коленки.

— Это ваш дом?

— Да, дитя, мама твоя останется здесь. Чего ты хочешь: остаться или поехать с нами?

— Мама не поедет? Но это не наш дом, не наше село!

— Отец Геворг, у него чистая кровь. Он — дикий цветок, не садовый, чтобы можно было его пересадить. Жалко, не будем трогать.

Я замолчал и крепко обнял дедушку. Увидел слезы на глазах у обеих дедушек. Позвали мою мать, сдали меня ей. Я сладко заснул у нее на руках.

Я не помню расставания, и обратная дорога во мне не запечатлелась. Но ярко помню тот вечер, когда мы спускались к деревне Торос по горной цепи, по оврагу, спускавшемуся к селу. Совсем близко наша деревня, как на ладони, ясно видна как в зеркале. Как меня встретят, как обнимут, что скажут? Помню эти свои мысли. А вот и наши дома, все высыпали на улицу, ждут нас. Как только увидели нас, побежали мне на встречу, да с какой радостью, хлопая в ладоши, крича!

Жизнь села текла в обычном русле. Моего дядю Седрака забрали в аскяры. За дядю Назара Тацу все время давал золото (мешками), чтобы не забирали, он был единственным работником, был в возрасте, у него было много детей. Из нашего рода забрали дядей Аршака, Ашота, Вардана. Ашот иногда приходил — не знаю, почему. Всех взрослых мужчин из деревни забрали. В последний год курд Бако приобрел машинку для стрижки волос и стриг детей. И зубы дергали, только я не помню, кто. Мать приходила повидаться со мной, взяла меня на руки, погладила, я хорошо помню. Привезла мне городской костюм. Одеда — он был мне в пору. Все женщины и мужчины деревни восхищались, но она не смела забрать меня, об этом не было речи.

В тот год какая-то толстая, взрослая женщина из наших родственников приехала к нам с сыном. Этот парень гордился тем, что он горожанин. Наши ребята потащили меня, заставили надеть костюм, подаренный матерью (как раз тогда она и приезжала), привели к нему, чтобы осадить его гордыню. Мы собрались на плоской крыше деда Гокора.

— Ну, посмотри, чей костюм лучше, твой или Дживана?

Парень умолк.

— Ну, спрашивай, пусть он тоже спрашивает, посмотрим, кто из вас больше читает?

Я не помню, кто больше спрашивал, кто больше вопросов задавал... что было за соревнование... и не помню, как уехала мать, не помню подробностей. Помню, как на следующий год брат Мисака отвёз меня к матери. По пути он старался водить своего коня рядом с моим, поддерживал меня, чтобы я не упал.

Но я почти не нуждался в его помощи. Помню, переходя через реку, конь поскользнулся, и я чуть не упал в воду, но вовремя исправил ситуацию. Он очень испугался, да и я тоже. И очень похвалил меня. Больше ничего не осталось в моей памяти. Кругом был мрак. У матери уже был новый младенец. Помню, он заплакал, я подошел, чтобы успокоить, и тут заметил, что мама плачет. Как мы расстались, как я доехал... Ничего не помню.

Мы снова были в деревне. Кому было песни петь в те годы? Тяжко было на сердце, грабили кругом и данью облагали, в армию уводили, золота требовали. Что за армия? Бойня. Под предлогом хранения оружия дома сжигали. Везде сеяли шпионов. В последний год к нам одного вшивого черкеса приставили — поселили в разоренном армянском доме. Домик находился на берегу речки — с участком, амбаром, со всем, что полагается. А черкес был одним из шпионов Каракулаха.

Однажды вечером раздались крики: «Хай-харай, на помощь! Добро мое увели!»

Сельчане выбежали, растерянные, не знают, куда бежать, к кому идти... Решили пойти к дорогам Каракулаха.

Выяснилось, что это было задание жандармов: согнать всю скотину нашей деревни, воду испортить, посеять хаос. Под видом полевых сторожей, турки или отуреченные подонки напали на стадо и угоняли его. Иди теперь на поклон к мьюхьюду, плачь, умоляй, обещай дорогие подарки. Сколько тёлочек и волов он потребует? Что поделаешь: это страна османского турка — армянин здесь не хозяин ни своей жизни, ни своему имуществу. Грабеж, поджоги в порядке вещей — гяур вне закона. Кому жаловаться? Против кого пойдёшь? Сил у тебя нет, ты несчастный армянин.

Утро было то чёрное. У нас в селе был известный в округе барабанщик Егия. Был он весёлым человеком, обременённым детьми, семьей. Он всегда был занят, то в это село позовут, то в другое. Дети у него были маленькие, мы играли вместе. Утром село погрузилось в тишину. Все сидят в своих домах. Холодное молчание. Снаружи дрожит барабан. Солнце едва задело верхнюю макушку церкви. Выбегали мы, малыши.

— Что это, что делает Егия?

— Плачет? И танцует.

Да, он кружился, как безумный, двигался, как безумный. Он бил по барабану без мелодии, абы как, не думая, это были просто разрозненные удары. Он один-одинёшенек, на центральной площади города, у церкви. Приходили из курдских домов, тоже удивлённые. На голове у Егии была турецкая повязка, одет он был в большой белый пояс, с зелёной повязкой поверху, как араб или перс.

— Что случилось?

— Вошли к нему ночью с обнажёнными клинками, и приказали поставить палец на бумагу, заверив таким образом принятие Ислама, становление турком, — поговаривали. — Если нет — вырежут всю семью.

— Ты радуешь турков на исламских свадьбах, не имеешь права оставаться гяуром. — сказали ему. — Ты и твои дети не имеют больше права находиться среди армян, говорить на армянском, одеваться, как армяне.

Мы всё поняли и ушли в свои дома. Был ещё слышен стук барабана Егии.

— Йа Аллах у Аллах, Мухаммед расуаллах («Аллах един, и Мухаммед — пророк его» — Прим. перев.), — они хохотали.

Егия плакал, село было в трауре.

В то лето было полное солнечное затмение. Очень хорошо помню. Мы работали. И вдруг всё оставили. Нас собрали в одном месте, принесли Священное Писание, стали звонить по-церковному (у нас вместо колокола был большой диск с медной колотушкой). Поутру в селе опять горе — вошли зардиане, Матоса из рода Магакян избивают, бьют до смерти.

— Скажи, где твой сын! Почему его нет в деревне, почему сбежал от службы родине? Сейчас спалим твой дом, и тебя в пекло закинем. Трава уже готова — кричат, бьют беднягу, обкладывают его дом травой.

Дедушка Лусен — младший брат моего Тацу — бежит, подходит, показывает турку серебро, говорит: «У Матоса нет ничего, поле, хозяйство без присмотра остались». Курами, петушками, овцами еле-еле задабривает, ручается, что Мисак, сын старого Матоса, хороший плотник. А теперь он в Ерзнке, или в стороне Сваза. Пусть даст время, чтобы его вызвали.

Дедушка Лусен — уполномоченный армян деревни. Мьюдурлик силой взвалил эту ответственность на его плечи, чтобы в случае сомнительных или антиправительственных ситуаций Лусен отвечал своей головой.

— У нас что, жечь нечего? — говорит турок, поглаживая усы, — у стольких армян дома разрушили, вон бревна лежат на открытом воздухе, в руинах.

— Да, чауш эфенди, позову, приедет, исправит, — говорит Матос, съёжившийся в горстку костей.

— Я сотник, не чауш, учись отличать. — Он ударил его.

— Юз-ба-ши эфенди, проголодаетесь, добро пожаловать на нашу трапезу.

Дедушка Лусен пытается уладить дело, и всё кончается тем, что уводят его младшего сына, Цатура. Как увели, так и не слышали мы о нём больше ничего. Но есть же судьба. Как бы то ни было, взяли у дедушки Лусена печатку с пальца, как заверение в том, то через два месяца вернётся в Каракулах плотник Мисак.

Я не хочу спешить в этот проклятый чёрный день. Пусть этот отрывок детства подольше побудет у меня перед глазами. Куда спешить — на бойню? К ятагану турка с адской душой? Нет, не хочу идти дальше — там пропасть для моего народа. Там я в Армении, там наш дом, наша земля, наша страна.

По ту сторону этой горы течет поток крови



Этот день был днём из дней для нашего села (для всего моего народа). С чёрным занавесом или белым — не знаю.

На месте святого креста на большой горе

Свободная земля нам оплот;

Вол и нож вместе.

На славу невесты, хранящей тонир,

Станем пахарями и сохраним

Благословение лаваша

В нашем очаге

Го-го-го.

Не помню год, говорят, это был 1915-й. Но хорошо помню: дядя Назар пахал поле Аверхана. Торгом был с отцом, помогал ему, сидя на воле.

— Но-но! Вол, тащи свою ношу, помогай моему отцу...

Значит, и мы были там. Вместе с Мадатом собирали траву с раскрытых свежих откосов. Гоняли чёрных дятлов. Раскрывали мы руки, пытаюсь поймать их, а они улетали и садились на другой камень. Как ловко они клевали червей! Мы мыли собранную траву и ели. Давали поесть и дяде с Торгомом.

Что случилось в воздухе? Мы ничего и не слышали. Дядя оставил соху, приник ухом к земле:

— Нет, не едет, опоздают.

— Кто, кто опоздает?

Звуки русской артиллерии...

— Должны занять Эрзрум, придут сюда.

— Когда придут? Не знаю. Господи, приближи день нашего освобождения!..

— Но-но, — кричал Торгом волам!

— Кричи, Торгом, сынок! Чтоб твой голос стал зерном...

Кричало поле, дядя Назар...

Но-но! Паши, пахарь!

Твоё колено праведней души.

Идешь туда-сюда, мой вол.

Пусть на следах твоих поднимется пшеница,

Пусть морем взойдет армянская пшеница,

Пусть затмится коготь врага

От света твоего лба.

— Мадат, — кричу я.

— Я знаю, у горы Ухт наше поле. Вот видишь, наши деревья виднеются.

Я сказал:

— Мадат, по высохшей полосе человек спускается, видишь?

Мадат увидел и крикнул:

— Отец, отец, по горе Ухт спускается человек, сюда идет.

— Человек? Вряд ли дойдёт... уже вечер. Едва ли до деревни доберётся.

Ах, Мадат. Вот бы этот человек шёл-шёл, и никогда не доходил бы до места, вот бы этот вечер никогда не кончился...

Дядя крикнул:

— Торгом, поскорее заканчивай, пойдем. Уже темнеет, я вижу, го, мой ягненок, го!

А Мадат всё время смотрел на того человека.

— Смотри, одинокий человек, что спускался по горе Ухт, дошёл до верхнего края нашего поля.

— Как будто бы он свою трость воткнул прямо в сердце небо, встал на дороге и руками машет...

— Эй ты, чей сын, осёл-армянин, для кого ты пашешь и сеешь?

— Не эта ли дорога ведет в Хзри?

— Да, эта, эта, — ответил дядя. — Хнзри. — Го, стой, Торгом.

— Цо, этой ночью хотят напасть на вашу деревню. Цо, поубивают вас, армян, старых, молодых, всех должны уничтожить. Цо, оставь всё, беги в село, спаси хотя бы этих детей...

Дядя выронил из рук рогаль, и он упал в овраг...

— Что ты говоришь, Божий человек, о чём ты бредишь? Кто ты, добрый или злой призрак? Явишься ли мне вблизи? Исчезни, призрак!

— Я не призрак, оторопевший армянин, я курд. По ту сторону этой горы течет поток крови. Я к вам спешу. О горе, о чёрном горе предупреждаю вас... Весь район Байбурд согнали, вырезают, уничтожают вас, армян... Иди в деревню, быстро, скажи всем... Этой ночью вырежут вас всех, никого не пощадят, всех, каждого... хоть детей спасите.

— Торгом, ягненок, я пойду в деревню, — испуганно позвал дядя. — Если можешь, распряги буйволов, не сможешь, ребят позови... Я пойду в деревню... я пойду в деревню...

Потрясенный, обезумевший, спотыкаясь и падая, с криком «егей», он побежал к деревне. Вскоре скрылся из поля нашего зрения... Так и скрылся... навсегда. Мы не смогли развязать буйволов, Торгом остался с пустыми руками. Он искал своими большими глазами человека, возвестившего нам о горе. Не было его, он, как призрак, скрылся из виду. Вдруг все мы трое разом стали кричать, плача:

— Курд... человек. Где ты, куда ты пропал?

Но стояла тишина, тишина, даже птиц не было слышно. Мадат посмотрел на Торгома.

— Торгом, буйволы остались. И рогаль пропал, жалко их.

— Замолчи. Вот, прут есть и хлыст. Пойдём в деревню, пойдём в деревню — повторял Торгом, и мы бежали за ним в деревню, отбивая пятки. Не было ни курда, ни дяди. Добежали до холма, стоявшего перед домами. Деревня почернела: люди, звери — всё смешалось. Село превратилось в кричащую, вопящую кучу. Торгом заплакал, и мы вместе с ним. Добежали до наших домов, это были первые дома в деревне. Обняли нас родные, приласкали, отпустили. Дед окаменел. Собрались вокруг него. Ошарашенные смотрели то туда, то сюда, и молчали... Один ждал слова другого. Что делать? Женщины причитали, теряли сознание. Мужчины, вздыхая, смотрели друг на друга.

— Все дороги в горах заняли, идут сюда. Что делать?

— Турецкий сброд, вооружённый клинками, с войском, с военной полицией, во главе с жандармом должен уничтожить нас. Этой ночью.

Тьма настигала... Скот бодался, ломал двери загонов, мычал, всем было не до скота, он был предоставлен сам себе. Нет хозяина ягнятам, телятам. Невозможно было что-то решить. Сумерки окончательно превратились в тьму. Каждый оставался при своем горе.

Как это вышло, не знаю, но я, Торгом, Мадат, маленький Саркис и крошечный младенец оказались вместе с женой моего дяди Назара — мамой Армазан в коптильне али Османа. Дед уговорил его спасти хотя бы только детей. Сначала он испугался, отказал. Но, немного погодя, послал весть о согласии с очень двойственным и не внушающим доверие обещанием о том, что не может дать рекомендацию об освобождении, так как всякий, спасший армянина, считается предателем Ислама, и должен быть казнен. Тем не менее, на одну ночь он уступает просьбе моего деда, тем более что его собственные сыновья, и рыцарь чести, брат Гайдар просили того же.

Я до этого слышал, что на днях некий знающий и деловой курд, будучи в очень близких дружеских отношениях с моим дедом, рассказал ему такое, во что мой дед не мог поверить. Он сказал, что всех армян уничтожат, и предложил, отказавшись от дома, хозяйства и имущества, передать всё это ему или другому курду, и всем домом и родом освободиться от грядущего несчастья. Что если мой дед согласится, то он поможет нашему роду, перевезёт нас в Дерсим. Турку там нечего делать — там независимые курды. Несмотря на такое это ясное изложение ситуации, у моего деда не хватило сил оторваться от отчего дома. Тем более, что казалось невероятным, чтобы человека уничтожили на его собственной Родине. Такая несказанная дьявольщина! Ведь существуют мир, люди, государство, нации...

Мы были в доме Али Османа. Был поздний вечер. Мы, малыши, заснули. Нас будят. Сперва не понимаем, почему. Рядом с мамой Армазан стояла жена Али Османа — Хатун. Она торопит, что-то шепчет.

— Скорее, скорее выходите, — лицо мамы Армазан было мокро от слёз. Ее душил плач.

Мы тихо как мыши, скукожились — мы в чужом доме. Нас гонят наружу: «Идите, идите, спаси вас Бог!». На дворе темно, нет луны. Слышим какие-то голоса, взрывы, выстрелы. Больше ничего не знаем, плачем беззвучно. Почему, почему, почему? Мы ничего не понимаем. Мы держимся за подол мамы Армазан. Её толкают, торопят. Дошли до копильни. Там было открыто большое отверстие. Через него нас протолкнули внутрь, затем протолкнули маму Армазан и отверстие закрыли. Мы упали в какую-то кучу. Было темно, ничего не было видно. Там был ад, но даже этот ад был переполнен. Из целой деревни — дети, матери, девушки и старухи, все были собраны в этом сеннике. Это был покинутый сенник Егии. Мы боялись играть на его крыше — она была будто куча земли. Молодым невесткам объяснили, что ради спасения более-менее подросших детей следует удушить грудничков, которые ничего не понимали. Душили и молча теряли сознание.

Наверху, на крыше бегают, кричат, стонут, вопят. По деревне гоняют скот, грабят. Пахнет кровью.

Постоянно слышались стоны ружей и крики. Это погром, все убийство. Где ты, дядя Назар? Нет его, никого нет, что происходит? Причитать мы не можем — услышат.

Одна из женщин запричитала: «Нас бросили сюда, должны поджечь...» Вдруг слышится крик обезумевшего, сошедшего с ума... В самом деле, должны были поджечь, но Али Осман-ага попросил этого не делать — сенник прилегал к стене его дома. Даже с оружием противостоял...

Узнав эту весть, женщины бормочут: «Будь благословен». Прижался не знаю к кому. Страхи, ужас испарились, осталась только дрожь. Еще живы несколько сосунков. Начинают плакать.

— Умертви, не давай ему заплакать, — шепчут рядом другие. — Раскроют наше убежище.

У меня до сих пор в ушах голоса женщин, шепчущих проклятья: «Турок, чтоб весь огонь мира обрушился на твою голову, чтоб в твоём ребенке плясал ад. Бог, умри на месте, стань долей молнии! Какой бог? Аллах с ума сошёл, требует жертв...»

Рассветёт, или мы навсегда в мире тьмы? Спим мы или нет? Задыхаемся или дышим? Мы не знаем... Мы были уже не в состоянии о чем-либо думать. Наверное, потому

и не помню, в какой день, в какой час, каким образом нас вынули из этой живой могилы и отвели, бросили к тётке Воске в находящуюся в центре деревни большую пекарню учителя Хачатура. Только помню, что во время перемещения мы увидели труп сумасшедшего Мисака, лежащий уже нескольких дней, зарезанные тела членов семьи барабанщика Егии и другие ужасные зрелища.

— Манук, Манук, Ман... — и я с плачем закрываю глаза.

Спим мы или просыпаемся, воскресаем ли? Не знаю... Как во сне до моего сознания доходят чьи-то слова: «Армазан, пойдёшь, приведи его, пусть он умрёт на наших руках»

Как сумела Армазан пройти сквозь оцепление и привести с помощью курдского пастуха умирающего Манука — не могу сказать, не видел.

Я увидел в тот момент, как Манук, порубленный, с раздробленными костями, валялся без сознания в собственной крови. Манука в числе старших парней увели к скалам в овраге и там изрубили, порезали и бросили умирать в ямы. Манука в самом начале ударили ножом в спину, потом избили железными прутами и бросили вниз. Остальных, изрубленных, завалили на него. Тем не менее, Манук не умер, а потерял сознание. Ночью он открыл глаза и понял, что лежит под трупами. На него снизошли проблески памяти. Он постарался прикрыть раны одеждой, выбраться и побрести к деревне. Дошёл до порога их соседа, курдского пастуха. Курдский пастух, сосед дедушки Мартироса, услышал ночью, как кто-то царапается в дверь, осторожно открыл дверь, и увидел лежащего на пороге в крови Манука. Посылал весть, чтобы его забрали. Его привели, и вот он трепыхается, лежа в крови. До сих пор у меня перед глазами стоит это зрелище: лежащий в крови Манук. Как мне забыть все это, Мадат?

На третий день стало ясно, что резать будут всех — по домам, по семьям, по родам. Организованно, последовательно, по спискам, уничтожали. Прятаться было уже невозможно — деревня находилась в крепком оцеплении. То утро должно было стать последним для нашего рода, наша очередь — мы должны были погибнуть. Мы были последними детьми. Пришли забрать всех нас троих. Прочли по списку:

— Торгом, Мадат, Дживан

Бабушка Змо обняла меня за ноги:

— Куда вы их ведёте, варвары, они же маленькие, меня заберите!

Мать Армазан облизывала кровавые клинки — помешалась.

— Сейчас умерщвлять не будем — ответил ей аскяр. — Их хочет видеть мавин.

— Отведём, покажем и приведём обратно.

Я и Мадат ничего не понимали, спешили поскорее выйти из этого места скорби и разрушения, из этой живой могилы. Торгом отставал, но его подтащили к нам. Выяснилось, что мой дед и другие дедушки ещё не убиты. Их собрали возле дома Грбича. Оттуда поведут резать. Там дед и пожелал узнать, живы ли мы? Умолил, уговорил охранявшего аскяра, дал ему последнее золото из своих карманов, чтобы увидеть в последний раз внуков. Всё остальное золото — килограммами — он успел поспешно

зарыть во дворе нашего дома. Не успел никому указать то место. А теперь я не хочу говорить — если оно до сих пор не найдено, пусть во век его никто не найдет.

Мы шли, плача, друг за другом. Эти вооружённые аскяры повели нас на «черкесскую» крышу дома Грбича:

— Стойте здесь, — сказал один из них.

— Торгом, нас убьют?

— Не бойтесь, я вас защищу.

Вдруг мы увидели, как внизу выводят остальных дедушек. Когда мой дед увидел нас, в его глазах блеснула надежда, губы и руки задрожали. Он уже не имел человеческого облика — превратился в бесформенную глыбу. Мы были на крыше, он — внизу. Потом отвернулся, не смог смотреть на нас, схватился за стену, чтобы не упасть. Потом подошёл и прошептал: «Ложитесь, вытяните вниз руки, я их поцелую». Как мы ни свешивались — он не дотянулся, было слишком высоко. Пospешно он забрался на камень и еле-еле дотянулся до наших рук. По одной потрогал, погладил. Он что-то положил в мою ладонь. Аскяр решил, что это золото, подошел проверить.

— Это малюсенький ножик, — сказал дед. — Умоляю, не отнимай, пусть у него останется, это мой Дживаник, сирота — подарок из Ерзнки — сказал и рухнул.

— Как будто он спасётся! А ты еще печёшься, чтобы ножик спасти, Айда! Двигайся...

И его потащили, смешали с остальными. Нам разрешили смотреть им вслед. Мы плакали. Под наблюдением аскяров они перешли на ту сторону бревенчатого моста. По ту сторону бил ключ. По одному подошли они к роднику и смочили губы, беря по горсти воды, как последнее прощанье с Родиной.

Лишь несколько лет спустя понял я глубокий и священный смысл переданного мне дедом ножа.

Мой дед вместе со своими мудрыми старичками поднялся в гору и окончательно скрылся в овраге. Мы, скорбя, шли назад, и скоро попали в ещё одно место скорби — накал, слёзы, кровь. Потом пошёл град. Пришла весть, что возле горы Торан зарезали наших дедушек.

Лишь спустя несколько лет мне удалось найти место гибели стариков, найти их кости, окропить слезами. Нашёл их окровавленные одежды и спрятал все это под камнями. Маленькую, почти незаметную могилу устроил я им, подальше от турецких глаз, чтобы не нашли и не разрушили её.

Нас отвели назад. Место скорби уменьшилось — девственниц и красивых невесток увели. Остались старухи и самые неприглядные. Манук всё ещё трепыхался в крови. Сколько дней питались мы лишь собственными слезами и горем. О еде никто не думал. Младенцев почти не было — их задушили. Были беременные. Не помню, после града, или на следующий день, очередь по спискам дошла до нас. Предварительно проверяли, сколько людей в этом роду, все ли на месте.

Если были сомнения, что кто-то мог спастись, искали, поручали убийцам найти место трупа, убеждались, что действительно человек погиб. Специальная комиссия посылала отчёт военной полиции.

В тот день поимённо прочитали списки, собрали, выбрали самых маленьких. По одному проверили пол — отделили голеньких мальчиков от девочек. Читали и считали имя за именем. Построили от тонратуна длинную очередь. По обе стороны густой шеренгой стояли представители комиссии и убийцы. Один из представителей комиссии начал читать по списку: «Сыновья Вардана: один, два, три, четыре, пять, шесть — верно; дочери Гбо: один, два, три, четыре, пять, шесть — верно; ползунки Магата: один, два, три, четыре, пять — верно; ходунки Хотага: один, два, три, четыре, пять, шесть — верно; младенцы Тороса: один, два, три, четыре, пять, шесть — верно; отпрыски Рстаки: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь — верно».

Остальных не помню. Это были последние остатки, самые маленькие ростки, не растаявшие младенцы, которых уже не было, за исключением младенца Армазан их Хумлара. Она, наверно, помешалась — не выпускала из рук погибшего ребёнка.

В сердце Торгома сидел ужас — он пятился назад. Мы уже прекратили плакать, бояться, кажется, случившееся не имело с нами никакой связи. Мы даже как бы жаждали конца, чтобы уйти, освободиться от этого жертвенника ужаса и зла. Шли, как во сне. Послышался какой-то скрип, и чей-то голос:

— Ладно, эфенди.

В этот миг кто-то пересёк шеренгу стоящих и вошёл со стороны задней стены, что-то прошептал на ухо турку и с силой тайком толкнул меня к стене, которая была уже далеко от ворот. Согласившийся аскяр толкнул меня, а вслед за мной ещё и Торгома и Мадата:

— Идите. Быстро!

Этот человек, видимо, незаметными путями, вывел нас прочь. Кажется, мы прошли мимо школы учителя Хачатура, где мы учились. Он нас быстро гнал в сторону курдских жилищ. В этой спешке мы вдруг увидели Воскана — друга наших игр. Шея его была разрезана до самого горла, рана была полностью открыта, голова беспомощно упала на грудь, но он ещё не умер. Он ещё пытался ползти, хватаясь за стену, с предсмертной дрожью в ногах. Невероятное, невообразимое зрелище.

— Не смотрите, не надо.

Наш спаситель закрыл нам глаза, повернул нас и втащил в свое жилище. Вошли внутрь. Стоял запах табака. Были выстроены толстые бревна. Это было убогое жилище, с почерневшим от копоти потолком, с небольшой пустошью возле входа. Никого не было видно, лишь в темном углу сидело какое-то существо, похожее на женщину.

— Еле спас, — сказал наш спаситель. — Поухаживай за ними, накорми, жалко.

Больше ничего — мы больше не слышали его голоса — он молча курил. Мы прижались друг к другу в углу, возле сырой стены. Лишь привыкнув к полумраку, смогли мы рассмотреть нашего спасителя. Удивительно, что в доме не было видно награбленного. Этот человек не желает лошадей, коров, масла, постелей, муки, овец, волов? Почему он остался убогим и нищим, ведь вокруг все только и заняты, что грабежом? Неужели есть

в этом мире рука, протянутая армянскому малышу? Этот человек был курд из нашей деревни — невидный, бездетный...

Как он был похож на курда, которого мы видели в Авер-хане. Он не был призрак, он был курд. Почему он спас нас? Так и осталось вечной тайной... По сей день не знаю, и имени не знаю.

Очень скоро пришли благопристойные курды нашей деревни, чтобы увести нас — усыновить или взять в работники. Причина, по которой он спас нас, стала ещё более загадочной — ведь получается, что мы ему вовсе не были нужны. Если мы не нужны были тебе, зачем ты спас нас от ятагана, человек Божий? И имени своего не назвал. Как мне возвеличить тебя, как выразить свою благодарность? Ты у меня перед глазами всю мою жизнь...

Не помню, который был день после погрома, когда меня нашел Гайдар: «Скоро приведу. Государство сделало своё дело и ушло».

И, взяв меня за руку, он пошёл со мной к домам. Сначала подошли к нашему дому. Двери были сломаны, лежали на пороге. Котята и щенки бегали без призора, ягнята и телята млели и смотрели на нас. Во дворе лежали сломанные горшки и бочки — масло, молоко, мацони, все было разграблено.

Обошли с ним весь квартал, потом он без приключений доставил назад, не помню, кому он меня передал; лишь помню, как перед тем, как отпустить меня, он осторожно и тихо спросил:

— Ты знаешь, где дед спрятал золото?

— Нет, — ответил я совершенно безразлично, — не знаю.

Какой был миг Геноцида, и где это было — не помню, лишь смутно помню, что мы стояли возле умирающей бабушки Змо. Даже не помню, днём это было, или ночью. Знаю, что было темно вокруг. Перед смертью бабушка Змо обратилась к маме Армазан: «Армазан, у меня в одежде немного золота, будь опорой ребятам. Моего Дживана ни от кого не отделяй — он твой. Господи, Боже мой, береги моих внуков. Что это за проклятье! Там я пожалею, помолюсь за вас. Господи, спаси армянина от зла. Господи, помилуй. Аминь.», — и отдала душу.

Потом помню, что был в доме Исмаила Шабана. У кого были Торгом и Мадат — не помню. Помню, что их, как и меня, взяли курды, даже дом помню. Беря воду из ручья возле реки, несколько раз проходил мимо их дома. Они показали на меня пальцем, сказали: «Это сирота Бахара, внук дьякона, красивый мальчик». Не могу сказать, как нас забрали от нашего спасителя. Взял меня Исмаил Шабан — старичок невысокий, словоохотливый, добрый. Насколько мои воспоминания соответствуют истине не скажу — плохого я о нём не помню.

Что стало с остальными, не помню, я их не видел. Впоследствии до меня дошли ещё сведения. Женщин погнали в сторону горы Торос, к ближайшим оврагам и утесам. Объявили их «трофеем» — чтобы брали, кто какую хочет, делали, что угодно. Десять или пятнадцать дней они оставались в горах — голодные и измученные. Те, кто оставались живы, еле доползли до деревни. Многие были в полуживом состоянии. Было уже лето, и, давая немного еды, их можно было использовать. Деревенские курды так и поступили.



Цатур тоже спасся. Его историю я в какой-то мере записал. А вот некоторые истории других наших односельчан. Нескольких парней — Карапета, Галуста и ещё не помню кого, отвезли в мьюдурлюк в качестве рабочей силы. Оттуда их передали Баш-аге из Каракулаха, у которого они оставались несколько лет.

Позже услышал подробности гибели дяди Назара. Он спрятался у реки возле хлева Хетун. Прошли дни. Голодный, замёрзший, он хотел добыть для себя пищу. Увидел, как какой-то путник с семьёй готовится перейти речку, вышел из своего убежища и попросил: «Я вас переведу — только дайте что-нибудь поесть». Путник оседлал моего дядю, перешёл на нём на другой берег. А там приказал садиться обедать. А вместо того, чтобы дать хлеба, он вынул клинок и изрубил моего дядю.

Про дядю Седрака я слышал, что он появлялся возле хлебов, но что с ним стало потом — не знаю. Принесли весть, что дедушку Мартироса нашли в верховьях села, в поле, с проломленной головой. Мама Армазан, задушившая младенца, переходя реку, похоронила ребенка в воде. Всё это она мне рассказала.

Долго искал я место гибели учителя Хачатура. Не нашёл. Потом мне рассказали, что его нашли в траве, там же и зарубили: голову швырнули в один овраг, тело в другой. Это было в дернистых ямах Большой горы. Искал я во всех дернистых ямах, где были овраги и овражки. Говорят, он попросил позволить ему помолиться, и после этого начать резать.

Дядю Ашота убили на склоне горы — возле нашего поля. Его и ещё нескольких человек заперли в доме курда Тимура под присмотром сторожа. У дяди Ашота был спрятан пистолет. Когда утром открыли дверь, он неожиданно начал стрелять. Убийца сбежал. Сбежали и пленники. Но их нашли по одному, и убили. Подробности убийства дяди Ашота я узнал позже. Он лежал, обессиленный и голодный. Увидел, что молодые пастухи-курды, отпустив скот пастись, сидят обедают. Он пополз к ним, чтобы попросить куска хлеба. Курдские парни приняли его за волосатого черта, испугались и стали от страха кидать в него камнями. Убили, потаскали. Потом мне удалось увидеть следы его крови в горах.

Торгом и Мадат вместе со своей матерью — Армазан младшей — нашли приют в домах курдов из нашей деревни. В нашем роду было две Армазан. Старшая была матерью Манука. Манук потихоньку шёл на поправку благодаря растительным снадобьям — к счастью, ни одна из ран не достигла сердца.

В это время сын Али Османа Шавчи оседлал коня и, перебросив через плечо ружьё, стал искать мою мать. Он обошёл все места в округе Держана, где производились казни, дошёл даже до моста Котери, но вернулся с пустыми руками. Он всегда мечтал взять мою мать в жёны и теперь решился непременно найти её. Существовало предположение, что моя мать прыгнула с моста Котери вместе со своим новорожденным младенцем на руках в Чёрную речку. Ещё говорили, что какой-то курдский бей увел её в сторону Ерзнка.

Потерявший родину турок Халил

Семья Шабана Исмаила рада — у них теперь есть сын. Они расширяют свои поля, ещё что-то делают. Зия был сыном Исмаила. Невестки Исмаила были самыми красивыми невестками деревни. Они были родные сестры. У Исмаила была внучка, моя ровесница, Лейла. У старичка Исмаила были по этому поводу дальновидные ставки на меня. Зия был хороший, совестливый человек. Каково было его участие в те дни Геноцида, не знаю, но был он очень человечным. Младший сын Исмаила подался в аскяры и пропал, его

не было. Его жена, преданно ждавшая мужа, была младшей сестрой, её звали Зульфией; старшая сестра, Зейнаб, была женой Зия. Я работал на них, в меру своих сил.

Нам, единицам, выжившим в этой бойне, дали мусульманские имена, а всех мальчиков подвергли обрезанию. Меня не обрезали, поскольку у меня головка никогда не покрывалась полностью, она была открыта с рождения, и резать там просто нечего. Меня переименовали, дали халифское имя — Халил. Отныне я не был Дживаном, я стал потерявшим родину турком Халилом.

Я понял, что все кончено, что беззаботное прошлое отныне — законченный сон. Действительность была такова — я односельчанин Исмаила Шабана, чудом уцелевший росток дома Рстак, и я должен дышать и существовать во имя продолжения моего рода. Пусть пока я курд или отуречен, пусть я живу, как раб, но я должен жить. Мне повезло — они знали и меня и мою семью, и были преисполнены благодарности по отношению к моему роду. В их доме больше не было детей мужского пола. Была только Лейла. Она была настоящей Лейлой («ночь», «сумерки», араб.) — миловидной, смуглой, гармоничной. Я это слишком поздно понял, когда она была уже далеко.

Хозяином и управителем дома был старый Исмаил. Зия не напрягал свою голову заботами о полевых работах, не хотел попадать под гнёт. Тяжесть падала на мои детские плечи — принеси воды, почисти хлев, полей скотину, почисти её. Так было зимой, а весной на мне была и работа вне дома. Как прошло лето — не помню.

Вот так, пока мы пришли в себя, русские вместе с армянами перешли Саригамиш в нашу сторону и приближались к Эрзруму. У турков ослаб дух, курды задумались. Уже и награбленное им глаз не радовало. «Подковывали» себе ноги, чтобы пуститься в путь, но вот куда? Родины у них не было.

Я болтался вместе с животными, с которыми успел породниться. Овраг за оврагом, склон за склоном, искал я останки своих родных, собирал и хоронил. Поднялся на все вершины вокруг нашей деревни. Везде кости, кости, окровавленные части человеческих тел. На склоне горы Торос нашёл место гибели наших стариков. Хотел узнать кости моего деда. Все найденные мной кости стали его костями. Я собрал их, устроил под камнями скрытую усыпальницу. Ястребы показывали мне дорогу, кружили над местами, где была смерть. Кидал камни, чтобы не спускаться вниз, лететь под открытым небом.

Никто не замечал вернулся я или нет — ночевал с животными. Утром снова шёл к нашим полям, которые превратились в пастбища. В сторону наших домов я не смотрел, не мог, сердце обрывалось.

Была осень. Было как-то непривычно и грустно. У турок исчезло рвение, курды погрузились в раздумья. У них не было времени, они были «заняты». Русские подошли совсем близко. А с чего им русских бояться? Русских не боялись, но с ними были армяне, и это было страшно. Турки отступали, дойдя до деревни Хичи, находившейся у вершины нашей горы. Помню как-то раз, ближе к вечеру, курды пришли в замешательство. По распоряжению Али Османа они вооружились и заняли оборонительные позиции. Со стороны Торосы в нашу сторону пришел один отряд. Их полководец приказал принять его на ночлег. А деревня боялась грабежа, неизбежного разорения и уничтожения. Провели короткие переговоры. Скоро пришли к соглашению о том, что сельчане предоставят необходимые продукты, а турки пройдут мимо неё и продолжат своё бегство. После падения Эрзрума турецкое войско бежало, фронт был полностью разгромлен. Не задержался также и побег жителей. Али Осман-ага готовился к жизни кочевника.

Другие курды тоже думали, уходить или нет. Некоторые решили идти. Другие — остаться. Среди тех, кто решил уйти, оказался также мой ага.

Армянские жены, оставшиеся в живых, были радостны и спокойны — их ждало освобождение. Решили подняться на склон большой горы и там разрозненно ожидать в оврагах прихода русских войск. Боялись убегающих турок. Ещё они пеклись о том, как освободить нас от наших усыновителей. Они хотели увести нас, нескольких отпрысков мужского пола, с собой. Перевязали и укрепили телеги, ждали, когда тронется Осман-ага. У нас было, кажется, две телеги, не больше. По количеству волов помню. Телеги были смазаны, все запасы взяты. Зия грустил, Исмаил тоже, прощай, Хзри, горное село! А я не знаю, что делать, я в переживаниях. Почему едут, куда едут, кто останется, кто придёт? Меньшая часть села уходит, большинство остаётся. И ни одного родного армянина я не вижу. То помню, что рядом со мной вдруг оказались Торгом и Мадат. Кто привел — не знаю. Друг с другом они не разговаривали.

Спускаемся к долинам, принадлежащим гавару Баберд. Армян нет, только курды, говорят на курдском. Разгрузились возле родника в овражке. Курдское население с удивлением разглядывало нас. Оттуда и стали звать нас кочевниками.

Ага подозвал меня, объяснил, как пройти за охапкой сухого сена для лошади. Я тотчас полетел за ним. Там были огромные свободные снопы сена. Подошёл, хотел нагнуться, чтобы взять охапку сена, как вдруг увидел, что со стороны дома на вершине ко мне ринулись две-три огромные пастушьи собаки. Испуганный до смерти, я нащупал клинок. Удача улыбнулась мне — я увидел молодого парня, который кричал мне сверху: «Садись, садись, пригнись! Стой, стой». Он метнул в собак свой посох и кинулся на них, чтобы освободить меня. Я сидел в полуобморочном состоянии. Добежав до меня, он стал ласково спрашивать: «Кто тебя послал, глупый мальчик? Не знают что ли, что здесь собаки? Если бы я не успел, что бы с тобой стало? Кто ваши? Сказали бы мне — я бы принес сена, сколько нужно»

Он дал мне сена и проводил. Погладил, чтобы я не плакал — он знал, что я очень испуган. Дошёл я до места бледный, без кровинки в лице. Зия заметил это. Я всё ему рассказал, заикаясь. Он обиделся на отца.

На следующий день дошли мы до многорукой (разветвленной) реки Чорох. На песочном дне этой обитой зелёными берегами реки я заметил бобров. Никто не тревожил устоев их бытия, и поэтому они с удивлением смотрели на нас, не прячась. Я кидал в них камнями, чтобы попрытались.

Доходили слухи, что русские приближаются. Когда они дойдут до нас, вы сможете нас уберечь, правда, Халил? — по секрету шутили со мной две сестры. — Ты красивый мальчик, — слегка приблизившись ко мне, забавы ради повторяли они.

«Неужели это возможно?», — думаю я, и, смеясь про себя, бегу собирать животных. Наш караван, возглавляемый Али Османом, обосновалась на берегу реки. Ночевали мы под открытым небом, они — под прикрытием телег, я — вместе с животными. До того дня не знал я, что стало с Торгом и Мадатом, почему их не видно. В тот день, как и во все другие, я заснул среди волов. Было уже довольно поздно, когда Исмаил разбудил меня. Поручил мне увести волов на пастбище, до рассвета. Шагая позади волов, я увидел также Торгома и Мадата. Заспанные, мы повели волов втроём на пастбище. Торгом потихоньку гнал волов всё дальше и дальше. Я и Мадат решили прилечь поспать — когда позовут, тогда и пойдём. Вдруг Торгом тихим голосом произнёс: «Дживан, Мадат, слушайте меня.

Я должен бежать, русские уже должны быть возле нашей деревни. Вы не можете бежать — на дороге полно аскяров, поймают, прирежут. Вы придёте вместе с Цатуром. Он здесь, похитит вас, приведёт».

Сказал и сразу побежал. Мы, плача, побежали за ним. Уже светало. Он начал гнать нас, кидаясь камнями, и слёзно просить:

— Не бегите за мной, я вернусь вместе с русскими, приду и найду вас. Вместе нас заметят, поймают, убьют.

Мы плакали и бежали за ним. Ничего не хотели слышать и понимать. Он больше не остановился, ускользнул, ушел. Мы ещё долго бежали, пока я не потерял в плаче сознание и не упал на землю, заснув. Вдруг слышу:

— Вставай, вставай, — в ужасе открываю глаза и вижу: передо мной дедушка Исмаил.

— Не бойся, — говорит, — я ничего тебе не сделаю. Они плохие мальчики, а ты умница, их поймают, зарежут.

— Вставай, пойдём, ты наш добрый мальчик, Халил, не убегай, пропадёшь. Вставай, пойдём.

Он увещевал меня, утешал. Понимал ли он, что я не слушал его слов, а только плакал? Зачем я остался, тогда как Мадат ушёл? Он бежал впереди меня, ревя под камнепадом Торгома, не останавливался.

Мы вернулись к животным, запрягли волов и пустились в путь. К каравану добрались к полудню. Я повёл волов на ближайшее пастбище. Я долго продержал волов на выгоне — другие уже запрягали, а я всё пас. Мои переживания достигли высшей степени. «Где Цатур, как мне его найти? Нет, надо бежать! Куда я иду с этими чужаками? Сейчас же и убегу, но куда?» Огляделся: залезу-ка под этот куст. Отгоняю волов, чтобы шли по следам других животных «Пусть они уйдут, пропадут. Русские пришли, наши сейчас в деревне свободны, убегу, убегу!» Все это морем колыхается в моей душе. Я даже решаю окончательно, как залезу в заросли, где спрячусь.

«Но, но!» — я начал швырять камнями в волов, чтоб они отошли. Они без меня и шагу не ступали. Я отошёл, чтобы спрятаться, но мои волы шли за мной и смотрели мне в глаза. Я заколебался — они же могут выдать моё место.

Что мне делать, где Цатур? Нет, так не пойдет, поймут, что убегаю, что сделают — неизвестно. Бегу к волам. Снова сомневаюсь: «Бежать надо, куда я иду?.. Нет, не получится». Неопределенность велика, затеянное мною дело превыше моих сил. Одолеваемый сомнениями, шёл я вперед, как вдруг понял, что уже приближаюсь к телегам. Я опоздал. Другие уже ушли, остались только Исмаил с семьей. Ждали меня. Увидели, что возвращаюсь — стали со спокойным сердцем запрягать волов.

Мы всё время идем. Дни превращаются в недели. Цатура нет и нет, потом я узнал, что он тоже бежал. Отовсюду доходили слухи, что русские уже близко, что они всё ещё следуют за нами. Помню переполох в деревнях, решивших отправиться с нами в путь: им предстояло оставить все награбленное. Они резали скотину, ломали деревья.

— Эта земля не была нашей и нашей не станет, — говорили они и ворчали в адрес Османа: Бизым эвелымз дэ Шам, ахретеми Шам.

«Нам не достанется, пусть и гяуру не достанется...» Было лучшее время для фруктов, и меня отправляли их собирать.

Я шёл, играя, за телегами, погоняя волов. Вешал на плечо дубину и представлял себе, что это — ружье, это — моя мать, это — Торгом, это — Мадат, это — мой дядя, брат отца... Так и шёл я, играя, вспоминая наших и нашу деревню. Я пел про себя, чтобы вдруг не забыть, что я армянин, не забыть свое имя... Чтобы помнить. Но я шёл с ними, шёл к Шаму.

Как-то раз на склоне какой-то горы я пас волов. И вдруг вижу — рядом со мной Манук, снял с себя тряпье, греет спину под солнцем. Чешется и никак не успокоится. Он протянул мне чистый клинок, указал на свою спину и попросил: «Дживаник, вынь осторожно заметные кусочки костей...». Его спина была похожа на сеть. Снял, сколько смог. Он всё время говорил: «Ой, болит, чешется, посмотри, нет ли там червей? Солнце полезно, согревает и помогает выздоровлению».

Я не узнал, в чьём доме он пребывает, как нашёл меня. Через пару дней мы снова встретились. Я его чистил. Мы беседовали. От него я узнал, что Цатур бежал.

«После него должен был уйти я, а тебя — забрать с собой, — сказал он и виноватым голосом добавил — не смог».

После этого я Манука больше не видел.

Произошло нечто странное: среди каравана прошёл слух, что русские преграждают нам путь. Все стали волноваться. Это оказалось ложью, но мы слышали возгласы:

— Аэроплан! Аэроплан!

— Отойдите от повозок, отойдите от повозок, — объясняли нам, крича, беженцы, разбросанные вдоль дороги.

— Они не Аламанские, а Инглизские, или Московские. Стреляют, бомбы кидают.

Те, у кого были ружья, стали стрелять в воздух. Планер не приблизился к каравану, скрылся за горами.

Караваны часто смешивались, разделялись, росли, и снова редели. Постепенно разными путями углублялись они внутрь Анатолии. Я совершенно ничем не интересовался, мой ум был занят воспоминаниями, витал в нашей деревне.

Мы разбили лагерь в местности сухой и жаркой. Сказали, что наверху есть какое-то озеро, вокруг которого полно грязи, в которой водятся пиявки. Их собирали и приносили для лечения недугов тела. Им давали высосать грязную кровь и выбрасывали прочь. Некоторое время пребывали мы в этой засушливой местности. Было решено идти в сторону Альбистана. В этом промежутке мы достигли плоскогорья, возле края которого был особым способом укреплен огромный кусок скалы. Все подходили, трогали, высказывали предположения:

— Здесь была в таком-то году установленная русскими («московом») граница. Здесь установили свой приграничный камень русские.

Были ли записи по этому поводу, не могу сказать, но каменная скала до сих пор у меня перед глазами.

Поднимались мы на Чиман дах («Зелёную гору»), в долину Каначке. Где находился этот район — не знаю.

Я заболел, горел в жару, большую часть дня проводил в бреду. Меня укладывали в углу телеги, чем-то накрывали. Обе сестры были недовольны:

— Он умрёт беспризорным, мы за ним ухаживать не будем. Всё время мать вспоминает. И как он её не забыл!

Исмаил жалел меня, но ничего не мог поделать. Отовсюду я слышал:

— Положи его под дерево, пусть спокойно умрет. Всё равно он не жилец, не мучай ни себя, ни его.

Но Зия никого не слушал. Доброту Зия я не забуду до могилы.

Я открыл глаза, увидел, что лежу в телеге. За мной ухаживал Зия, смочил мне лоб, губы, дал немного попить. Телегу сильно трясет, я не могу заснуть, тело ломит. Зия, к удивлению своей семьи, взвалил меня себе на плечи. Я обнял его за шею. Постепенно я успокаиваюсь и целую одежду Зия.

Осенью мы дошли до района Альбистан. Не знаю, почему, но наши не последовали за Али Османом. Караван Али Османа ушел в сторону Кесарии. Наши Карапет и Галуст были с ними. Мы двинулись к ближайшим высоким скалам. В тех местах было много брошенных, пустых домов. В одном из них мы выбрали удобные, совершенно готовые к жилью квартиры и поселились. Чьи это были дома? Чья это земля? Как знать. В Турции о таких вещах не спрашивали — просто стань хозяином, и всё.

Среди курдов нашего каравана находились братья из семьи Никагосянов. Я ничего об этом не знал. Однажды вечером женщины сообщили мне, мол, Халил, мальчики Никагосяны оба тяжело больны, жалко, пойдите, повидайтесь с ними, чтоб не умерли с тоской в сердце. Я грустил, не знал, в каком доме они живут. На следующий день я узнал, что младший умер. Вскоре и старший скончался, я не успел его повидать.

Была весна. Я уже второй раз находился в силках болезни. В бреду говорил по-армянски. Закутанный в тряпье, я лежал на земле. Кусок ткани, служивший мне одеялом, был короток — когда я тянул его вниз, обнажались плечи, тянул вверх, обнажались ноги. Я свернулся калачиком, не подавая признаков жизни. Услышал голос какой-то из женщин:

— Жалко его, сварим ему предсмертную кашу, пусть уходит с сытыми глазами, не накликает на нас проклятий в нашем пути.

Как я выздоровел — не помню. Я был по-прежнему среди волов.

Здесь понятия зимы и осени были условны, так как в обоих случаях я пас животных на выгоне. На пастбищах было очень трудно найти воду, мы использовали подталины. Я

поднимался к снегам на самой вершине, где струилась прозрачная и холодная влага. Зейнаб, младшая невестка Исмаила-ага, сгорала от страсти — ей нужен был мужчина.

Однажды она подошла ко мне, сжала мне руку. Мне стало не себе. А в другой раз она позвала меня и по секрету поручила:

— Гайдар должен быть в горах. Скажи ему, что жду его с нетерпением. Пусть даст знать, где мы встретимся. Смотри, никому не говори. — И крепко поцеловала.

— Ладно, — сказал я и побежал.

По правде говоря, я тоже хотел видеть Гайдара. Не помню, как я исполнил эту просьбу, не помню, и как встретился с Гайдаром, но в конце концов они нашли друг друга (по запаху, что ли...).

Эта пухленькая младшая невестка днем и ночью сгорала от страсти к Гайдару. Все чувствовали, что что-то не так, даже мои волосы чувствовали. Однажды среди соседей распространился слух:

— Мемед возвращается.

— Радость-то какая! Он жив, нашёл наш след и возвращается.

Мемед был младшим сыном Исмаила. Ушёл в солдаты и пропал, три-четыре года не было от него вестей. И вдруг Мемед нашёлся, нашёл следы семьи и идёт к нам. Мы не трогались с места, ждали, пока он, выпрашивая путь, дойдёт до нас. Вечером, погоняя волов, я увидел, что Мемед вернулся. Все собрались вокруг него. На следующее утро Мемед не вышел. Пухленькой тоже не было видно. Они появились до моего отбытия на пастбище. Глаза её были заплаканы. Мемед был мрачен. Зия и Исмаил молчали. Старшая сестра старалась развеять мрачное настроение наигранной игривостью. Соседи шептались: Мемед обо всем узнал. Пухленькая боялась, что Мемед станет мстить.

Мемед согласился идти в сторону Кьюирини скизипи. На лице Исмаила появилась улыбка. Мы двинулись в путь — предстояла долгая дорога. Мемед очень скоро привязался ко мне. Он увидел во мне своего наследника. В округах Чоруна, кажется, к нам присоединилось ещё несколько «искателей», тех, кто искал место для окончательного поселения. Мы двинулись в путь.

Были сумерки. Малыши заснули. Вдруг послышался конский топот. Три всадника остановились недалеко от каравана, на краю дороги. Тут же стали спрашивать друг у друга:

— Кто они? Давайте спросим.

— Будьте осторожны...

Из каравана крикнули:

— У кого есть оружие, вооружитесь!

— Эй, кто вы, что вам надо?

— Спокойно! — Послышался ответ. — Мы — воины губернатора. В Чоруме ходят слухи, что среди вас водятся дезертиры, разбойники, предатели нации. Мы ради родины оставили свои дома, а вы дезертиров скрываете? Сволочи, разбойники! Сейчас вас всех погоним в Чорум!

— Нет таких среди нас, — ответили наши.

— Сейчас проверим, узнаем, — сказали они, и двое из них поскакали внутрь каравана, а один остался на дороге. Стали обыскивать и вскоре остановились перед повозкой самого благопристойного вида, где были постелены прекрасные ковры. Кроме развёрнутых ковров нашли один свёрнутый в цилиндр. Приказали сидящим встать, чтобы можно было проверить. Вдруг послышались выстрелы, начался переполох, суматоха, и до того, как люди успели понять, что произошло, они, схватив ковры, прыгнули в седла и поскакали к третьему всаднику. Всё это представление я видел собственными глазами.

— Обманули! Ребята, стреляйте! Седлайте коней, в погоню!

Но было уже поздно, они растворялись во мгле тенистого оврага. Кто бы дерзнул подвергнуть себя такой опасности? Всех предупредили, что лучше отказаться от мысли о преследовании. Ничего нельзя было сделать, только лишь принести напрасные жертвы. Немного погодя караван мирно храпел.

Мемед заботился обо мне больше всех. Он стал мыть мою убогую одежду, штопать её. Утром он вставал раньше меня и клал масло, сливки, всё, что было, в первую очередь, в мою котомку. Показывал, куда вести животных, объяснял, что и как сделать. Этот молчун, который, казалось, ни с кем не обмолвится словечком, со мной предавался сладким беседам. Дискриминация достигла такого размаха, что женщины стали в открытую ворчать: «Оставив нас, он печётся о щенке гюра. Всё равно он нам сыном не станет. Зря Мемед тешит себя надеждой». Он не обращал внимания на это ворчание.

А однажды мне заявили, мол, ваш Газар (турецкого имени не помню) плачет каждый раз за обедом, иди, поговори с ним, может, тебе он скажет, почему плачет. Я поговорил. Он посмотрел на меня, подошел, взял за руку, обнялся. Глаза его были, как источник слёз. Он был моим ровесником, сыном дяди Ашота, по линии дедушки Абола. Я ронял слёзы на его голову, он — мне на плечи. Сперва мы молчали, не могли говорить.

Потом я спросил:

— Почему ты плачешь, когда тебе дают поесть? Ты всегда плачешь за едой, почему? Ты знаешь, где Галуст?

— Не знаю Дживан. Я один-одинёшенек.

— А почему за обедом плачешь?

— Не знаю. Когда дают поесть, вспоминаю наш дом, и слёзы наворачиваются, не могу их сдержать. Отстаём, побежали! — и побежал догонять стадо.

— Не забудь, что ты армянин. Иногда сам с собой разговаривай на армянском, чтобы не забыть, — крикнул я вслед.

Так и ушёл, волоча ноги.



Мы шли, предавшись каждый своим мыслям под скрип колёс. Иногда я поглядывал на лесные заросли справа от дороги. Там Газар. В котором именно — не знаю. Рядом с нами река Алис, но её не видно, и шума её не слышно. Алис остаётся справа, мы движемся влево. Пригодных для проживания домишек не видно, кругом разруха. Мы трогались на рассвете, и кто знал, куда нам предстоит дойти? Овражек начинался и заканчивался кизилковыми деревьями. Было хорошее время для кизила — большого, кисленького. Я удивлялся, почему его не едят.

На правом берегу Алис, возле деревеньки встретил я старика. Только взглянул на меня, как сразу:

— Мальчик, кто ты? Они переселенцы, я знаю. Вы ведь из армянской страны, лежащей недалеко от русской стороны?

— Ага, — ответил я ему, — ты добрый человек, я сделаю, как ты скажешь.

— Я тоже пришёл сюда из тех мест. Считай, что этот огород твой, можешь рвать все лучшие огурцы, луковицы. Я сейчас сам тебе принесу. Ешь спокойно, яврум, волы будут пастись, никуда не уйдут, травы много. Жарко и пыльно — лягут и станут мычать. Вот, ешь, что хочешь, остальное возьми с собой. Как тебя зовут?

— Халил, Хало...

— Нет, назови свое настоящее имя.

— Моё имя? — Я почти что плакал от страха.

— Так не пойдёт, — сказал он, — не плачь. Я ассириец, брошенный здесь в одиночестве. Это долгая история, я был аскяром, бывал в стороне Эрзрума, Вана. Видел всё своими глазами. Не плачь, я знаю, ты сиротка. Хорошо, что ты остался в живых. Я бежал вместе с Бочгуном. Освободил одну армянку с ребенком. Она не выдержала, умерла. Ребенка оставила на мою милость. Решил взять его в наш дом. Нашу страну уже взяли «хофилизы», я не мог вернуться. Снова встретил несчастных армян. Взял одну армянку себе в жёны и остался в тех местах. Жили мы тихо и мирно, но однажды ночью вошли разбойники увели дочь и жену. Хочешь, оставлю тебя у себя? Мне страшно, знают, что я не турок. К тому же я уже стар — сегодня есть, завтра меня не будет.

— Хали Халил меня зовут, — я пошёл.

Мы попрощались и расстались. Мы были в засушливом Чайане. Нашим здесь не нравилось, у них не было мысли тут обосноваться. К северу от Чайана лежала равнина — богатая хорошей землёй, но бедная на воду. Не было ни родника, ни сильного ручья: он был, но совсем маленький. Наверху стояла воронкообразная деревенька. Благодаря ручейку широкая полоса земли полностью превратилась в богатый виноградный сад, но получить большее от этой маленькой воды было невозможно.

Главным моим другом по полям был глухой старенький курд. Зачем он оставил родную деревню и пустился в путь, было не понятно. Я так ничего и не услышал от него. До сих пор иногда думаю, быть может он и был тем «курдом-апостолом», спасшим нас от ятагана. Но может ли человек не помнить своего спасителя?

Как только поднималось солнце, этот глухой старый курд, втянув руки и раскрыв ладони, с жаром молился встающему могучему светилу. Я смотрел, и это очень трогало мою душу. Человек молился.

Как-то так однажды получилось, что мы, несколько подростков, отправились вслед за стадом и вошли в заброшенные сады тех мест. Грозди были хорошие, но такие сладкие, будто уже готовый изюм. По всей длине сад был окружен живой изгородью и хорошо ухожен. Мы не заметили, что на прилегающем к саду участке стояла сторожевая вышка. Сад был огромен, целое море лоз! Гроздья винограда были похожи на желтые улыбки. Мы облили животных, сами попили и спустились вниз, к лугу. Но в этот день так хотелось вкусить большего, не было сил терпеть! Бросили жребий, чтобы решить, кто пойдёт. Жребий выпал нам троим. Был полдень, стояла невыносимая жара. Подумали, что сторож спит, или разморен от жары. Пошли вверх по оврагу. Вошли без труда. Каждый сорвал с понравившейся ему лозы и положил в сумку. Мы молча вышли и спокойно спустились к ожидавшим нас ребятам. Поднялись по скале и распластались на траве. Начали есть. И тут заметили, что сторож со своей дубиной стоит над нами. Мы встали, окаменевшие от страха, как статуи. Мы застыли в ожидании наказания.

— Насыпьте всё в сумки,

— Куда? — испуганно спросили мы сторожа.

— Ваши сумки, и валите отсюда...

— Э, а ну, на колени, ряд! Каждый из вас заслужил по одной дубине — не больше.

Мы немного успокоились — отделались ценой по одной шишке на каждого.

— Однако, твоя сумка останется, — сказал он мне. — Пусть за ней придёт твой родитель или ага...

Был уже поздний вечер, но я не спускался в деревню. Я ждал, чтобы совсем стемнело, и домашние не заметили отсутствия сумки. Но мне не удалось реализовать задуманное: заметили.

— Где твоя сумка? — Я попробовал дать скользкие объяснения.

— Забыл, принесу, оставил там-то...

Не вышло — меня слишком хорошо знали.

— Мальчишка, скажи, кто взял, у кого она, я пойду за ней, — уверил меня старый Исмаил. Сердце мое было покорено, и я всё ему рассказал. Сказал, что сторож произнес: «Пусть твой ага придёт за ней».

— Ладно, ладно, пойду принесу, он отдаст, не стесняйся больше.

Пошёл и принес сумку, полную винограда. К радости невесток.

В те дни от родительской семьи наших невесток пришла весточка: оставьте Чайан, идите в Чифлик, в губернию Анкары. Насколько я помню, Зия и Мемед когда-то бывали в тех местах. Семья Шабанова Исмаила приготовилась продолжить путь к Западу, к Анкаре.

Пустились в путь. Жаль, невозможно передать всего, всё изобразить. Не забыл я Дэидже, по-армянски она называлась Гайлагет — «Волчья река». Была пора весенних наводнений. Рано утром шли мы на запряжённых телегах. На каждом шагу были следы разрушительных наводнений. Все они вели к уставшей от собственного безумия, присмиревшей реке. Не река, а раскалённая жидкость. Текла она на север, чтобы смешаться с Алис. Мы шагали очень осторожно, дороги были разрушены, под ногами хлюпала скользкая грязь. Наконец мы пришли в Чифлик.

Разгрузились ранним утром. Свободных домов было много, выбирай, какой хочешь. Выбрали дом, стоящий на краю обрыва и имеющий все необходимые пристройки. Амбар, тониратун, сарай. Как райская земля — тишина, чистота и прекрасная природа.

У меня добавилось забот. Помимо выпаса стада, я должен был теперь каждый день на своих плечах приносить сушняк. Была на моей шее и другая забота — о родительской семье наших невесток. У них было двое сыновей, старше меня. Они были один ленивее другого, к тому же, зачем их обижать, если есть я. Они были ещё безжалостнее своих родителей: «Пусть Халил сделает, для того его и содержим, защищаем». Поэтому я дома почти не появлялся. Пропадал то в амбаре, то на выгоне, то в хлеву. Моим домом был Чифлик. Ночевал, где попало, лишь бы не выполнять их задания. У меня были животные и собака. Друзей у меня не было, семьи не было. Там было всего 4–5 домов, в двух из которых жили наши.

Должен сказать, что в Чифлике было три человека по имени Зия. Один был уже известный вам Зия, другой — ага-Зия, и третий — Зия-бек.

Над западным оврагом властвовала небольшая скала. На этой скале располагался летний дом ага-Зия, захватившего почти весь Чифлик. Был у него и жилой дом, и хлев, и амбары, и склады. Сам он не появлялся, жил в Анкаре. Был он богатым купцом, имел магазины. Его называли ага-Зия. Этот ага-Зия, будучи османским турком, мог присвоить всё, что ему понравится. Вот почему был этот ага-Зия владельцем богатств. Конечно, это было не заработанное, а награбленное и захваченное, в основном у армян.

Был в Чифлике и третий Зия. Это был Зия-бек — рыцарь-разбойник. Никто не испытывал к нему ненависти, хотя этих «никто» и самих не было видно, потому что на нашем пути населения почти не встречалось. Я за всё время встретил только двоих. Иногда в жилище Зия-бека входил какой-то человек, с которым он и исчезал к вечеру. Спустя несколько недель он снова поселялся в своем доме. Был он любителем приятного времяпрепровождения, ни детей, ни богатств в его доме не было. Этот Зия бек был рыцарем, как внешне, так и по своей доброте.

Я видел его вблизи. Он погладил меня и протянул большое яблоко, которое держал в руке, сказав: «Эй, будь здоров, сынок, расти храбрым юношей. Косточки отнесёшь и посадишь на могиле твоих предков. Я не турок, только никому ни слова!»

По моему телу пробежали мурашки — скорее от страха, чем от удовольствия. Наверное, оттого, что я слышал слово «разбойник».

Его происхождение и национальность не были известны. Действовал он по прозванию и по праву турка. Его занятием был разбой. Он не подчинялся никакому правительству. Зия-ага из Анкары обаял его, нашёл с ним общий язык, переманил на свою сторону и заключил устный договор, согласно которому Зия-бек был полноправным хозяином и покровителем своих жизни, имущества и земли в Чифлике. Зия-ага был хозяином

Чифлика, а разбойник Зия-бек был хозяином хозяина. У него был фаэтон, которым он почти не пользовался. Мне кажется, те, кто встречался с ним, скорее пользовались этой встречей, чем подвергались испытанию. Так говорил простой народ. Как ему удавалось, будучи разбойником, вести спокойную, даже роскошную жизнь, трудно объяснить, но жил он без крови и без грабежа, уверяю.

Однажды братья наших невесток привели одного из моих ровесников ударить меня. Сказали, что готовятся к смертельной драке. Этот щенок боялся меня. Чтобы он не боялся, у меня сперва отобрали дубину, а потом заставили на меня напасть. Я потребовал свою дубину, но её спрятали, не отдали. Мальчик успел ударить меня толстой дубиной. Я разозлился, набросился на него, но он убежал. Я отобрал дубину и побежал за ним, чтобы проучить, но он успел убежать. Я обиделся, до вечера не появлялся дома. Перед приходом домой братья стали уговаривать меня не рассказывать взрослым ничего. Уговорили, но обида в сердце осталась. Больше ничего о том щенке не помню.

Были короткие осенние дни. Наши хозяева решили привезти зимнего топлива. Ранним утром мы тронулись на телегах. Очень скоро мы оказались в лесу. Решили идти в глубь оврага. Дороги не было — спускались между деревьев. Об обратной дороге вверх никто не думал. Выбрали большое дерево с толстым дуплом и приступили к делу. Рубили топором. В конце концов, ствол был повален. Вдруг мы поняли, что уже темнеет. Отрубили тяжёлые, мокрые сучья, чтобы поход не оказался напрасным, но на первом же отрезке пути стало ясно, что волы обессилены. Мы их подталкивали, подгоняли, выбросили часть дров, но дело вперед не двигалось. Уже было темно, а мы всё ещё находились посреди леса. Никто из нас не мог отлучиться, чтобы дать знать о нашем опоздании. Пошёл дождь, смешанный со снегом. Только тогда догадались, что нужно было сперва взять дров на краю леса и только потом грузить легкую древесину. Но уже давно стемнело. Вдруг во мгле послышался конский топот.

— Вай-нам, — заголосил кто-то из наших, — это разбойники.

Все затихли, онемели, будто приросли к телегам. Во тьме послышался первый голос. Мемед узнал его.

— Это Зия-бек. Молодец, Зия-бек! Да благословит тебя Бог, Зия-бек!

— Не бойтесь, это я, — послышался во тьме его голос. — Ваши плачут, говорят, что воры на вас напали. Почему вы так опоздали? Ладно, вы идите, а я пойду вперёд, скажу, чтоб не переживали.

После этих слов он поскакал обратно. На этом закончилась попытка набрать на зиму дров.

Зия, сын Исмаила, придумал хорошую вещь — восстановить хотя бы одну из покинутых на берегу рек мельниц. Это могло послужить хорошим источником прибыли. Единственным препятствием было то обстоятельство, что он в этом не смыслил. А знающих людей не было. Оставалось лишь начать дело, с надеждой научиться по ходу. «Всё-таки, я пожил среди армян, как бы то ни было — должно получиться», — говорил он и поселился на мельнице. Это стало для меня испытанием — каждый день, закончив работу, я должен был нести на мельницу обед. Выходил в сумерках. Час дороги туда, час обратно. Ещё полчаса на самой мельнице. Возвращался я поздно ночью. Дорога была заснежена, почти не проходима. Я не был трусом, но там ходили волки, и ужас каждый раз сковывал мне сердце. О судьба! На этот раз тоже повезло — волки не съели.

Однажды Ерго — мой греческий товарищ по несчастью, который служил у двух Зия, -бека и -ага, сказал:

— Хало, скажи своим ханум, пусть разрешат тебе оставаться со мной на ночь в хлеву. И место тёплое, и дружить будем.

— А моя собака останется одна — жалко!

— Я один — меня не жалеешь, а собаку свою жалко! — И мы рассмеялись.

Я получил разрешение, и мы, двое братьев по рабству, грек и армянин, стали почти неразлучны. Он был постарше меня, знал много легенд и сказок. Ерго был хорошим советчиком. Он пользовался доверием обеих Зия. Однажды он пришёл и говорит:

— Хало, возле оврага в погребке стоят ульи, в них мёд остался. Пчёлы уже спят, давай украдём немного.

Он поведал мне свой план:

— Одно из окон погреба закрыто прутьями. Твоя голова должна пролезть, а если где-то голова проходит, значит и тело тоже. Я тебе помогу, ты пролезешь, откроешь крышку улья, засунешь туда руку и два раза повернешь. Сколько бы ты на руку не собрал, этого будет достаточно». Пошли, попробовали — голова моя пролезала.

— Но смотри, — предупредил Ерго, — ты должен так чисто сработать, чтобы следов не осталось, иначе, если весной ага-Зия догадается — мы пропали.

На следующий день мы осуществили задуманное. И в последствии нас не уличали — мы спокойно пользовались мёдом.

Однажды, с вязанкой за спиной, решил я отдохнуть возле прохладного парного источника с чистейшей водой. Я умывался, когда вдруг над моей головой появились две молодые красивые армянки. Они стояли и смотрели на меня. Я не верил своим глазам, хотел что-то сказать, но язык не поворачивался. Одна из них протянула мне платок, говоря:

— Оботрись.

А другая:

— Я заплакана, армянский мальчик, можешь вытереть мои слёзы?

Я крикнул: «Уходите, духи, дайте мне вырасти». Они ушли в сторону стен находящегося в нескольких шагах дома Зия-бека. Платок остался в моих руках. Кто же ты был, Зия-бек, откуда ты нашёл этих армянских красоток?

Тем летом мы уже были побогаче — были волы, кони, поля, появилась и соха. Мельница работала.

Вместе с Шабановым Исмаилом как-то раз поехали мы в Анкару за покупками. Были с нами и другие. Надо было зайти и на двор ага-Зия — выразить ему законное почтение. В пути была опасность встречи с разбойниками, особенно близ Анкары, до нас подобные случаи были, но с нами ничего такого не произошло. Утром мы увидели какие-то дома.

Потом мы увидели узкую колею, идущую в город. По ней над длинными железными линиями, постукивая и гудя, двигалась какая-то машина, тянущая за собой несколько вагонов. Это был первый увиденный мною поезд.

Остановили телеги, дали травы волам и двинулись к центру. Магазины, рынки. Это были центральные улицы. До сих пор у меня в ушах звенит зазыв, впервые услышанный на улицах Анкары: «Аади-буди, ади-буди!» — кричали продавцы кукурузы.

«Наверное, это очень вкусная вещь, и везёт тому, кто её ест», — подумал я. К вечеру двинулись мы назад, к дому. Увиденная мною Анкара была сухим полуразрушенным городом. Через два дня мы без приключений добрались домой.

А ещё через два дня я получил первое в своей жизни серьёзное задание — нужно было отвезти в Анкару коня. Мемед был в Анкаре и прислал весточку, чтобы мы как-нибудь прислали лошадь. Утром я сел на коня и — айда! В пути я так увлёкся, что стал отпускать коня. Конь стал скакать к ущелью. Я попытался натянуть поводья, но конь не подчинялся, он нёсся к гибели. На берегу обрыва он вскочил на дыбы, сбросил меня и ускакал. Я начал ощупывать себя — понял, что кости целы. Постепенно стал приходить в себя. Первое, что пришло в голову — надо найти коня. Что я скажу дома? Сначала я решил пойти домой пешком, и рассказать, будто коня отобрали воры, но потом передумал: такой подлости я не сделаю. Но с каким лицом я приду домой? К полднику дошёл я до деревни, и думаю, пойти домой или к кобыле? Я подумал, что конь привык к кобыле, и, скорее всего, пойдёт к ней, но не знал, куда её в этот день отвели. Бросился в поля. На вершине появились наши животные. Глянул издали — нет коня, он не с кобылой.

Я заплакал. Пришлось прийти домой и всё честно рассказать. Послушали и стали надо мной смеяться. Наконец, сжалившись надо мной, сказали: «Повезло тебе. Он вернулся и смешался со стадом». Вечером я пришёл домой с легким сердцем — хотя бы не накажут.

А однажды утром я услышал потрясающую новость. Ерго сел на лучшего скакуна и сбежал. Новость принёс Зия-бек, он первым обнаружил побег. Он не стал терять времени, вскочил в седло помчался за ним. Мы ждали последствий. Результат не заставил себя ждать — через неделю разбойник Зия-бек вернулся с похищенным конем, привязанным к седлу его кобылы. Все были уверены, что Ерго убит. Но, к нашему удивлению, оказалось, что он жив. Зия отпустил его. Воистину, разбойник был настоящим рыцарем!

Вскоре прошли слухи, которые поразили нас как молния: «Русские исчезли, а с ними и армяне. Возвращайтесь в свои дома». Сначала мы не поверили, но потом весть за вестью мы слышали подтверждение: «Русские ушли, а с ними и армяне».

В семье всё чаще стали говорить о том, что нужно вернуться на прежние места, на родину. Я часто слышал, как в этих спорах Зия говорил: «Я хочу умереть на пороге своего дома». И мы стали собираться назад. Мы попрощались с Зия-беком и тронулись в путь. Он проводил нас с пожеланиями удачи. Так мы снова пустились в бегство.

По пути мы узнали, что Али Осман давно вернулся. Решили идти по Кесарии. На обратном пути в окрестностях Сваза увидели мы разрушения, учинённые голодом — люди почти ничем не отличались от скота, а разбойники нападали уже и днём и ночью, грабёж превратился в повседневное явление. Пару раз подошли они к нашим рядам, чтобы испытать, на что мы способны. В таких случаях люди из каравана доставали имеющееся

у них оружие и выставляли его напоказ по всей длине каравана, чтобы показать, что у силы противостоять разбойникам у нас есть. Иногда напоказ разбойникам мужчины стреляли по кружащемуся над караваном грифу. Ночью выставлялась обязательная охрана.

Начался страшный голод. Голод не задел нас, мы имели какие-то запасы, которыми пользовались с достаточной бережливостью.

Через несколько месяцев мы уже приближались к нашей деревне. Действительно: ни армян, ни русских — снова всё принадлежит туркам.

К нашей деревне мы подошли поздней осенью. Заботиться о проживании стало гораздо труднее, чем прежде. Мемед был прилежным трудягой, и чтобы мы не теряли времени, приносил нам каждый день еды. Помню, что это было глубокое, часто полное плова, блюдо. Ели мы вместе. Для меня это было скорее испытание голодом, чем насыщение, поскольку каждый кусок был на счету. Он заставлял меня нещадно работать, бороться с собой; иногда мне казалось, что я делаю нечто, что превышает моих сил. Между собой мы не переговаривались. Он и сам понимал, что меня мучает непрестанный голод, и что это отражается на работе. Все, кроме меня, были разочарованы в возвращении. Зия остался без дела, Исмаил был мрачен. Правда, иногда он говорил Мемеду: «Хватит его мучить, жалко парня, из-за тебя он слишком устаёт, теряет силы, он же для нас не на один день!»

Я был спасённым и сбережённым ими мальчиком и единственным инструментом, которым злоупотребляли. Мемед ни с кем не разговаривал. Он так и не получил наследника. У Исмаила не было другой надежды, был только я, меня считали будущим женихом этого дома.

Я спал возле углей бухарика (небольшая печь. — Прим. ред.) — было тепло. Вскоре меня переселили в другое крыло дома. Там находился тот злополучный сундук с лавашом. Этот сундук свёл меня с ума. Я начал день за днём поддаваться искушению, и однажды запустил руку в сундук. Вытянул один лаваш и, не высовывая головы из-под тряпичного прикрытия, стал глотать его, не прожёвывая. Так я стал ночным воришкой в доме. В конце концов это выяснилось, и меня переместили.

В ту зиму Карапет пару раз тайно позвал меня к себе и угостил большими яблоками. Он крал их из сарая Али Османа, где они были сложены на хранение. Трудные были времена.

Именно в эти трудные времена наши заразились чесоткой. Незаражённым остался я один. Я по незнанию был не осторожен, ел с ними из одного блюда, общался. Однажды одна старая курдянка подозвала меня и сказала:

— Сынок, у ваших чесотка — это дурная, заразная болезнь. Держись от них подальше, жалко тебя, сиротку. Я тебя научу, что делать. Пей каждый день свою мочу, моча не даст тебе заразиться, жалко тебя, сделай, как я учу.

Весь день я запирался в погребе с животными. Тем не менее, я носил воду как в наш дом, так и родителям наших невесток. Их семья жила в покинутом доме Магата, довольно далеко от нас, в центре села. Там я измельчал траву и, по совету старой курдянки, пил свою мочу. Чесотка меня не взяла.

Однажды мы с одним мальчишкой пасли в горах волов и нескольких коров. Днём я должен был спуститься в деревню за своей порцией еды. По дороге я увидел, что кто-то

попытался прикрыть свежей землёй какой-то предмет. Это был мешок. Желудок продиктовал мне, что делать: я вскрыл его. Там находились два куска масла — побольше и поменьше. Хлеба не было, только куль с мукой. «Ну, а мука и есть хлеб», — подумал я и стал жадно сыпать её на язык. Потом я стал размышлять спокойнее: «Довольно, остальное пусть останется». Однако, что мне делать, где спрятать мешок? Сразу вспомнил нашу Зарик. Зарик была внучкой другого нашего деда. Курд Садрич, который поселился в нашем доме, выбрал нашу Зарик себе в жёны из оставшихся в живых. У него была ещё одна жена, старая курдянка, от которой у Садрича не было детей. У Зарик было от него уже двое детей.

Я решил вернуться к животным как обычно, не опаздывая, чтобы не было лишних вопросов. Бегом побежал и вернулся. Вечером я вертелся долго, пока не встретил Зарик. Подозвал её и всё ей рассказал.

— Где ты его нашёл? — спросила Зарик. Я назвал место.

— Хорошо, я поняла. Ты иди по своим делам, я найду и принесу. Будешь идти мимо моего дома, потихоньку буду тебя подкармливать.

Так и сделали. Потом я узнал, что ночью два вора вошли в дом к бедной вдове и всё унесли. В деревне осталось несколько армянок, тех, что попали в курдские дома. Кроме Зарик из наших в деревне жила ещё Мариам. Этот пес (по-моему, его звали Фрик), лысый черкес, похитил её. Она сошла с ума, ушла в поля и с криком «Аршак, Аршак, Аршак! Иди домой, а то худо будет!» пропала.

Я издали следил за Мариам. Однажды побежал за ней. Она убежала с криком: «Уйди, уйди от меня». Это было последнее, что я от неё слышал.

После возвращения в деревню в моей душе обострились боль и тоска. Я ходил по нашим полям, по нашим лугам, пил из наших вод, лез на нашу гору.

Один из родников высох. Быть может, и во мне высохнет родник мести? Но нет...

Пришла весна. Мы снова запрягли повозки и двинулись в путь. В этот раз на Запад, к Эрзеруму. Мы слышали, что в тех краях много чего осталось после армянских погромов и побегов. Мы тронулись на телегах под руководством Исмаила и ещё нескольких сельчан. Скотоподобный отец нашей парочки невесток был неразлучен с нами. Его присутствие всегда томило меня. Оно было неприятно и моему ага-Исмаилу.

Сперва места, которые мы проходили, казались мне знакомыми, хотя я никогда там не был. Все это благодаря рассказам деда, я ничего не говорил, только смотрел и смотрел, это долина Мандзи, это дорога на Котер, мост над Чёрной речкой, а где мост Котер? Где твои села, армянский народ, где твои дома? Ни следа, ни признака жизни армян.

Я видел брошенные склады в Мамахатуне. И сахар, и мука, а еще сапоги, одежда, боеприпасы, огневые точки, установленные на вершинах холмов. Паши были поражены, аскярам казалось, что они видят сон наяву. С ума, что ли, сошли местные жители? Как они оставили всё, с чем ушли? Ну и сон, даже в сказках такого не бывает. Опять начали убивать армян. С четырех сторон слышалось: «Сволочи, неверные армяне!».

— Инсаф эйли (Пощадите, — Прим. ред.), бей эфенди эскяр!



Шарах!

Паф, паф, паф!

— Дедушка Исмаил, — спросил я, — кто эти люди? Они смотрят на меня. Пойду принесу воды. Они, кажется, пить хотят...

— Нет, сынок, не ходи. Над водой стоят аскяры. Не дают им пить, воду портят. Они армяне, сынок, армяне.

Подобные зрелища были на всём протяжении от Мамахатуна до Эрзрума. Однажды только Исмаил бросил хлеба лежащим на земле сироткам. Они едва успели спросить: «Папа, кто этот плачущий мальчик», как к ним подошел аскяр и сломал им головы. Мы в течение целого дня разбили лагерь близ западной части Ашхалы, смотрящей на Эрзрум. Волы спокойно паслись. Было жарко. Мы пошли в город. В городе царил переполох — возле армянской церкви захватывали армянские магазины. Каждый улучшал свою территорию, приумножал своё имущество, приводил всё в порядок. Пели, пировали...

— Молодцы, неверные, глупые армяне, сколько добра нам оставили. Да пропадут пропадом, и они, и свиньи-русские.

Эрзрум остался позади. После этого в нашем караване начались споры — куда идти дальше? Где можно что-то обрести, и вернуться домой? Слышали, что где-то меняют какие-то вещи на соль. Хотели заняться этим. Хотя бы солью, но платят, можно потом продать. Это была очень неопределённая надежда.

Во всяком случае, мы туда не пошли, свернули в Олти. Армяне тех мест убежали, побросав имущество, вдруг нам что-то перепадет? Мы дошли до равнины Хала. Прозрачная река провожала нас справа. Ее течение меняло угол. Это был приток Аракса. В самом деле, у потока воды был какой-то секрет. Мы не пользовались её водой. По городу шла длинная улица, на которой стояла мертвая тишина, и не видно было никакого движения. Волы хорошо поели, поспали, и их снова запрягли в телеги и двинулись в путь к Алашкерт. Ни одного армянина по дороге я не встретил.

Мы вошли в Олти, находящийся в глубоких ущельях. Там было немного фруктовых деревьев, там и сям пасущиеся овцы, козы и журавли, журавли... Их было несметное количество. Люди там были, но они избегали нас, были очень холодны. Не здоровались первыми. Не угощали, не помогали. Отвечали холодно и кратко, их девушки и женщины сторонились нас.

Мы стали голодать. В то время было решено, чтобы лысый Тарон, брат нашего Тамо, у которого была дурная слава, взял меня и отправился выпрашивать еду. Я был при нём в качестве сиротки, чтобы сжалившиеся жители давали нам молока, масла, сыра и сливок, другого выхода не было. Что мог поделаться Исмаил? Ему пришлось согласиться. Меня поражала хладнокровность Тарона — какие бы собаки на нас ни нападали, волкодавы или другой породы, он оставался невозмутимым, ничего не делал, только махал своей дубиной. Собаки нападали на меня, а не на человека с дубиной. Я увёртывался, и бежал вокруг него. — Успокойся, — говорил он, — не бегай. И продолжал ходить по домам.

Однажды мы попали к каким-то трудягам. Все прекратили работу, посмотрели на нас. Женщин среди них было очень мало.

— Дайте поесть, хозяева, — сказал Тарон, — вот, он сиротка.

— Откуда вы? Зачем пришли? Что здесь есть?

Тарон начал рассказывать привычные сказки. Одна из невесток сказала:

— Уходите домой.

Стоящая рядом с ней девочка хихикнула и швырнула мне кусок хлеба, который был у неё в руках. Люди, несмотря ни на что, стали складывать в нашу сумку остатки своей еды. Мы вернулись к нашим телегам. Лысый стал храбриться, а я превратился не только в сына старенького Исмаила, но и в существо, полезное всем.

Что это был за народ — не могу сказать. Были они черноволосые. Говорили на турецком наречии. Мы им не нравились, даже вплоть до ненависти, особенно было им не по вкусу слово «османец».

Двери были толстые, деревянные, с большими порогами, дворики — без деревьев. Повсюду были волкодавы. Мы продолжали идти. Деревня была залита солнцем. Переходили, попрошайничая, от дома к дому. Я прыгал вокруг лысого, то есть, вокруг его дубинки. Шли мы к двери очередного дома. В доме были женщины, мужчин не было.

— Что вам нужно? Неужели у вас нет еды? На телегах, и без запасов?

— Попали в такое положение, сестрица, что делать? Помогите...

— Оставив свой край, свои земли, гонитесь за награвленным? Кто этот мальчик, кем он тебе приходится? Красивый мальчик, не оставишь его нам? Жалко — вы сами бедны, не можете его прокормить, оставьте нам. Видно, он тебе не родственник, он не из ваших, оставь нам, я тебе взамен много чего дам, — и обратилась ко мне: «Не хочешь остаться, джан? Мы будем хорошо с тобой обращаться».

— Нет, сестрица, это сын моего брата, он ждёт нас на телегах. Как я его оставлю?

— Чтоб тебе провалиться! Если сам захочет, оставишь?

Душа моя было помутнена, смешались чувства, я думал: «Что бы мне сделать, чтобы меня оставили, вот было бы хорошо, если бы я остался».

— Ну, раз не отдаёшь, так голодными отсюда и уйдёте. — И снова обратилась ко мне — останься, дитя, он и малолетство твоё не щадит.

Она уже собралась прогнать нас, но взглянула на меня на миг и передумала.

— Ради ребенка подаю. И вовсе он не ваш, это видно, таскаешь с собой, потому что боишься, знаешь, что тебя жалеть не станут... грабители османские!

Вот так, попрошайничая, дошли мы до озера Чалдр и должны были держать путь на Ахалкалак. Было много уток. Вода была не такая уж и чистая, берега — грязные и обросшие тиной. У нас не было оружия, а то бы раздобыли дичи, тем более что давно не ели мяса. Изредка попадались немногочисленные домашние животные, поля были не ухожены, деревни покинуты. Вошли мы в одну деревню близ Ахалкалака. Ни собаки,

ни кошки — ни души, только брошенные дома. Выбранный нами дом был на краю деревни. Пшеница созрела, колыхалась, как море, только собери. Поискали и нашли всё, что нужно: и косу, и тесло, и верёвку, и колёса и мешки. Словом, всё необходимое. Работай, чтобы поскорее вернуться. Вдруг видим — хозяин возвращается. По ту сторону горы ещё война, армяне воюют. Свояк начал воровать наши запасы еды. Садился на мою телегу, заставлял меня садиться, и вытягивал из мешка наши запасы. Я стеснялся остановить его, или каким-то образом дать понять Исмаилу. «Дедушка Исмаил, почему он не садится на свою телегу? — обращался я к нему, стесняясь. — Понимаю, сынок, но что поделать, сам не знаю».

Он всегда защищал меня, брал под свое покровительство, как члена своей семьи. Это ещё больше злило нашего свояка, настраивало против меня. Были последние дни, мы завершали покос. Меня послали за водой, в низовья полей, а мой ага хотел, чтобы я связал сноп. Свояк, увидев, что его требование не выполняется, набросился на меня и стал бить палкой с телеги. Исмаил ударил его и сбил с ног, а я едва убежал. В голову пришли слова свояка о том, что «армяне по ту сторону. Воюют по ту сторону горы». Я уверенно зашагал к горе. Исмаил побежал за мной, кричал, плача «Халил!». Я остановился, сел. Повернулся к нему.

— Дедушка Исмаил, я пойду туда. Там армяне. Я пойду.

— Нет, сын, где армяне, там турецкие убийцы. Вот мы и держимся ото всех подальше. Давай пойдем, не бросай меня, мы больше не станем водиться со свояком.

И действительно, он с ним больше не водился. Я тоже. Починили свои телеги, погрузили на них вещи и двинулись к Карсу. Местных жителей не было — только случайные бродячие пришельцы — пришли, завладели и поселились. Мы не узнали, какого они были племени. Дома, магазины, кафе — всё брошено, свободно, живи, если хочешь. Если ты, конечно, не армянин. Это был Карс — бывшая столица Армении.

Из Карса мы направились к Каракилисе, к «Чёрной часовне». Сама Каракилиса тоже была чёрной, едва втиснутой между густыми лесами. Место ей уступил широкий овраг, и располагалась она под углом. Древность церкви мы оценили сразу. Конечно же, она была полна оружия. Жизни не было, только аскяры перемещались. Мы остановились отдохнуть в центре города, возле речки. Оттуда нужно было начать подъём по крутому склону. Помню, как в овраге на поляне били плетью пленных армян. Рабы-армяне!

В родную деревню Хзри дошли мы поздней осенью. Мы привезли много запасов, и это обрадовало домашних. В деревне говорили о нашей завидной удаче. Исмаил улыбался, осознавая, что исполнил свой отцовский долг. Мы вкусно поели, после чего хорошо выпались.

Мемед беспокоился — приближалась зима, нужно было пополнить съестные припасы, заняться починками дома со всех сторон, починить форточку, дороги привести в порядок, построить туалет. До этого туалетом служил угол позади дома. Туалет мы построили, но так и не воспользовались им. Я был рабочей силой и даже советчиком. Мемед хотел создать что-то новое, однако созидательных мыслей, идей ему не хватало. Зимой мне прибавилось работы — чистить дорогу, выносить мусор, чистить крышу, таскать воду, молотить траву: словом, перечислять бессмысленно — слишком длинный список.

Никого из нас особо не тронула новость о том, что наш скотоподобный свояк собирается вернуться район Анкары, к Зия-беку. Пусть себе едут, считали наши. Это заботило только

его жену и маленьких дочерей. Отец забирал с собой двух старших сыновей. «Зима на пороге, не увози моих сыновей, не делай нас несчастными!», — плакала бедная женщина.

— Нет, пойду! Оставили те прекрасные места и поселились в этой сухой пустыне! Пойдём, обоснуемся, и я вернусь за вами. Только терпение и стойкость!

Наполнили наши сумки, надели шерстяные носки, обувь из овечьей шерсти, подрясники, взвалили груз, и — айда! Так и ушли навсегда. Следующей весной мы узнали, что в пути их настигла метель, и все трое погибли — задохнулись.

Весной Зия заболел и слёг. Я видел его в постели раза два. Знал, что он слёг. И вдруг узнал, что он умер. Загоревал. Загоревало всё наше село — он никогда никому не сделал ничего плохого. Весёлые улыбки и смех покинули Шабанов дом. Маленький Исмаил будто свернулся клубком. Но странным было то, что и второе горе не заставило себя долго ждать. Через пару месяцев слёг в постель и тщедушный Мемед. Исмаил очень испугался — болезнь Мемеда очень напоминала болезнь Зия. Между тем жена Мемеда прыгнула в объятия Гайдара. Постельные мучения Мемеда до сих пор у меня перед глазами. Недуг был очень болезненный. Он попросил снега, снега с Большой горы. Я поехал за снегом на коне, но вернулся только к предсмертной агонии. Умер и задумчивый Мемед. Жизнь Шабанова Исмаила пошла под откос. Такова была судьба. Он остался без жены, без сыновей, а скоро останется и без невесток: и вторая невестка постаралась не лишиться себя земных удовольствий, ушла к новому мужчине. Кажется, это был племянник Исмаила, к тому же, её бывшего любовника Гайдара уже заняла её сестра.

Я остался единственным наследником Шабанова дома. Исмаил хотел соединить меня со своей единственной внучкой, Лейлой. Весна проходит, а наши работы стоят — в одиночку я не справляюсь. Шабанов Исмаил оставил надежду укрепить хозяйство. В это время пошли слухи, что в Тропизоне производят муку за кырь — плату, и мукой же расплачиваются, при том очень щедро. Несколько курдов, не задумываясь, собрались, запрягли телеги, и двинулись в путь. Исмаил долго думал — посылать меня или нет. Обратился к гадателю, спросил совета у родственников. В конце концов, согласился, и послал меня под их опекой за мукой.

— Какого я вам мальчика отдаю, такого же приведёте обратно в деревню и сдадите мне. Вы отлично знаете: никого другого у меня больше нет. Аллах с вами, пусть над вашими головами всегда будет прохлада, аминь. Идите и возвращайтесь, доброго пути.

Достаточно долго он провёл меня пешком, на ходу давая тысячу советов.

— Что было, то было, пусть отсохнут их руки... Всё равно ваших нету, армян больше нету, турки со всех сторон, останешься у меня, вырастешь, семью создашь, будешь своих вспоминать, ты умный парень, внук мавина. Все родные тебе люди здесь. Иди и возвращайся. Ни у тебя нет никого, ни у меня — это воля Аллаха. Иди, ещё раз поцелую твои глаза, чтобы они не отрывались от нашей деревни. Этих слушай, всё, что скажут — делай. Возьми эти несколько грошей, если будет нужно, потратишь на себя. Буду ждать на дороге тебя, Халил, сынок.

Будь что будет, сейчас главное — уйти

Человек должен быть чистым. Это его обязанность как члена общества. Если он не дорос до этого, то это не человек для общественности. Если не может этого делать — пусть

хотя бы (в обязательном порядке) чистым остаётся сам, вот так; если нет — то он ничтожество, следовательно, очистить тебя — это благо, чтобы нести гордое звание человека...

Мы двинулись в направлении Гумюшхана. Это было где-то на пути от Баберта к Трапизону. Там были серебряные прииски, и я вспомнил, что отсюда привозили зерно Тацу. Там были прекрасные яблочные сады.

Я сидел на телеге. Волы сами шли за нами. Если впереди ускоряли шаг — волы шли быстрее, если замедляли — шли медленнее. Утром мы поднялись на плоскогорье Боз-Дахи, отделяющее Баязет от Чёрного моря. Сюда доходил свежий ветер с моря, хоть оно было и далеко. Я, сидя на телеге, думал об оставшихся внизу, в наших городах и селеньях. Я смотрел на них и говорил про себя: «Я — Дживан, внук моего Тацу, я армянин, я не турок...» Вдруг я заметил, что рядом с нами шагает какой-то парень. Он был заметно старше меня. «Интересно, куда он идет», — подумал я. Он не был похож на турка. На плече он нес свёрток.

Он сравнялся с моей телегой и бросил на меня долгий взгляд. Его взгляд был настолько пронизателен, что я невольно стал бояться думать на армянском. Он, кажется, всё понял. Подошёл, но ничего не сказал. Немного отошёл, потом снова приблизился. Казалось, он что-то проверял: то отходил, то приближался. Потом решил завязать со мной беседу.

— Разрешешь мне сесть на твою телегу? Я устал. Я знаю, что вы тоже идете в Трапизон. И я туда иду.

Я хотел, чтобы он сел, но боялся — не хотел самовольничать. Он, казалось, догадался. Снова спросил:

— Хочешь я сяду в твою телегу, и мы побеседуем? Я знаю много интересных вещей.

— Да, — сказал я — но пойди, спроси разрешения у того взрослого человека. Если разрешит, садись.

Он побежал. Курд разрешил. Парень вернулся, устроился на телеге. Он молчал какое-то время, потом спросил меня:

— Ты не турок, ты армянин, армянский сирота. Не бойся, скажи мне правду. Я вижу, что ты едва не плачешь. Не бойся, я никому не скажу, я не турок. Умоляю тебя, говори, я очень хорошо знаю армянский, я знаю, что это — армянская земля; я много чего знаю. Говори, не бойся.

Меня захлестнули чувства, я не мог сказать ни слова. Если бы я заговорил, то, скорее всего, стал бы заикаться. Он всё видел и понимал.

— Ты их не бойся, сейчас ни они, ни турки не смогут причинить тебе вреда. Сейчас американцы собирают армянских сирот в приюты.

В Трапизоне тоже есть приют. Очень хорошее место. Там есть школа, баня, отводят купаться, обучают армянскому, комнаты чистые, одежда опрятная, все там сыты.

Если ты заговоришь со мной на армянском, я обязательно отведу тебя туда: я знаю, где он находится.

Школа. Армяне. Свобода.

— Тебя мой дед послал? — осторожно спросил я на армянском.

Как на зло, волы потеряли дорогу, и моя телега сошла с дороги, а мы не заметили.

— Как тебя зовут?

— Халил.

— Нет, по-армянски...

Я заплакал.

— Не бойся, я обязательно тебе помогу.

А как тебя зовут? — спросил я.

— Козьма. Я грек. Я никому не скажу, что ты говорил на армянском, но и ты не говори о том, что я тебе рассказал. Уже темнеет. Здесь неподалеку вы, наверное, остановитесь на ночь. А если на рассвете двинетесь, то до полудня будете в Трапизоне. Там я о тебе позабочусь, но на всякий случай, запомни: приют находится возле самой большой в городе церкви — а она видна почти изо всех углов города.

Так и вышло. Но Козме больше не разрешили сесть на мою повозку. Он бросил на меня многозначительный взгляд и ушёл. На следующее утро мы уже были в Трапизоне.

Прошло несколько дней, в течение которых мы были заняты погрузкой муки. Доставляли её из порта в центр города. В день по семь раз мы проходили эту дорогу. В мои обязанности входил уход за волами: я приносил воды и травы; а также я должен был приглядывать за открытыми мешками. Когда погрузка заканчивалась, я погонял их до самого сада. Там я садился на телегу. Вот уже несколько дней, как мы ходили по одному и тому же пути, как городские извозчики. Сад был заросшим, как наши головы, но никто не соблазнялся им — это был совсем заброшенный участок. Я сосчитал деревья — их было 10—15 — и думал: почему их не рубят на дрова?

Однажды мы, как обычно, выпустили волов пастись в саду, а сами сели отдохнуть. Это был последний или предпоследний день, не помню точно, и наши были очень довольны результатом — дело было лёгкое и выгодное. Платили нам хорошо, очень хорошо. Весёлое настроение извозчиков заставило меня забыть обо всём. В тот день мы тронулись в путь в последний раз. Был вечер. Мы подходили к разгрузочной станции. Всё это время я не обращал внимания, куда складывают мешки, поскольку их поднимали, грузили, отвозили, сдавали, пересчитывали. Я старался исполнять свои скромные обязанности — считать повозки и следить за ними. Во время последнего маршрута, когда мы подъезжали к станции разгрузки, трое-четверо мальчишек чуть постарше меня, заметив, что я один, стали кидаться камнями в меня и в мою повозку. Улица была полна мелкими камешками. Я остался беззащитным. Что бы как-то защититься, я забрался на повозку, но они продолжали швырять камнями и бить прутьями меня и моих волов. Большой курд, который стоял впереди, заметил, что я в беде, и подбежал с дубиной к этим щенкам, но не затем, чтобы ударить, а чтобы припугнуть, и, не успев добежать до них, крикнул:

— Э, будь проклят ваш отец, противные щенки, что хотите от бедного мальчика? Почему обижаете? Он такой же сиротка-армянин, как и вы, бегите отсюда, пропадите!

Мы и сами не поняли, какие важные слова произнёс этот курд, мы и не знали, что эти его слова станут для меня судьбоносными. Сердце этого курда было, без сомнения, добрым, и он, конечно, пожалел этих невинных беспризорных армянских сирот, он просто попробовал прогнать их своими словами: «Этот мальчик армянин, сирота», — прогнать, а не наказать. К тому же на армянском. Курд словно возвестил ребятам Благоую весть. Слова «армянский сиротка» как на крыльях почтового голубя улетели, куда следует. Дети побежали, крича: «армянский сирота, здесь армянин-сирота!».

— Турсун, что ты наделал, очаг разорил! — крикнул один из курдов, прежде чем Турсун пришёл в себя. Он стоял, одеревенев от ужаса.

— Аллах, что я натворил, что я совершил! — сказал он и кинулся за мальчиками.

— Эй, щенки! Я вам солгал. Идите сами у него спросите, нет здесь никаких армянских детей, пропадите, закройте свои рты! Я сказал, чтобы обмануть вас.

— Армянский сирота, здесь армянский сирота, в этих телегах, — продолжали вопить дети.

Вот так, крича, добежали они до какого-то господина, у которого в руках был карандаш и учётная тетрадь. Турсун подошёл к нему.

— Бей-ага, они врут, не верь им, я плохо понимаю по-армянски... Нет у нас никаких сирот, с нами наш сын.

Хорошо, хорошо, хорошо... У меня нет времени... Где этот мальчик?

— Вот тот, вон он, господин Аарон, — мальчики, обгоняя друг друга, подбежали ко мне и потащили меня к этому господину.

— Скажи, скажи, скажи, что ты армянин, ты же армянин! — кричали они.

— Посмотри на свои глаза, цо, на себя посмотри, цо, ты не турок! Ты армянин! Цо, душа у тебя связана, рот связан, говори, не бойся, все мы армянские сироты!

— Молодцы, молодцы, — сказал господин Аарон, успокаивая и мальчишек, и извозчиков, которые по очереди кричали:

— Что несут эти бродячие сиротки? Бей-эфенди, кто лучше знает нашего мальчика — мы или эти волчата? Спросите у него!

— Скажи, сынок, ты армянин?

Сначала я молчал, а потом, взглянув на наших извозчиков, кивнул головой, как бы подтверждая их слова. Господина Аарона не обманули мои слова, поскольку из моих глаз рекой лились слёзы. Он взял меня за руку и указал на видневшуюся вдали макушку церкви.

— Смотри, это церковь, большая армянская церковь. Там нельзя говорить неправду. Не смущайся, я скоро приду и заберу тебя в приют.

Я слегка улыбнулся и побежал к своим телегам. Я уже успел оглядеть местность, не только то, что было снаружи разгрузочной станции, но и внутри неё. Внутри была большая белая гора муки. Парон Аарон обратился к курдам.

— Где вы ночуете?

За городом, на другой стороне реки, в глубинах Чайлаха.

Хорошо, идите, я приду к вам завтра, всё узнаю, и, если мальчик на самом деле армянин, я его у вас заберу.

— Ладно, пусть наступит завтрашний день, и всё выяснится, бей-эфенди, — сказали курды и разминутись с ним. А сироты продолжали смотреть на меня и звать из-за телег.

— Эй, мы вернёмся завтра, почему ты отпустил его, парон Аарон?

Облегчив телеги, курды спешили к ночной стоянке. Только мне было тяжело на сердце — душа была в смятении, и я всё время думал: «Почему ты отпустил меня, парон Аарон?». Был вечер, мы приближались к своей стоянке. Для отдыха или ночёвки у каравана, подобного нашему, всегда есть хорошая возможность (так везде делают): поднимают телеги вверх, вешают на них паласы, тряпки и садятся под ними. Получается шатер — хочешь ночуй, хочешь отдыхай днём. Я лег рядом со своей телегой, между своих волов, и заснул. Вдруг я услышал, как среди ночи кто-то зовёт меня по имени:

— Дживан, Дживан!

Меня называют по армянскому имени! Я оглянулся, напряг слух — тишина. Повернулся, чтобы опять заснуть.

— Дживан! — Я встал и стал ещё внимательнее прислушиваться, обследовал округу — никого. Так я несколько раз просыпался и засыпал. Курды разбудили меня, хотя Солнце ещё не встало.

— Торопись, гони животных на выпас и скорее возвращайся. Бежим отсюда, пока тебя не увели.

Старший курд был озадачен — ночью они совещались, что делать, чтобы не отдавать меня. Я притворился безразличным, но слёзы внутри меня лились рекой. «Нет, — подумал я, — нужно оттянуть наш отъезд, пока за мной не придут, надо что-то придумать. А вдруг не придут? И не придут! А я тогда зачем возвращаюсь? Куда? Нет, Дживаник, решайся, пришло время», — сказал я себе и крепко взял за руку стоявшего рядом со мной паренька.

— Знаешь, что я придумал? Ты гони волов на ту сторону улицы, подожди вон там, а я пойду возьму из ларьков хлеба, еды и вернусь. У меня есть фара, потом поедем вместе, хорошо?

— Да, пойдй принеси еды, я присмотрю за волами.



Я пошёл в сторону хлебных ларьков. Я шагал, зная, что назад уже не вернусь. Я стремился скорее уйти, но куда? Я не знал города, не знал, где церковь, но страха во мне не было, я просто шёл, быстро-быстро удалялся. «Будь что будет, сейчас главное — уйти», — думал я. И шёл, и думал при этом, что поступаю нехорошо, думал о дедушке Исмаиле, о том, что причиняю ему боль, но при этом не мог не уйти, и сам себе придумывал отговорки. «Я иду за хлебом». И я шёл навстречу своему армянскому началу. «Ларьки ещё не открылись, — думал я — ну и что? Все равно откроются, главное — спешить, выиграть время, пока они придут...» Вперёд, вот на этой дороге, когда шёл в город, я видел пекарню-магазин, где лежали большие белые сомины... пойду, скорее, дойду до этих сомин, их там много, значит и мне дадут... Надо идти вперед. Вдруг я поймал себя на том, что бегу, убегаю. Убегаю... Снова я подумал об Исмаиле, и мне стало его жалко. «Поздно, нужно вернуться, так нельзя... Скажу, не было магазинов, не было хлеба. Скажу, все было закрыто, и я вернулся». Я приостановился. Но возможность снова стать армянином уже проснулась в моей душе, и теперь от моего решения идти дальше зависело, останусь ли я армянином... «Вперёд, — подгонял я сам себя, — позади пропасть, и уже поздно. Солнце встало. Привет, солнце, дай мне сил!» Я уже вошёл в город.

Ах, парон Аарон, парон Аарон, где церковь, на которую ты мне показал? Я бродил по городу и не мог сориентироваться. Чем больше я спешил, тем больше плутал и терял всякий след. Решил спуститься к морю, но боялся, что наши окажутся там. Но выхода не было, я пошёл. До моря не дошёл — не спустился. Я пошёл от равнины под садом, по следам телег, оставленным вчера, но никак не мог сориентироваться. Я устал, я был голоден, и я был в отчаянии. «Нет, они придут, схватят меня, прямо в городе... Что делать?» День проходил. Я таскался вдоль какой-то длинной улицы и всё смотрел наверх, ожидая увидеть купол церкви. В то же время я думал, как раздобыть хлеба, чтобы укротить голод. Я то иду, то останавливаюсь, смотрю туда-сюда, обнюхиваю магазинчики — это маленькие, стоящие бок о бок каморки, заборчики, и фрукты, фрукты... Это была улица с узким тротуаром, по булыжной мостовой которой могла проехать только одна телега. Я шёл, уже равнодушный от усталости, но глаза мои всё ещё смотрели по сторонам. Я шёл по правой стороне, так как на левой было больше разложенных фруктов. Вдруг будто внутренний голос сказал мне — «посмотри налево». Я посмотрел, и... тот парень, тот парень, грек... Он положил свой свёрток перед лавкой, что-то доставал из него, протягивая продавцу, что-то брал, складывая в свой свёрток. Это был он. У него в руках была еще одна корзина. Когда он хотел опустить его, но обернулся, и увидел меня. Он сразу узнал меня, тотчас же всё бросил и кинулся ко мне.

— Это ты! Я не сказал, что ты армянин. Я знаю, ты хочешь сбежать, пошли, пошли, я сейчас провожу тебя в приют, я знаю, где он. Он не стал больше медлить, обнял меня за плечи, и вперёд. Я сошёл с его рук, и, крепко взяв за руку, побежал. Мы дошли до дверей приюта. Он стал часто-часто стучаться в большие, красиво окрашенные железные ворота. В этом стуке была паника. Открыли...

— Мальчик, я привёл к вам армянского сиротку. Я знал, что он армянин.

— Ну, будь счастлив, — сказал он и поцеловал меня перед тем как повернуться и уйти.

— Молодец, молодец, — прокричали ему в след, — мы должны наградить тебя, скажи свое имя!

— Большое спасибо, я обещал и очень рад, что благодаря случаю или по Божьей воле, но исполнил свое обещание. Больше ничего не нужно, спасибо! А зовут меня Козьма. — Сказал и побежал назад к своим свёрткам.

Что я чувствовал — не помню, только точно знаю, что всё это время я жил, помня, что я армянин, жил своим армянством, в постоянных воспоминаниях: «Это наш дом, это наше поле, это могила моего отца, это дома наших соседей». Я заставлял себя вспомнить всех до единого по имени. Потом вспоминал произошедшие со мной события: «Здесь я должен был сбежать, но Торгом меня не взял; Цатур бежал, но забыл взять меня; Манука потерял; Газар остался там, в Анкаре; не знаю, где Галуст и его брат». Куда бежать, когда ты в родном селе, но осколки твоего народа исчезают на глазах?

В 1918 году гимназия «Саак-Месропян» при сиротском приюте Трапизона была не только островом выживания и возрождения, но бурным всплеском в противовес устроившим геноцид туркам, полёт нового роста ввысь, победа надежды и света над мраком. Таким был наш приют с первых же дней своего существования. Глава гимназии-приюта, вардапет Гарегин каждую минуту осведомлялся обо всём, что касалось нас. Он непременно находил всё необходимое, выискивал преподавателей по всем нужным предметам. При его содействии в Трапизоне было создано общество попечителей приюта. Он очень много делал на деньги, пожертвованные этими высокопоставленными людьми. Его квартира, которая была в то же время и представительством, находилась в центре города в маленькой келье. При нём был охранник, назначенный на эту должность специально для вардапета. Это был могучий, красивый, независимый, и в то же время очень образованный и добрый мужчина. Жаль, не помню его имени, назовем его Седрак. Невозможно без слёз вспомнить его заботу. Он часто появлялся в приюте и лично проверял всё — пробовал обеды, осматривал постели, посуду, наши волосы. По ночам он приходил посмотреть, как мы спим, не откидывает ли кто одеяло, нет ли у кого припадков, кошмаров, страхов, достаточно ли добросовестны и заботливы дежурившие ночью матушки. Очень редко бывало, чтобы кто-то заболел, а у нас не нашлось врача.

Миссию возглавляли парон Амаяк — учитель арифметики с Кавказа, парон Вардан, учитель физкультуры, пения и танца из Болгарии, парон Вардгес — учитель истории и практики, мадам Мелине — учительница рисования и искусствознания и мадам Сиран — учительница вышивания. К нашему классу были особенно привязаны двое — господин Гурген — учитель армянского языка и литературы, и парон Амаяк — учитель математики и «элементарной физики». Парону Гургену были также поручены наши знания по географии.

За английский язык с жаром взялся сам миссионер Степлтон. Степлтон был единственным директором гимназии. До этого он успел побывать во всех армянских провинциях, изучал всё, связанное с армянами — быт, культуру и историю. Он прекрасно владел западным армянским, знал и турецкий. Это был человек могучего сложения, краснокожий, благопристойный и добросердечный. Степлтон был очень озабочен распространением американского влияния, политикой и дипломатией. Он действовал под лозунгом: «Очаруй, подчини и заставь на себя работать». Преподавание в нашем классе помогло Степлтону изучить каждого из нас — наши способности, повадки, особенности. Исходя из этого он и назначал нам задания. Он преподавал нам, конечно же, в своем служебном помещении — в консульстве, служившем также квартирой для его семьи — это был покинутый армянский дом. В определённый час весь наш класс без исключения просто направлялся в его квартиру, в консульство. Мы вели себя тихо и благопристойно. Он садился в огромное кресло и, начиная чаще с забавных историй и сдержанного смеха, принимался за беседу о нас самих, о нашем народе и его последнем несчастье, не затрагивая при этом наши свежие раны, порожденные Геноцидом. О турках он не говорил. Помню, при сравнении языков он приводил в пример грубость немецкого, используя похожие английские слова, как например, «ахтен — аксен», и смеялся.

Иногда он приглашал нас в находящийся за домом сад. Какие там были фрукты! Он рвал инжир, долго жевал его и только после этого проглатывал. А нас поучал:

— Что бы вы ни ели — тщательно прожуйте до того, как проглотить, нельзя перегружать желудок.

Он выделил нам маленькие учебники по английскому, читали и писали мы под его контролем. Часто перед отъездом он давал нам домашнее задание. Когда было свободное время, он угощал нас фруктами, чаем, выпечкой. Мы были довольны им. В его доме бывала только одна изящная высокая женщина. Была она на удивление грустноликой, молчаливой, покорной, замкнутой. Мне казалось, что на душе у нее так почернело от пережитого горя, что и лицо её стало смуглее, чем было раньше. Она всегда была в тёмных траурных одеждах. Только из дому выходила в белом. Её не оставляли в покое самые невероятные образы Геноцида, погромов, побоев, удушений, поджогов, разбоя, грабежа и мародёрства. Она не могла подойти к нам, наверное, её душили слёзы. Детей у них не было. Не помню, чтобы она обмолвилась с нами хотя бы словом. С какой любовью и лаской подавала она нам, сиротам, чай! Как бы то ни было... Не могу высказать всего, что хотелось бы сказать.

В гимназии-приюте сразу организовали группы по физкультуре, пению, танцу, музыке (скрипке), театральную группу. Уроки игры на скрипке наш класс посещал после уроков. Вардапет нашел одного русского эмигранта, который не только великолепно владел предметом, но и был честным, добросовестным, заботливым и очень приятным человеком. У него были тонкие черты лица, синие глаза, слегка вытянутое, но гармоничное лицо. Он был очень меланхоличным, с тонкими чувствительными пальцами. Мы ходили к нему в дом, который тоже когда-то принадлежал армянам. Он тотчас начинал занятия. Всегда следил за каждым из нас, за положением пальцев, за слухом. У нас сразу появилась скрипка.

Между тем, хозяйство этого прекрасного человека, русского эмигранта, выглядело трагично. В Трапизоне этот интеллигент не был никому нужен со своей единственной скрипкой. Обременённый семьёй, он должен был искать пропитание. Скрипка понадобилась только для нас, сирот. Потому он ещё сильнее привязался к нам.

Самым своеобразным характером обладал воспитатель и учитель математики, критик парон Амаяк. Он любил курить и курил слишком много, был слишком одинок, слишком быстро выходил из себя, удивлялся, был восприимчив, изменчив, увлекался философской мыслью и писал стихи. Их содержание было заразительно самоуглублённым и меланхоличным. Подписывался он как Амаяк Шемс. Впоследствии под этим же именем он опубликовал некоторые свои стихи. На его уроках было невозможно переговариваться, шуметь, мешать. Мы сидели тихо, математика была трудным предметом, а сам он был немногословен, объяснял предмет мало и кратко. Нельзя сказать, чтобы он слишком откровенничал с вардапетом. Он так много курил, что пальцы его пожелтели от табака. Господин Амаяк отпускал тонкую, заострённую на конце и тоже пожелтевшую бороду, которая вместе с жёлтыми пальцами придавала его коже такой же желтоватый оттенок. Не лишал он себя и возлияний. С собой он выпивку не носил, но в его жилище бутылки не переводились.

Впоследствии ввели также обязательное изучение турецкого языка, преподавал который получивший турецкое образование парон Гурген-эфенди.

Господин Гурген был противоположностью господина Амаяка. Он был само простодушие, на его лице всегда играла несдержанная улыбка. Кто знает, как нужно было его довести, чтобы гнев в нём накопился и прорвался наружу? Он не умел лгать. На его уроках мы были свободны, разговаривали, задавали вопросы, вступали в беседу.

— Хорошо, хорошо, теперь вернёмся к уроку, время идет, — обрывал он нас с сожалением.

Он не пил и не курил, в этом вопросе он не стал товарищем господину Амаяку. Господин Гурген часто проводил с нами время после уроков. У него не появлялось возможности создать семью, дом и хозяйство. Он проверял, что мы читаем, прилежно исполнял указания вардапета.

Уроки истории проходили очень шумно. Мы знали наизусть каждую тему, вне зависимости от того, с кем её проходили. Бывало, что преподавал нам сам директор. У нас была пара карт. На переменах возле карты мы обсуждали будущее нашей Армении «от моря и до моря». Выбирали самые лучшие, самые подходящие, самые удобные места для ее новой столицы. Мне нравились два варианта — Ван и Ерзка. Карин тоже был неплох.

Госпадин Вардгес, казалось, занимает второстепенную позицию. На самом деле ему просто было так удобнее — он пользовался свободным временем для воплощения новых своих идей. Он не знал покоя ни в часы занятий, ни после. Он говорил очень быстро, и, чтобы убедиться, что мы все поняли, заставлял класс несколько раз хором повторять сказанное. Он был скорее в роли ответственного за дисциплину, чем в роли учителя. Он выполнял роль руководителя и организатора как на внеклассных занятиях по истории и географии, так и на ученических собраниях. Поручения преподобного он исполнял слово в слово.

Тикин Мелине — образованная, благородная, умная, умелая, была воплощением гармонии прекрасной души с редкой красотой. Она была самой влиятельной из преподавательниц, учила нас рисованию. Это было воплощение знаний и прилежных, умелых рук. Все учителя просто преклонялись перед ней. Иногда она рассказывала нам эпизоды из истории своего собственного Геноцида. Рассказывала, как их топили в реке Евфрат; как ее спасла ветвь дерева; как она вышла на берег, полуживая и без одежды; как перед тем, как её хотели сбросить в яму, она успела попросить, вымолить у курдов одежду, чтобы прикрыться; как курды увезли ее; как она жила среди курдов; как переместилась из Ерзка в Трапизон.

Иногда о пережитом рассказывала и матушка Пируз:

— Нас привезли в Камах. До этого в глубоких низовьях Евфрата, в каждом овраге, в каждом поле останавливали, выбирали... Куда везли? Что делали с увезёнными? Кто остался в живых? Как убивали? Многих забивали на наших глазах. Вырезали соски. Ах, мою Шушаник разрубили пополам на моих глазах! Заходили в сёла и что творили! Хохотали...»

Ах, народ, армянский народ,

Где моя Шушаник?

Увезли моего сына, загубили,

Ах, мой беспомощный народ,

Где твой Бог? Где он?

— Жертв группами сбрасывали с берегов, с мостов, убивали, и припевали:

Клинок, мой Клинок,

Вонзись в чрево армянки,

Вынь дитя из ее лона

Вместе с маткой, дающей жизнь.

Опа! В большую реку!

Вот место армянина,

Его последняя черта.

Острый клинок в руках,

Труп армянина — наша гордость.

Потом, желая поднять наш дух, она говорила:

— Армянский народ должен получить ответ! Одним только плачем, одной только мезтью ничего не выйдет, мальчики! Нужен единый удар. Мы не организованы из-за глупости наших руководителей. Родину теряет тот, кто утратил единство своих сил. Враг силён настолько, насколько слабо сопротивление. Я, беременная, нуждалась в защите, а не в турецком клинке, выкинувшим из меня мою святыню. Я побежала за своим старшеньким... Его зарезали, а Шушаник увезли. Я упала без чувств и ничего после не помню.

Потом она начинала петь:

— Мы — сироты, — а повариха Такуи, тикин Егине и тикин Мелине подпевали ей.

Тем не менее, центральной персоной нашего коллектива бы господин Вардан. Его активность и познания в физкультуре были безупречны. Он покорял многочисленностью своих талантов. Он был среднего роста, гибкий и хорошо сложенный. Его прекрасно подготовили в Болгарии, так как видели в нём учителя для подрастающего турецкого поколения. С его помощью мы постигали правила демонстрации собственного усердия и силы коллектива.

Как я уже сказал, мы изучали также и театральное искусство. Преподобный сам выбрал исполнителей из числа сирот, учитывая их внутренние и внешние качества. Пьесу писал он сам. В первую очередь для ритуальных христианских, а также для городских праздников. Первое театральное выступление было посвящено верным сподвижникам развития армянской школы — Сааку Партеву и Месропу Маштоцу.

Действия происходили в Аштишане и Вагаршапате. Мы быстро присвоили это сдержанное и глубокое произведение вардапета. С каким жаром и увлечением исполняли мы свои роли! Мне поручили роль Месропа Маштоца. Эти дни были настоящим шумным праздником для армян Трапизона.

Вскоре мы превратились в символ образования города. Под руководством вардапета и парона Вардана мы дали такое физкультурное представление, присутствие на котором стало почётным и обязательным для городских мужей.

Похожее по масштабам представление мы дали также в честь церковного праздника Вардананц. Городская церковь располагалась чуть повыше здания школы, в северной части центра города. В скором времени и эта разорённая церковь была восстановлена и стала активно действовать.

В тот день было такое роскошное представление, что даже описать трудно. К нам присоединились греческая церковь, городские католики и протестанты преподобного Степлтона.

Центральным лицом во всём этом представлении был наш черноглазый, смуглый, пухлый, с густой бородой и священным крестом — србазан Гарегин преподобный.

Здесь я должен остановиться на образе пастыря (вардапета), его безостаточной преданности. Был он личностью дипломатичной, опытной, знающей. В нём не было и признака грубости. Он был на удивление гармоничен — пропорционально и тонко сложен, то же можно было сказать о чертах его лица. Пальцы его были нежные и волосатые. Он обладал таким мелким и красивым почерком, что не верилось, что эти буквы написаны руками. Каждая созданная им страница была произведением искусства. Буквы так отлиты, что казались эфирным сплетением. Как бы я хотел, чтобы этот почерк нашёл себе место в музее нашего народного искусства! Он был бы среди самых изысканных образцов, я уверен!

Он организовал также ещё один праздник, о котором я хочу сказать. Точно не помню, что был за праздник — Вознесения или Воскресения Господня — кажется, это было в мае. Србазан лично всё подготовил. Он написал произведение, сравнимое разве что образцами армянской классики. Сам написал к нему музыку. Мелодия была очень заразительная. До сих пор помню её и первый куплет. Они могли бы стать предметами Золотого фонда:

У нас нет ни отца, ни матери, но мы не сироты,

У нас много благотворителей

Чью высоту, благородство

И благословенные дела

мы не забудем во век,

о ком никогда не забудем

в благодарственных молитвах.

Какая была печальная и искренняя мелодия! Я не забыл её, вспоминаю, напеваю, но увы — она пропадёт. Могу спеть, но вы не сможете слушать её с такой тоской, как я.

Святой открыл новый приют — сестринство для наших печальных скромных девочек. Было много покинутых армянских домов, брали те, который больше нравились. Здание этого приюта находилось на дороге, ведущей вверх, к Бозтепе. По этой дороге мы шли в гости к преподобному Степлтону в Американское консульство, которое, казалось, довлело над всем этим прибрежным районом.

Левый берег был турецкий — там почти не было зданий.

Вот в этом чистом, приветливом приюте-сестринстве и было подготовлено наше представление. Было послеобеденное время. Присутствовали кортеж глав католического представительства, турецкие чиновники, высокочтимые армяне и все городские армяне в полном составе. В просторном зрительном зале все места были заняты. И мы запели... С каким воодушевлением, с какими глубокими внутренними переживаниями запели мы своими чистыми, естественными детскими голосами...

После гимна «Наша Родина» мы запели сочинённый вардапетом «Сиротский гимн»:

У нас нет ни отца, ни матери, но мы не сироты,

У нас много благотворителей...

До позднего вечера большие и маленькие сиротки представляли зрителям свою бурную программу — декламацию, чтение стихов, песни и танцы. До позднего вечера не истощались запасы наших юных сил, не расходилась это многонациональная, многоконфессиональная, многоклассовая публика. Это был настоящий праздник, и ещё долго участники и зрители делились друг с другом впечатлениями от него. Слава об организаторском таланте Гарегина Овсепяна — нашего пастыря-вардапета — засияла в городе, ведь праздник был результатом его тонкой, умной дипломатической игры.

Вот ещё один пример его дипломатии. Ему удалось получить поддержку Степлтона без того, чтобы подчиниться принесённой баптистским пастором идеологии. Обычно это считалось невозможным, тем более что они уже сталкивались на этой почве, потому что политика миссионерства была следующей: «Если ты живешь и существуешь благодаря мне, значит, твоей головой буду я, а не ты сам».

Было необходимо ослабить воспитание армянского духа, заменив его протестантским американским настроением. Нужно было постепенно готовить армянских сирот к принятию американской политики, вплоть до воспитания из них американских граждан.

Заметив, что мы не отступаем от своего за кусок хлеба, не склоняемся в его сторону, он потребовал, чтобы мы, если хотим есть, последовали за ним. Вардапету он прямо сказал:

— Мы кормим вас, и значит, вы наши.

— Не пойдёт, — сказал наш пастырь, — мы — наши, вы — ваши. Мы живем во имя возрождения нашей нации, а не во имя того, чтобы есть.

— В таком случае, боюсь, нам придется пресечь предоставление вам средств к существованию... Что на это скажете?

— Ничего. Мы признательны вам за неоценимую поддержку, осуществляемую до сих пор.

— Остается только то, чтобы вы сами подумали о вашем дальнейшем существовании.

Казалось, после такого мы бы неизбежно впали в нужду, но наш преподобный дал понять «преподобному», что не всё так просто, как ему кажется. Было одно серьёзное обстоятельство, правильное использование которого дало возможность вардапету смягчить жёсткую позицию «преподобного» и пойти на взаимные уступки. Преподобный бросил в лицо пастору:

— Вам не следует забывать о происхождении львиной доли средств помощи. Основными благотворителями были не коренные американцы, а американские армяне, и помощь была предназначена именно сиротам.

Между тем пастор щедро раздавал эту помощь всем, в том числе и геноцидникам-туркам. Последнее обстоятельство едва ли порадует благодетелей, когда вардапету придётся заговорить об этом.

Наш пастырь объяснил «преподобному», что мы — армяне — наследники собственных культуры и духовности; не вмешивайтесь в дела нашей самобытности, культуры, в наш патриотизм и наше почитание к собственной нации. Исполняйте свою священную роль благотворителя, за которую мы вечно будем помнить вас. Для вас у нас есть молитва:

У нас нет ни отца, ни матери, но мы не сироты,

У нас много благотворителей...

Хоть этот спор и достиг высшего накала, претензии обеих сторон постепенно сменились взаимными уступками.

Преподобный смягчил свои требования, пошёл на уступки. Преподобный, в свою очередь, разрешил, чтобы мы присутствовали на собраниях протестантов и на их праздниках. Молились мы с закрытыми глазами. В их храме не было никаких украшений, кроме скамей и трибуны — ни картин, ни одеяний. Только молитвенники. У них были только Евангелия. Наверно, поэтому их называли Евангелистами. После молитв собирали пожертвования. Чаще всего эту работу возглавляла женщина.

Преподобный применял также дополнительную политику: после собрания раздавал пожертвования всем присутствующим.

Наш господин Аарон был самым пламенным его помощником. Ему безоговорочно доверяли. Он занимался распределением помощи и её хранением. Его семья была всем обеспечена. Тем не менее, пару месяцев нам довелось пожить независимо, то есть без поддержки нашего преподобного, но мы провели их без особых трудностей, также благодаря мудрой политике нашего вардапета.

Первым делом он собрал заседание влиятельных армян города. Это были люди, уже добившиеся прочного положения благодаря своей деловитости, они имели определённое влияние в городе. Эти новые армяне по-другому смотрели на мир, идея помощи сиротам объединила их, стала новым стимулом. Они очень тепло относились к нашему приюту — единственному источнику новой жизни армян, который мог стать залогом возрождения



нации. Святому отцу Србазану не составило особого труда получить от них гарантии поддержки. Они обещали помочь, и помогли, став нашему приюту «плечом и спиной».

Армяне Трабзона обладали довольно большими возможностями оказания материальной помощи. Их было множество. Упомяну только одну из их — Ванк. Ванк — самая значительная фруктовая зона Трабзона. Вардапет, используя нормы международного права, сумел забрать эти сады у диких разбойников — у турецких властей. «Священный крест» был большим монастырским комплексом, историческим памятником. Там были большие фруктовые сады... Где же его прежние жители, монахи?

Таким образом, нам достались большие владения и много зданий. Они принадлежали когда-то армянам и теперь снова перешли к ним. Мы, немногочисленные спасённые от Геноцида сироты, стали его наследниками, и нам предстояло сохранить это наследие.

Как я уже сказал, господин Вардан был очень молодым, несдержанным человеком. У него не было ни времени, ни возможности для создания семьи. После уроков он был с нами. Знал способности и умения каждого из ребят. Сам набрал группы по пению и танцу. Под его руководством мы принимали участие в разных соревнованиях — по пению, танцу, декламации, спорту. Появилась у нас и футбольная группа.

Всем приютским составом стали мы пловцами — от мала до велика. Дважды в день — ранним утром и вечером, он вёл нас шеренгой к «армянскому камню». Строил нас в ряд, и по его свистку все мы бросались в море, независимо от погоды и состояния воды. Поясню значение слова «камень». Этот берег Трабзона был очень каменистым, однако кое-где были хорошие песчаные берега. От этих песчаных пляжей до довольно глубоких мест из воды торчали треугольные, прямоугольные, округлые скалы, похожие на маленькие вулканы. Они и назывались «камнями», и на них встречались пловцы. Но собирались они по национальностям. Так что камень армян стоял отдельно, камень греков — тоже отдельно, ближе к западу. Наш, армянский камень, был довольно широкий, большой. Камень греков был поменьше, но так же высоко поднимался над водой, как наш. Для ныряния в глубину наш, армянский, камень был самым лучшим, неповторимым. У турок особого камня не было — им принадлежало всё остальное. Так что никто не имел права «перепутать» камни.

Каждое утро и каждый вечер мы были на нашем камне. По свистку входили в воду и по свистку плыли к берегу. Лишь на два месяца в году лишались мы плавания, да и то из-за зимы. Красивая, многоголовая греческая церковь была расположена как раз на скалистом мысе между «нашим» и «греческим» камнями. Она, казалось, поднималась, летела к небу.

Иногда между нами происходили поединки — метание камней. Они, вооруженные камнями, были по ту сторону, мы — по эту. Бой продолжался до первой крови, до первого происшествия, после чего мы приходили к своеобразному «мирному соглашению». В одной из таких широкомасштабных битв участвовал и я. Нужно было уметь хорошо метать камни. Это было залогом успеха.

Вскоре господин Вардан стал продвигать меня как заметного спортсмена. Я был «солистом», и ряды повторяли мои движения. Обычно я стоял первым в ряду. Потом стал вторым, затем — третьим. Первым всегда был Григор — он был и старше меня, и выше ростом. Он был талантливым художником, младшим братом парона Гургена. Это было его особое стремление — стать художником. Впоследствии он намучался на этом пути. Что стало потом — не знаю.

Я был одним из первых, кто остановил свои поиски на образе Сократа. Его философию я посчитал своей. Он был сторонником всего естественного, демократом, проповедником простой народной жизни. И в конце концов, он посещал открытую семинарию вместе с вольнослушателями, искал учеников. Всё у него было естественно, и ничего чудесного или скованного не было. Народ был сам хозяином того, что зарабатывал, им правил избранный народом же руководитель. Не поймёт по-хорошему, сойдёт с дороги — и тут же изменит своё решение под честным выбором голосования. С такими правдолюбивыми настроениями весь наш класс стал последователем учения Сократа. Мы стали презирать и даже отвергать лживые легенды об Иисусе Христе. Мы были язычники. Нам нравились произведения Варужана, и мы отвергали всякого рода веру и проповедь.

Эта убежденность так укрепилась в нас, что обеспокоенный преподобный стал принимать меры, дополнительные занятия. На дополнительных беседах он объяснял нам, что мы не должны отступать от армянства внутри себя, от священной нашей веры, полученной от дедов, за которую мы отдали столько жертв. Но было уже поздно. Наши учителя и руководство тоже стали склоняться к разным философским и религиозным течениям. Гурген говорил: «В мире много армян, едва ли я могу думать лишь о своем горе». Политические взгляды учителей также различались. Позиция господина Амаяка больше всего совпадала с позицией партии Рамкавар. Он защищал эту партию. У господина Вардана и господина Вардгеса любимых партий не было. Кому-то нравилась Гнчакяны. Всё смешалось. Горькое прошлое показывало, что многочисленные укоренённые убеждения были лживыми и пустыми. Искали новую опору. Отец Гарегин, хоть и не принимал никакой идеологии, но по убеждениям был близок к Дашнакам. Он был убеждён, что «мы сами — решение наших проблем, нам надо только помочь». Деятельность преподобного и господина Вардана стали противоречить друг другу. В итоге у нас появилось так называемое сопротивление «Варданян». Он собрал нас вокруг себя в кулак. Это был результат нашего ежедневного общения с ним. Неожиданно поползли слухи, что господина Вардана увольняют. Турецкие власти города тоже были причастны к этому, однако, принимая во внимание наше недовольство, дело затянули. И вот, однажды утром, он пришёл к нам со словами: «Оставайтесь с миром, ребята. Меня освобождают, не дают больше права работать с вами. Я ухожу».

Ворота были закрыты. Сторожем был дядя Амбарцум. Он запер их на замок сразу после того, как из ворот вышел господин Вардан. Мальчики стали перелезать через обвалившиеся стены монастыря и присоединяться к господину Вардану. Случилось непредвиденное — в приюте не осталось ни одного воспитанника, даже самого маленького. Школа опустела, и я один остался стоять. Я колебался. То решал уйти, то останавливался. Сам с собой спорил, но почему-то оставался стоять. Почему я, самый любимый ученик господина Вардана, не ухожу, стою на месте? До сих пор спорю сам с собой, не знаю, было ли это трусостью, или чем-то другим. Просто чувствовал, что я обязан остаться, что нельзя покидать этот очаг, в котором проклюнулся и поднимался росток завтрашнего дня Армении. Внутренний голос говорил мне: «Нет, не уходи, на кого ты оставишь свой приют?». Ведь бунт разрушителен, ребята правильно думают, но неправильно поступают. Я тоже могу уйти, но не уйду. Кто твой родитель, родственник, друг? Только он — приют «Саак Месропян». Господин Вардан — преданный сын нашего народа, наш самый любимый учитель, но, если вышло так, что он уходит, пусть уйдет.

Пришли воспитатели и с удивлением обнаружили меня одного, ведь все знали, как я привязан к господину Вардану. В тот же день я сел, и со всей своей неискушенностью и элементарной полуграмотностью написал обращение. Вот бы вспомнить, что именно я

написал. Содержание могу восстановить примерно, вспоминая без волнения, хотя писал я его, весь мокрый от слёз. Примерно так:

«Братья, возвращайтесь, соберитесь, это лоно нашего народа. Не разбегайтесь. Простите, что не присоединился к вам, просто я не считаю верным этот шаг. Вернитесь! Куда вы пойдёте, сколько вы будете бродяжничать? Исправьте свою ошибку, и преподобный примет вас. Я жду вас».

С того дня сломался хребет нашей школы. Через два-три дня всех ребят нашли и вернули обратно. Господин Вардан сам уговаривал их вернуться. Господина Вардана мы больше не видели. Школа уже никогда не смогла вернуть своей жизнерадостности.

В школе была собрана прекрасная библиотека. Рано утром, до того, как все просыпались, я поднимался и тайно бежал в библиотеку. Мы соревновались, кто прочтет книгой больше и расскажет. По стенам коридоров были вставлены нарисованные нами портреты армянских классиков. Портреты Ширванзаде и Агаяна были сделаны мной. У каждого была своя авторская работа. Григор нарисовал Шнорали, Егише, Дурьяна, Хримяна, Пароняна, Гевонда, Сиаманто, Раффи, Варужана, Цатуряна. Аво — Абовяна, братья Норайры — Туманяна и Исаакяна.

Были у нас тонкие работы по резьбе, модели, другие изделия, требовавшие кропотливой работы. Единственным их хранителем был дядя Амбарцум — его я помню за приготовлением кофе для себя и учителей. Присматривал, сторожил, а иногда посылал наиболее влиятельным чиновникам — в качестве благодарности и наглядного примера ненеправильной их благотворительности.

Создали мы так же и стенгазету. Сумели выпустить лишь несколько номеров. К нашему удивлению, один из них дошел до Америки, в общество наших благодетелей под названием «Нью Ист». Это было воплощением нашей благодарности. В этом номере был мой небольшой рассказ под названием «Цо Нерсо».

Через несколько дней на перемене парон Амаяк вызвал меня к себе. Там же был и парон Гурген.

— Дживан, ты читал Рубена Ворберяна или Зардаряна?

— Говоря откровенно... А что случилось? — удивленно спросил я. — Я прочитал многое из того, что есть в библиотеке.

— Не вспомнишь ли похожего на твой рассказа в этих книгах?

— Откуда мне знать? Я не знаю...

— Хорошо, хорошо, иди, ты большой молодец, это ты написал «Цо нерсо».

В следующем номере я опубликовал размеренный стих под названием «Пасхальное яйцо». Все мы с одинаковой преданностью участвовали в школьных мероприятиях.

Вскоре ситуация в стране стала изменяться. До этого город был полон чужестранными войсками — англичанами, французами, итальянскими моряками, болгарами и греками. В английских войсках мы замечали индусов. Все они свободно разгуливали и были предоставлены сами себе. Не забуду «язык флагов» английских моряков — их переговоры с помощью флажков. Господин Вардан научил нас ему, и мы легко распознавали сигналы.

В порту Трабзона всегда бывали два больших торговых судна под итальянским флагом. Мы знали, в какой день недели они отбывают, в какой — прибывают. Были суда и с французским флагом. Кроме такой узаконенной торговли было еще множество маленьких парусников, моторных лодок, яхт, снующих по морю. Город был похож на многоголосый птичий рынок.

Вторым пристанищем для нашего приюта стал покинутый трехэтажный дом богатого армянина, как я уже сказал, он располагался неподалеку от прежнего нашего места. Комнаты непосредственно выходили в коридор. На втором этаже были, в основном, спальни. Новое здание стояло на узенькой улице — пустынной и полной комаров, от которых не было ни сна, ни покоя. Что бы ни делали, а с ними ничего поделать не смогли.

Кат-кат-кат — ходил вокруг дома ночной сторож и бил дубиной по камням. Значит, три часа ночи. Мы по «кат-кату» узнавали, сколько времени. Стоящие на балконе колонны мы использовали, чтобы мериться ростом. Было заметно, как быстро мы растем, каждый месяц все больше и больше. Год от года разница становилась все больше.

Сад приюта, богатый плодовыми деревьями, как и большой ближний двор, сдавался. На нижнем дворе школы, ближе к цветнику, находилась стена соседнего дома. В ней открывалось низенькое окно на наш сравнительно более высокий цветник. Здания по наклонной спускались к морю.

Вот из этого окна мы и стали общаться с навсегда прикованным к постели хозяином-греком. Был он человеком развитым, благожелательным. Каждый день мы приходили к нему, разговаривали, рассказывали новости. Когда мы запаздывали, он беспокоился, звал нас. Это общение стало своеобразной школой для нас. Был он очень взрослым, стоял на закате жизни, и перед своим уходом передавал нам все свои знания. Он читал нам греческих классиков, рассказывал об истории армяно-греческих отношений. Объяснял, что сейчас необходимо объединяться против единого Восоха (агрессора-неприятеля — Прим. перев.).

Рассказывал о трагедиях местных армян, об их мытарствах, о сотрудничестве с ними и о взаимных бедах.

Это было в то время, когда всех окрылили кратковременные успехи армян. Армения от моря и до моря! Подписано Севрское соглашение. Вильсон стал звездой для армян. Агаронян, оставив своё народолюбивое, патриотическое, созидательное перо, золотым пером записал этот исторический факт.

— Я подписал документ о воплощении нашей вековой мечты об Армении от моря и до моря, вот этим золотым пером, которое хочу сдать в музей истории.

Вот в таком восторге был дьякон Агаронян.

Это было время, когда множество спрятавшихся, не выдававших себя армянских семей вернулись в лоно родного народа. Недалеко от нашего приюта, на противоположной стороне переулочка находилась богатая на приход, но всё же единственная в городе католическая церковь. Под ее покровом жило множество армянских семей. С какой силой вдруг пробудилось их национальное самосознание! Все вдруг вспомнили, что они — от дедов и бабок, от матерей и отцов, до детей и внуков — армяне и армяне!

Начались бурные возвращения к армянским корням. Сколько притаившихся семей вспомнили, кто они! Они возвращались, покидая надёжное лоно католической церкви. Впрочем, впоследствии они снова затаились, и пропали без следа.

В те дни мне поручили скопировать большой портрет президента Вильсона. Сколько дней и ночей рисовал, стирал и снова рисовал я этот портрет на широком холсте! Наконец я его закончил. Это были рождественские дни. Ранним утром мы, одетые в рубахи ангелов, со свечами и портретом Вильсона в руках поднялись по улице Боч-то к американскому консульству, к дому господина Степлтона. Дошли к воротам до рассвета, и стали петь:

Благая весть, благая весть,

Христос родился и среди нас...

Жаль, дальше не помню.

Господин и госпожа Степлтон, как почтенные пасторы, политические проповедники и милосердные миссионеры, в соответствии с ритуалом вышли к нам навстречу в праздничной одежде.

В приюте случались кражи, однако вора поймать долгое время не могли. В конце концов, на рынке обнаружили простыня и наволочка из нашего приюта, благодаря которым вор был пойман. Наше бельё было помечено, однако продавец был местным турком и отношения к приюту не имел. Напугав в полиции, его затем привезли в приют, где выстроили всех мальчиков. Турок двинулся вперед, осматривая ряды, и результат не заставил долго ждать. Он узнал одного из наших парней — Мисака. Он не учился, работал и состоял в интимной связи с одной молодой работницей приюта. Она и краля из приюта всё, что можно было продать, и отдавала Мисаку, а он, в свою очередь, продавал на рынке. Оба они были из Эрзерума, и обоих выгнали из приюта.

Нашему классу поручили сделать ремонтные работы внутри здания. Вооружённые инструментами, мы взялись за работу. Вдруг Арменак из Баберда воскликнул:

— Ба! Что это?

Мы набросились на него:

— Что, что?

Это был тайник — золото, бриллианты, изумруды, украшения... Всё это каким-то образом выпало наружу из тайника. Начался невероятный переполох — все рассовывали по карманам с большой прытью. Нескольким ничего не досталось, в том числе и мне. Появилась необходимость спрятать найденное, но очень скоро обо всём стало известно. Турецкие власти, позиции которых укреплялись в городе, потребовали, чтобы клад вернули «законному» хозяину. Было очевидно, кто его владелец — бывший хозяин

особняка, богатый армянин. Наверное, он едва успел всё спрятать под стеной перед побегом. Ни одного украшения, ни одного куса золота не оставили, по крупице всё отобрали.

Мне вспомнилось золото, спрятанное моим дедом.

Преподобный должен был поехать в Эчмиадзин — получить рукоположение в епископы всех армян. Его уже давно ждали, но он всё не ехал — то было много дел в приюте, то сам он был не готов. А впоследствии усложнился и отъезд. Из Армении приходили нехорошие известия. Тем не менее, он решил рискнуть и всё-таки поехать. Это было осенью 1921 года. Перед отъездом он пригласил наш класс — самый старший класс приюта — на обед в свою квартиру-резиденцию. Это должно было стать своеобразным благословением. Был очевиден и повод — нужно было дать оценку «противостоянию Вардана», обсудить, ещё раз обдумать, в то же время, научиться брать уроки у прошлого, и обдумывать свои поступки более зрело, перед тем как их совершить.

Так и вышло. Кроме него присутствовали господин Гурген и господин Амаяк. Преподобный был грустен. Сроки его поездки были неясны, и неприятная история с нашим бунтом печалила его. Он расценил этот случай как недостойный порыв страстей, непродуманный шаг, падение. Подчеркнул мой пример, похвалил. Поручил парону Гургену и парону Амаяку укрепить славу приюта «Саак Месропян», его доброе имя колыбели возрождения армянского народа.

Наш вопрос — почему прогнали господина Вардана — остался без ответа.

Он благословил нас и пустился в дорогу.

Положение страны менялось, колесо Фортуны склонилось в сторону турок. Результатом этих событий стало то, что первое здание школы у нас отобрали. Мы уже ходили в приют девочек — вместе сидеть на уроках. До этого девичий приют был для нас закрыт. Мы встречались с ними только на праздниках. На этот приют, не знаю почему, была ограничена даже власть нашего пастыря. Не помню, сколько было девочек, не могу сказать. Я знал некоторых по именам. Запомнил Зепьюр и Беркруи. Потом они вышли замуж за Саатура и Оника.

Однажды утром, мы шли ровным рядом под руководством парона Вардгеса в девичий приют на занятия. Вдруг я услышал, как меня позвали.

— Халил, Халил!

Я повернул голову.

На противоположной стороне улицы стоял, простерев ко мне руки, Шавчи. Тот самый Шавчи, что так долго искал мою мать, Шавчи — старший сын Али Османа. Я стоял, растерянный, с понурой головой.

— Хурбан оглум! Разрешите ему на минуту подойти ко мне, я только обниму, поцелую и пойду. Только ради него пришёл я в Трабзон, пришёл, увидеть своими глазами. Господин Вардгес не стал противиться, даже подбодрил меня, говоря:

— Не бойся, подойди, повидайся с ним, мы подождём.

Я подошёл. Он обнял меня, поцеловал и дал немного денег.

— Не стесняйся, ты хорошо поступил, учись, человеком станешь. Ты наследник мавина и ты возродишь род Рстаков. Я пришёл сюда из деревни, чтобы увидеть тебя своими глазами. Пойду, расскажу Исмаилу.

— Ну, иди, — сказал он, утолив свою тоску, — иди, армяне ждут тебя.

Узнав обо мне, немногочисленные армяне нашего села — Карапет, Галуст, ещё кто-то стали переселяться в Трабзон. В те дни со стороны Батума прибыл большой корабль, полный армянских беженцев. На корабле узнали, что в Трабзоне есть армянский приют. Начали искать своих потерянных родственников, друзей, односельчан. Кругом только и было слышно, что «Галуст, Карапет, Мариам, Газар...» В этом гомоне я пытался расслышать имена домов нашей деревни — Рстаки, Магатнян, Никогосян, Ваднанян... Вдруг послышалось:

— Дживан, Дживан из Дерджана есть?

— Я здесь! Я Дживан из Дерджана! — я кричал...

Мой голос слышали на корабле, но об этом я узнал позже, когда несколько наших односельчан сошли с корабля, чтобы обосноваться в Трабзоне. Среди них была и наша невестка Сина с тремя своими детьми: Югабер, Воский Овсеп. Она нашла меня в приюте. Скоро она стала работать в нём горничной и тем самым спасла своих сироток. С корабля многие спустились, община Трабзона росла.

В округе Трабзона основными деревьями были фундуковые. Склоны гор, овраги были покрыты фундуковыми зарослями. Инжир в Трабзоне слаще, фрукты — лучше. Особенно цитрусовые — апельсин, лимон. Было также много грецких орехов, груш, яблок. А еще «баранья дыня» — очень вкусный, растущий гроздьями, как виноград, аппетитный плод. Беженцы вдоволь пользовались этими дарами, обильно растущими вокруг города.

Однажды, возвращаясь из девичьего приюта, мы с Арменаком немного отстали от ребят, решили подняться по развалинам на дерево инжира. Темнело. Мы забрались на дерево. Инжир созрел, был он жёлтый и чёрный. Ближняя ветка, склонившаяся над соседним огородом, манила богатым урожаем. Мы потянулись за ней, но дерево треснуло под нашим весом, и мы упали в соседний огород. На огороде были посажены прутья для побегов лобии, они смягчили удар. Мы не испугались, но тут прибежал хозяин (или человек, ставший таковым недавно). Он поймал нас среди сломанных подпорок лобии. Поняв, что мы армянские сироты, ничего не сделал нам, только потянул за уши перед тем, как отпустить.

Вдруг у меня начались страшные боли в боку. Я мучился в коликах, особенно ночью. Матушки прикладывали мне грелки, немного отпускало, и я засыпал. Не мог мочиться — боль просто убивала меня. Около месяца я не шёл на поправку. В конце концов господин Аарон отвел меня к супруге преподобного Степлтона. Выяснилось, что она работает врачом. Она меня расспросила, пощупала больной правый бок, узнала, что мне трудно ходить в туалет и повелела парону Аарону:

— Месяца два-три не давайте пареньку ни обеда, ни хлеба. Только фрукты, и больше всего — арбузов.

Затем, обращаясь ко мне, сказала:

— Пойдешь, искупаешься и ляжешь спать, перевязав спину.

Так и вышло. Во время обеда всем давали хлеба и разных блюд, а передо мной ставили тарелку с фруктами. Сразу полегчало. А спустя месяц я мог спокойно ходить в туалет и спать. Потом я понял, что меня мучили камни в почках, они воспалили мои органы. Эта болезнь навсегда излечилась, а боль в боку осталась до самой старости.

Всем нам проверяли зрение. Мазали каким-то синим камешком. Все это сносили спокойно, как что-то повседневное, а мои глаза начинали страшно болеть, не открывались, будто в них песку насыпали. Оказалось, у меня еще и другая болезнь, под названием трахома. Я долго лечился, однако следы остались. Американцы очень строго следили за этим: для больного трахомой двери в Америку были прочно закрыты. Она считалась острой заразной болезнью, к тому же передающейся по наследству.

Вардапет опаздывал. В этом промежутке появился ещё один новичок. Однажды вечером, едва стемнело, в ворота постучали. Открыл сторож, дядя Амбарцум. Пришедший тихо сказал: «Дядя, я армянский сирота, меня преследуют, спрячьте меня, я едва нашел место вашего приюта».

Дядя Амбарцум впустил его, спрятал. Утром нам шепотом сообщили о новеньком. После того, как он был переодет, его тотчас отправили к нам, к старшим сиротам. Мы сразу стали его расспрашивать, но днем это было опасно, а другой возможности не было. Обещал рассказать все вечером. Собралось нас несколько — особо толковых, присутствие всех было нежелательно. Он был взволнован, и говорил, заикаясь:

— Ребята, сказал он, — начните тихонько петь, чтобы я смог начать.

Мы стали тихо петь гимн Армении, которому нас научил парон Вардан — «Нашу Родину». Он сразу стал подпевать, а потом потихоньку взял себе первенство в нашем хоре. У него был прекрасный голос. Немного позже мы стали слушать сквозь наше пение его рассказ.

— У меня сейчас два имени, — Вазген и Мушег, — начал он, — когда я сказал об этом, ребята засомневались. Но почему они сомневаются? Я же не успел объяснить, почему это так... Я вам все расскажу, а вы, прошу, скажите им, пусть поверят мне.

Да, нужно отметить, что сомнения были. Наши предполагали, что турки могли специально прислать нам своего человека. Но наши сердца, успевшие многое повидать, угадывали в нем своего.

— Нет, теперь мы тебе верим, — набросились мы с четырех сторон, — ты армянин, а не вражеский шпион.

Он посмотрел на нас и продолжил свой рассказ:

«Турки пришли в Карс. Мы жили в сиротском приюте Карса. Не успели выйти из города, не успели спастись. Турки начали убивать, стирать с лица земли. Мы — двое друзей, думали, как нам спастись. Сначала хотели притвориться немymi, но поняли, что очень скоро можем попасться. Лучший выход — притвориться турками. Надели турецкую одежду, на головы надели фески и смешались с группой турецких чetenов. Мы сумели



прописаться в их ряды под именами Эхмед и Шаки. Я был Ахмед, а приятель — Шаки. Раз уж так вышло, мы решили начать в их рядах секретную деятельность. Мы узнали, что четены собираются обойти всю Анатолию, „очищая“ ее от гяуров. В первую очередь они собирались уничтожить тех армян, которые не успели отуречиться. Мой друг Шаки был очень начитанным и довольно хорошо подготовленным парнем. Я умел хорошо петь — с детства меня научили петь и на армянском и на турецком. Мы надеялись освободиться, уйдя морем в Россию. Наш главарь банды принадлежал объединениям Карабекира. Выполнив наше чёрное дело в Эрзуме — уничтожив всё на своем пути, мы двинулись к Алашкерт. Куда бы мы ни пошли, чете-баши брал у полицейских адреса местных армян. Он строго следил за тем, чтобы во всех вверенных им местах не осталось ни одного живого гяура, избежавшего Геноцида. У него был особый письменный приказ о содействии на местах, о том, чтобы нам предоставляли ночлег и еду. Мы разделялись по деревням. Вот тогда мы и находили возможность для секретных дел. Мы узнавали об армянах, всё ещё живущих в этих деревнях, и спешили к ним раньше остальных, будто бы торопясь убить и ограбить. Мы предупреждали их об опасности, чтобы они успели спасти свои головы побегом или переодевшись в турков. Армян осталось совсем мало, да и те прятались у курдов-односельчан».

Ненадолго прервавшись, но заметив, что мы жадно слушаем, Вазген-Мушег продолжил свой рассказ:

«Невозможно забыть случай, произошедший в местечке Чухурма, находящемся в Чоруме. Это был самый опасный день. Стая гиен решила устроить крупное побоище. Специальный отряд уже собрал достаточно большое число армян. Главной причиной, по которой им удалось выполнить свое намерение с лёгкостью, был хитрый план. Немногочисленных курдов, укрывающих армян, уговорили, что намечается перемещение армян. Ни один армянин не должен остаться в дедовской деревне. Их будто бы должны переселить туда, где они не могут иметь корней. Такой приказ на самом деле был отдан четенам. Но мы-то знали, что к чему. Начали думать, как сыграть нашу спасительную роль.

Решили дать им понять, что им предстоит, хоть они и без того догадывались. Мы все время ходили вокруг собравшихся, совершали такие движения, чтобы нас заметили. Например, я говорю, а Мушег будто бы смеётся и передразнивает меня, а на самом деле, изображает на моей груди крест. Наконец, две девушки, достаточно громко, чтобы мы могли слышать, начали шептаться:

— С чего эти двое так похожи на армян?

— Да тихо ты! Разве среди этих волков могут быть армяне! Это аскяры.

Мы побежали к четенам и начали уговаривать:

— Если хотите, чтобы мы вас веселили, пели-играли, дайте нам этих двух девушек, мы отведем их в те кусты и приведем обратно.

— Можете забрать трёх девушек и не приводить их обратно, только поскорее, — ответили они.

Мы вернулись к пленным, и, повернувшись спиной к четенам, стали осторожно совершать крестные знамения и жестами подзывать девушек. Они, хоть и с ужасом, но повиновались. Мы начали изображать, будто силой тащим их в кусты ежевики. А сами, сквозь собственную громкую турецкую речь и ругательства, шепотом на армянском

успокаивали их, мол, не бойтесь, идите. Девушки и понимали, и не могли поверить. Скорее, боялись, что мы ведём их на изнасилование и собираемся убить. Они умоляли нас о пощаде. «Ещё немного, ещё чуть-чуть», — шептали мы по-армянски и еле тащили их в кусты. За кустами ежевики, Мушег тотчас перешел на армянский.

— Ты оставайся здесь, а ты беги назад, будто сбежала от нас. Потихоньку скажи вашим, чтобы женщины шли к четенам, умоляли отпустить их искупаться, мол, они грязные.

— Если не разрешат?

— Тогда все вместе — женщины, дети, девушки — возденьте руки к небу и зовите: «Аллах, Аллах!». Начните их проклинать на турецком. Они испугаются, разрешат. Пойдете и не вернётесь. Идите все в разные стороны, кто спасётся — тот спасётся, всё равно всех вас должны расстрелять.

— Ничего другого мы для вас сделать не можем. Про нас, смотри, ничего не говори, даже вашим.

Одну отправили в деревню, а с другой распрощались, мол, беги, спасайся. Она поцеловала нас и перед уходом сквозь слёзы спросила: «Как ваши имена? Всю жизнь буду носить в сердце ваши лица и ваши имена». Скорбя и плача, убегала она, сторбившись, спотыкаясь на каждом шагу. Чуть позже мы вернулись и стали жаловаться:

— Слишком грязные. Одну послали обратно, другую расстреляли. Не получили мы удовольствия! Мы тоже хотим кейфа! Пусть пойдут, помоются, чтобы мы покойфовали. Если, конечно, не торопитесь их расстрелять.

— Э, расстрелять всегда успеем. Что у нас, времени нет? Пусть пойдут, помоются.

Им разрешили пойти небольшими группами. Первая группа так и поступила, но... остальных зарезали. Так мы дошли до массива Авач-тукат. Там мы узнали, что четены увели большую группу женщин и девушек к оврагу, в сторону мельницы. Дошли до оврага. Увидели, что четены готовятся изнасиловать и убить их. Что нам делать? Наши сердца сжимались от ужаса, мы стояли и думали. Только бы не убили, ведь все они молодые. Были и маленькие девочки. Их человек десять. Вдруг Мушег сказал:

— Ты начни петь, а я уговорю этих упырей, чтобы они слушали тебя, веселились, танцевали, а убийство поручили мне. Я уведу их вниз и объясню, чтобы бежали в разные стороны, прятались. Нам удалось осуществить задуманное, женщины растворились в темноте. В этот раз у нас получилось порвать с четенами. Мы оторвались от их стаи и пошли на северо-восток по горам и лесам. Теперь нашей главной заботой было спрятаться. Мы были уверены, что нас уже ищут. Ашуговский кох казался нам самым удобным. Мы оделись ашугами (поэт-певец у народов Кавказа — Прим. перев.), я стал певцом, а Мушег играл на сазе и кяманче. Мы были уверены, что исполняем верные роли, и ходили по деревьям в поисках ночлега.

К горам Понтоса мы подошли со стороны Баберта. Ходили с песнями по Понтосу. Исчезли и весёлые, самобытные армяне Понтоса. Везде были развалины, покинутые дома, вековой старины. Пришли мы в Шизу, в маленький приморский полугород-полусело. Свободные дома, покинутые сады — сколько хочешь. Неделю мы отдыхали то там, то здесь. Спланировали, как перейти к русским. Узнали, что по воскресеньям можно найти прогулочный катер. Так и сделали. Нашли одного доброго, любящего армян лаза, который

ругал, ненавидел турок. Постепенно мы подружились и открыли ему наше намерение. Он взялся подвезти нас к Чороху, но только к устью. Дальше везти не решился. Мы сами должны были вплавь выбраться на другую сторону. Он всё объяснил нам, показал дорогу. Без всякой награды. Мы знали, что нас преследуют, что мы осуждены на смерть. Чорох надо было пройти любой ценой. Ночью переходить нельзя — это верная гибель. Решили перейти ближе к вечеру. Самым трудным был вопрос одежды. Всё, что могли, повязали себе на головы и... просчитались. Именно это нас и выдало. Нас заметили. Поняли, что мы бежим. Мы не отозвались на призывы остановиться. Начали стрелять. Мы решили не возвращаться, но случилось роковое: мой друг, мой брат Мушег, мой родной, был ранен в голову и скрылся в волнах Чороха. Я ничего не смог сделать. Вода унесла его к Черному морю. Я был вынужден вернуться. Меня окружили аскяры. Я ощутил на своей шее приклад ружья. Меня бросили на повозку и привезли в Шизу, в тюрьму. В моей камере было окошечко, выходящее в сад. Там находилась резиденция нашего господина, начальника тюрьмы. Со мной был только один узник. Едва я вошёл, как он понял, что я армянин. Подошёл, и спрашивает:

— Кто ты, откуда, как остался в живых?

Я рассказал. Он выслушал, после чего рассказал мне свою историю. Он тоже сбежал от аскяров.

— Всё равно тебя убьют. Ты предатель и армянин. Давай я сам тебя убью.

— Едва ли я останусь жив в любом случае, — ответил я — но какая тебе польза от моей смерти?

— Как и все армяне, ты должен уйти на тот свет. Тебя расстреляют, это ясно. А вот если я тебя убью, может мне удастся оправдаться, загладить свою вину.

Я тотчас понял, что спасенья нет — я в тисках смерти. Я начал исполнять какой-то бред, перемеженный с песнями. Песня немного сдержала моего соседа. Он позволил мне петь. Мне повезло — пение услышал начальник тюрьмы. Он был в хорошем настроении. Он вызвал меня к себе, расспросил, и отвел к сер эскяру. Я начал петь.

— Ты хорошо поешь, аман, жалко, что армянин...

Я не ответил.

— Мы получили телеграмму о том, что ты армянин, совершивший предательство. Как тебя зовут?

— Эхмед, говорю.

— Эхмед? Мы тебя расстреляем. Сказал бы ещё — Шаки. Хотя... Если станешь турком — отпустим, но только в этом случае.

— Эфенди-бинбаши, позвольте мне спеть людям, не всё ли равно, турок я или армянин?

Начальник тюрьмы потребовал, чтобы я исполнил пару лазских песен, танцев. Потом, решив, что этого недостаточно, я добавил:

— Если будет музыка, ещё лучше получится.

— Но в этом уже не было нужды, им всё очень понравилось.

— А где твой друг? — спросил эфенди.

— Убит.

— Да будет так, — сказал эфенди — ты будешь жить, я тебя не убью. Отправлю в Трабзон. И, обращаясь к своему полицейскому служителю, сказал:

— Юсуф собирается отвезти почту. Я дам тебе бумагу, передашь ему. Пусть отведет этого исламизированного ашуга в медресе при мечети. Они уже, как полагается, введут его в Ислам и подготовят себе сотрудника. Только пусть привезёт мне документ о том, что его приняли, который я смогу сохранить у себя.

Дошли мы с Юсуфом до Трабзона. Он повёз меня в Джами и сдал ходже, руководившему муллами. Он принял меня, и я остался. Прошла неделя. Я тайно наблюдал за жизнью армян Трабзона. Узнал, где находится сиротский приют. Меня неделю не выпускали со двора мечети — я должен был молиться и совершать омовения, перед тем, как принять Ислам. А мечта об освобождении не давала мне покоя. На следующую неделю после моего прибытия, в пятницу, ходжа послал меня к своему знакомому лавочнику. Дал деньги и послал со мной какого-то маленького мальчика. Мне повезло — когда мы вошли в магазин, там стояла суматоха, люди спорили и чуть не дрались. Один говорил: «Ты не приносил!», а другой отвечал: «Приносил, обманщик!». Дело дошло до драки. Нужно было звать полицейских. Так получилось, что меня взяли свидетелем. Я с удовольствием принял эту роль. Как это получилось, не знаю, но по дороге спорщики помирились, и все вместе вернулись. Я остался без внимания.

Я сразу сообразил, что случай мне на руку, и убежал. Я прятался неделю, постоянно меняя свои укрытия. Истратил до последнего свои деньги, что имел с собой. Я знал, где находится приют, но не пошёл туда. Знал, что в первую очередь меня будут искать там. Почему они до сих пор не пришли — не знаю. Теперь я, наконец, в безопасности — здесь, в приюте, среди армянских сирот. Нигде не разговаривайте обо мне».

Долгое время царило молчание. Его история освежила многие наши раны. Да, уже было ясно, что Вазген наш. Нужно было молчать. Незадолго до того, как Вазген пришел в наш приют, в городе объявился кровожадный Топал Осман (Хромой Осман). Это был дикий разбойник, предводитель четенов. В его распоряжении находилась стая кровожадных гиен числом примерно с батальон. Он сам определял свои полномочия, не подчинялся никакому правительству. Обеспечивал себя самовольно. На его дела смотрели сквозь пальцы, поскольку он грабил армян, занимался «очищением», что являлось государственной программой. Я сам видел его. Не помню, в какой части города это было: он шатался в окружении своих телохранителей. Он был существом маленьким, с недлинными усами, с глазами навывкате. Слегка хромал на одну ногу. На рукаве красовалась наградная лента. И вот, этот знаменитый изверг вошел в Трабзон. Самой «жирной» добычей для него был, конечно, сиротский приют. Он не ускользнул от жадного взора Топал Османа, но местные власти не дали ему такой возможности — слишком много было в городе чужестранных дипломатических глаз. «Твой кинжал — для провинций, — было сказано ему, — совершай свои набеги на провинции, очищай Турцию от гяуров. Но здесь надо действовать с осторожностью». И выпроводили его в глубь страны.

В Трабзоне он пробыл вместе со своей стаей около недели, и всё это время пребывали мы в ужасе, потому что в это время турецкие чиновники прогуливались в сопровождении отуреченных армянских сирот, и Топал Осман не хотел отказывать себе в таком удовольствии. Именно поэтому к истории Вазгена мы поначалу отнеслись с подозрением. Думали, что его прислал Топал Осман, и что, укрыв его у себя, мы рискуем дать повод для неожиданного визита этого зверя. Впоследствии я стал путать — который Казим, который Топал Осман? Они были очень похожи. Казим был командующим восточного фронта, он знаменит тем что собрал армию из 1600 христианских детей-сирот. Командиром армии «Крепкие дети» был Топал Осман.

После ухода Топал Османа стало ясно, что Вазген наш — он армянская сирота и не хочет становиться турком. Его имя задним числом вписали в приютский список. Он очень быстро ко всему привык, и разлучал нас только школьный звонок. Он очень заикался, к тому же обладал заячьей губой. Каждый раз при прощании он говорил: «Я взял себе имя моего друга Мушега, ах, мой друг, душа моя. Очень быстро он стал нашим лидером. После уроков именно он был нашим воспитателем и предводителем. Благодаря ему наш репертуар так расширился, что мы могли бы дать концерт на несколько часов. Несколько из этих песен я помню до сих пор: «Бесстрашный друг, вступай в ряды», «Подобно орлу», «Вы пали жертвой», «Марсельеза», «Песня гутана», «Скучаю по твоим очам», «Чёрные глаза», «Песня моряка», «Тёмные, чёрные тучи», «Ожерелье Шамирам», «Когда волнами...», «Я Кукуян Саркис по имени», «Мы честные солдаты», «Летите, журавли, к Армении», и так далее, до бесконечности.

Вазген-Мушег заменил нам господина Вардана. Был он очень осторожным юношей, ни разу не переступил порог приюта.

А преподобного Гарегина всё не было и не было. Как и не было никаких известий, мы знали только, что он задерживается. Преподобный Степлтон был весьма озабочен — дела шли плохо, собрание оставалось без присмотра, он распространял евангельские молитвы в переводе на турецкий. Больше он не смеялся.

Наконец весной объявился наш пастырь — Гарегин епископ Овсепян. Никакой пышной встречи или чего-то подобного не состоялось. Мы упустили из виду время его прихода, не заметили, как он вошёл в приют, как прошёл в свою келью. Он был похож на общипанную птицу — вошёл в свое гнездо и не хотел выходить. Появился спустя несколько дней. Он был грустен и мрачен. Тоска напала на всех. Молчали также и учителя. Он всё проверил. Не сказал ни слова. Позже мы узнали, что он успел стать епископом и едва избежал многочисленных опасностей.

Он собрал приют под широкой парадной террасой школы и начал рассказывать о событиях, объяснять различные явления. Рассказывал он о новой волне Геноцида. По его словам, установлен новый порядок. Небольшой клочок земли вокруг Еревана и горсть голодных, убогих людей называлась теперь Арменией. Трагедия Армении и армянского народа продолжалась. Церковь подвергалась гонениям. Голод, болезни, эпидемии, не захороненные трупы, сиротство, нищета.

Над армянами новой Армении не висела угроза турецкого ятагана. Нужно было только преодолеть голод и эпидемии.

— Нужно помочь нашему многострадальному народу, находящемуся на грани вымирания, — к нам призыв преподобный был направлен в последнюю очередь, но говорилось нам, чтобы слышали другие, — необходимо помочь, чем возможно. Сидеть

со сложенными руками — значит стать предателями, отступниками от своей нации! Мы тут сыты, а там — горы трупов людей, погибших от голода! Необходимо отправить нашим соотечественникам половину нашего ежедневного пропитания». Мы воскликнули в едином порыве: «Станем собирать с завтрашнего дня!». Таков был наш ответ на благословенный призыв нашего пастыря. Так и поступили. На этот призыв откликнулись все армяне города. В течении трёх месяцев половину нашего суточного рациона отвозили. Но кто этим занимался? К кому оно попадало? Кто знает... Времена были смутные.

Геноцид продолжался. Постепенно спадало наше воодушевление. Прошел слух, что победоносный предводитель Восточного фронта Кязим Карабекир-паша одержал полную победу, и в ближайшие дни войдет со славой в Трабзон. Этот триумф мог стать роковым не только для нашего приюта, но и для армян всего города. Никто не знал, чего ожидать — избиений или пощады. Наш епископ Гарегин был вынужден принять дипломатические меры. Приказал готовиться к праздничному выступлению. Григор должен был нарисовать большой портрет Кямала, а портрет Кязима должен был нарисовать, кажется, Олти. Это был российский армянин, кажется, из Олты, и по этой причине его называли не по имени, а по прозвищу.

Весь Трабзон был на взводе — готовились к торжественной встрече. Греческая община намеревалась представиться своим высшим духовенством, армянская — почти полностью. Турки и лазы встречали Кязим-пашу радостными плясками. На рассвете, в Дзайшапе, где остановились наши повозки, начался переполох — «Паша идёт!». Мы подготовили марш:

Яша-яша, Кязим-паша

Гюнаш байрах вердын биза

Торжество встречи было роскошным. Горделивый Кязим-паша был доволен — он был похож на мешок, водружённый на лошадь, только на мешок с головой. Говорил он, выделяя каждое слово, немного казалось, что даже от его благовоний исходит запах крови. В его свите был отряд из 73 маленьких армян, сменивших веру. Все они были хорошо ухожены, накормлены и одеты, у каждого был клинок. Это была его гордость — он хотел показать, как сеет пантюркизм среди неверных, как он отуречивает, исламизирует гяуров. Что будет решаться за стенами мэрии Трабзона, какая судьба уготована нашему приюту — вот о чём думали наш пастырь и учительский состав. Все находились в напряжённом ожидании. Пастырю удалось уговорить дать разрешение отряду маленьких армян посетить наш приют. Он великодушно разрешил. Нужно было снова готовиться. Как, с какими чувствами должны будем мы принимать их, как мы должны подружиться, смешаться с ними, хвалить подвиги их предводителя, его войско, зная в глубине души, что перед нами дети армян. Нам было больно.

Приём был подробно спланирован и безупречно разработан. Во время подготовки больше всех постарался Григор. Он должен был нарисовать портрет Кямала. Особенно долго он промучился над изображением его стеклянного глаза. У нас были специальные карандаши для рисования теней — с их помощью мягкий черный след карандаша превращался в плавную черную тень. Кямал, как я уже говорил, лицом, ростом напоминал Топал Османа, с той разницей, что Топал Осман был смуглее.

Настал день приёма. Мы выстроились в двух сторон внутри двора школы, держа в руках цветы, портреты Кямала и Кязима и турецкие флаги. Мы встретили их с песней:

Добро пожаловать, товарищи на судьбе

Вы опора великому победителю

Вам к лицу будущая слава

Будем же друзьями —

Да живут мирно в своей стране

Армяне и турки.

Мы сразу смешались с ними, стали знакомиться. Вместе с жизнерадостными беседами мы представляли им тот духовный мир, к которому нас приобщила школа. Тут многие из них просто опешили — а что ещё им оставалось? Наше преимущество было совершенным. В конце мы, смешавшись, сфотографировались все вместе. Эта фотография, кажется, должна была сохраниться у кого-то. На этом наша встреча не закончилась. Нашему руководству удалось углубить наши отношения. Так состоялась ещё одна встреча, носящая название «братской». Мы должны были сыграть в футбол на равнине Боч-Тепеи. Мероприятие было организовано к чести всей общественности города, во славу победоносного полководца Кязима. Весь город поднялся наверх — там было прохладно. Сыграли мы весело, с детским озорством. Получился зрелищный досуг. Что и говорить — победа была наша.

Новости о торжественной встрече войска Кязима распространились за пределы города и даже стали поводом для зависти. Говорили даже, что Кямал строго приказал Кязиму предстать перед ним и повиноваться. Сначала Кязим не хотел подчиниться, но потом поехал. Кажется, он потом погиб по его приказу или даже от его руки.

А для нас времена день за днем мрачнели, становились зловещими.

В Трабзоне больше не появлялись воины каких бы то ни было других государств. Внешний мир сгинул, пропал. Было лето. По улицам гуляли только турки. Их активность росла с каждым днём. На море было спокойно, никакой военной активности. Никаких кораблей не было видно. Однажды нас разбудили звуки зурны и барабанов. На улицах, в садах города ликовали турки.

— Что случилось? Что за добрая весть? — спрашивали мы прохожих.

Сказали, что произошёл коренной перелом в ходе войны. К полудню слышались крики погромче.

— Победа! Долой греков!

А случилось то, что греческое войско было разбито в пух и прах от невиданного натиска со стороны кямалийских войск. Турецкая орда пошла в контрнаступление и дошла до берегов Средиземного и Эгейского моря. Победы греческого войска, дошедшего за три месяца в районы Анкары, были уничтожены за три дня. С этого дня Мустаф Кямал-паша превратился в святыню. Теперь там хозяйствовал кемалийский ужас, погромы, огонь...

— Никакой пощады и никакой жалости к христианам!

— Всем гяурам смерть, уничтожение, изгнание! Всем, до последнего!» — Вот лозунги кемалийской орды.

Снова турки были опьянены запахом крови. Везде царило воодушевление. Больше нельзя было выходить, свободно передвигаться. Если бы узнали, что армянин или грек, сожрали бы на месте. Мы жили в страхе — чем все закончится, придет ли избавление?

На пляже пустовали армянский и греческий камни. Замолчала многоглавая греческая церковь, стоявшая у берега, как и армянская, стоявшая в центре города. Военную добычу крепости, русскую пушку, использовали в случае малейшего подозрительного движения на море.

Не заставило ждать и следующее несчастье — местные греки были вырезаны. Поднималась новая волна Геноцида и перемещений. Уже с открытой наглостью объявляли: «В Турции не будет других наций. Всех уничтожим. Кто не хочет смерти, пусть до следующего дня покинет пределы нашей страны. Турция для турок, здесь останутся только турки».

Было ясно, что отуречивание в самой Турции ничего не даст. До этого местные армяне уже успели скрыться в разных направлениях. Исчезли и греческие соседи. Город избавился и от греков. Исчез и наш сосед — инвалид-грек, окна которого выходили на наш двор. Немного спустя, отобрали у приюта большое удобное здание. Грабители из турецкого городского правления отняли у нас здание с той же лёгкостью, с которой ещё так недавно отобрали найденные нами драгоценности прежнего хозяина особняка. Нас выгнали в покинутую армянами квартиру, что находилась в узеньком переулке в верховьях города, где мы теперь жили, выставив дежурных охранников. Охранников выставляли ночью, чтобы турецкий сброд не напал среди ночи на наш беззащитный переулок.

Хоть школа и продолжала существовать, однако наше будущее и сам факт нашей жизни оставался под сомнением. Сверхзадачей стала новая цель — избежать новой волны Геноцида. Всё висело на волоске. Нашу судьбу должны были решить наместник и его советник. Они совещались дважды, решая, как поступить с нами — перебить или прогнать. Мы жили в ужасе. Утихли споры и несогласия между епископом Гарегинном и преподобным Степлтоном. Они теперь совещались об одном — о том, как спасти сирот. Они вели переговоры с «доброжелательным» руководством, просили нескольких дней на то, чтобы достать европейский или американский корабль и удалиться из Турции. Не было нам пристанища нигде, кроме Греции, где царил полный хаос. Не знаю, на каких условиях, но корабль нам предоставили.

Не было нам пристанища нигде, кроме Греции, где царил полный хаос

Теперь главной заботой пастыря стало спасение приютского архива. Ему удалось аккуратно перевязанными стопками разместить его по сундукам и донести до порта, но шанс вывезти архив был минимальным, потому что были поставлены требования: во-первых, нельзя передавать никаких материальных ценностей; во-вторых, проводится строгий индивидуальный обыск; в-третьих, никаких посторонних — выпускали только по разрешенным, строго проверенным спискам. Никого имущества, инструментов и тому подобного. Встал вопрос о вывозе Мушега-Вазгена. Ему удалось благополучно пройти турецкий контроль благодаря записи, сделанной задним числом.



Итак, мрачным, пасмурным и дождливым днем 1923 года, после того, как нас по одному проверили по спискам, мы, воспитанники приюта «Саак Месропян» вместе с архивом были посажены на большое итальянское судно. Нас отправляли в Грецию под опекуном компании «Нью Ист Чилиф».

А в акватории целая стая турецких чиновников и военных ожидала своей последней возможности пограбить. Наш пастырь, епископ Гарегин, педагогический и обслуживающий персонал и значительная часть примкнувшего к нам местного населения едва спаслись. Что разрешили вывезти, что захватили — не могу сказать. Только знаю, что ни куска золота или иного вида ценностей никому провезти не разрешили — это был самый настоящий грабеж. Знаю ещё, что архив был погружен на судно. Наконец, мы спаслись от этого ада. Корабль вышел в открытое море. До вечера море было спокойно, однако в полночь поднялись волны. Корабль качался, как игрушечный. Я впал в невыносимое состояние, меня тошнило. Удивительно, но очень немногие страдали подобно мне. Молодые моряки, зная, кто у них на корабле, с надеждой на легкую и удачную добычу подходили к нашим девочкам, уже превратившимся в зрелых девушек. Ярче всех мне запомнилась Нвард. Итальянские моряки хотели утащить её в сторону, но она этому воспротивилась. А моряки пытались увести её чуть ли не силой. В нас заговорило чувство собственного достоинства, мы стали следить за тем, чтобы Нвард оставили в покое. Дело дошло до скандала. Моряки, почувствовав наш темперамент, уступили и удалились.

А я не находил себе места, меня всё время тошнило. Наконец, утром следующего дня море успокоилось. О, какое это было красивое зеркало! Мимо Самсона мы проехали ранним утром. Мы находились в краях Знсхул-дага. Рыбы плыли с кораблем наперегонки. Через несколько часов мы вошли в порт Полиса, Венчанного золотом Полиса...

Начали строить перед турецкими постами. Входили всё те же противные турки. Мы себе говорили, что мол, вот она, абсолютная истина. Большая часть переселенцев сошла в Константинополе, чтобы потом двинуться в другие страны. Среди них были и наследники нашего рода — Карапет и Галуст. Сина со своими тремя детьми доехала до Афин. Забрав с собой архив, спустился в Афинах и наш незаменимый, многомудрый и заслуживший безмерное число всяких благ духовный пастырь Гарегин епископ Овсепян. С ним был и неразлучный учитель Гурген. Перед тем, как сойти, они собрали нас, чтобы попрощаться. Для нас это было равнозначно трагедии — мы всё равно что скорбели по потере родителя. Потом я узнал, что во время выгрузки архив не удалось донести до берега. Как это случилось, при каких обстоятельствах — не могу сказать.

Мы проходили по проливу Дарданелл. Была ночь. С обоих берегов светили прожектора охранников. Корабль скользил безмолвно и спокойно. На рассвете мы были уже в греческой части Эгейского моря. Море постепенно мельчало. Ночью мы пришли в порт Пиреи. Здесь простояли ночь. Многие сошли с корабля. Остались только мы — воспитанники нашего приюта.

Наконец, солнечным теплым и ярким утром перед нами открылся берег прекрасной Спарты. Судно медленно шло к берегу. Корабль будет полностью разгружен, мы должны спуститься. Нас удивило здешнее солнце и тепло — люди свободно плавали в море. В Трабзоне купание поздней осенью было бы невозможным.

С такими чувствами ступали мы на новую землю. Это был Лутраки Пелопоннеса. Наши учителя, видимо, сошли в Афинах — мы их больше не видели. Выяснилось, что «Нью Ист

Чилиф» размещает всех привезённых из Турции сирот в греческом городе Лутраки, а оттуда отправляет на остров Корфу. Мы остались в Лутраки.

Лутраки состоял из двух частей. Первая часть представляла собой бедненькую деревню, стоявшую на едва заметном склоне. Вторая — совсем недавно построенную зону отдыха или лечебницу. Располагалась она непосредственно на побережье. Почти все здания были трехэтажными, нигде не было ни дворов, ни садов. Просто чистенький голые ряды зданий, и всё. Были также крепкие деревья с короткими дуплами. Вокруг города стояли оливковые сады, и больше ничего не было. Крупный рогатый скот отсутствовал — полей тоже не было. Особняки были построены вокруг бассейна горячего минерального ключа. Всё это греческое правительство выделило в качестве временного убежища для армянских сирот, которое было предоставлено безо всякой дипломатической грязи или политической выгоды. Как выразить нашу признательность? Мне трудно подобрать слова для этого.

Там нас опекали так же, как и на Родине. Не теряя времени, в первые же недели наша сиротская жизнь забила ключом в этих благоприятных условиях. Что нам было нужно — пристанище с хорошими условиями, необходимое наличие еды и одежды, хорошо организованный внутренний уклад и определенная свобода. Только, конечно, все это было временным. И началась новая жизнь — зажужжала, как улей весной. Педагогическое воспитание было полным, за исключением школьного обучения. Кружки рисования, лепки, пения, спорта, экскурсии... Одним словом, бурная жизнь армянских школьников, самостоятельный мирок приюта, плюс подпольная идейная кузница, борьба «Демократии». Каждое утро все мы должны были выстроиться перед школой на проверку и гимнастику. Питание по режиму и в должных количествах. В общей открытой столовой по очереди. Каждое утро было обязательным вкуснейшее какао. Расписание дня — по группам. Во всем были специалисты-руководители. Не забуду общие дни-вечера кружков пения. Помню господина Левона, этого преданного музыке человека, с каким усердием он готовил нас к исполнению сюиты Комитаса к «Карамурзе», с использованием огромного фрагмента. У каждого из сирот было свое направление, я, в частности, следил за обработкой мрамора. Девочки были заняты изучением рукоделия и домоводства. К нам примешались взрослые сироты, уже окончившие школу. Они следили за развитием мировой философии, за литературными и политическими течениями. Высшее руководство американской миссии следило за этим процессом, для чего использовались находящиеся в подчинении покорные армянские кадры.

Постепенно к старшим присоединялись и мы, те, кто был помладше. В свободное время мы собирались под тенью олив, за деревенькой. Помню, как Согомон, наш брат по идеологии, поднимался на кусок скалы, и объявлял:

— Слушаете ли вы меня, ученики семинарии? Слушайте, чтобы я мог воодушевиться ролью какого-нибудь философа, скажем, Демосфена, Цицерона, Жореса, Фоербаха или Маркса.

И начинал. К тому времени у него были какие-то отрывки из Маркса, Энгельса, Гегеля и других. Потом материал передавался другим. Вазген-Мушег и Согомон были противоположностями, но оба были нашими предводителями, и оба одинаково любимы. Мы уже созрели — не столько идеологически, сколько физически. И однажды один из парней сказал:

— Ребята, время подбирать невест. Наши девушки уже разурмянились и смотрят на нас, это яблоко мы должны съесть, не так ли?

Что поделаешь? Возможности у нас не было — философией семью не прокормишь. «Согомон-дырявый-карман», — говорил Вазген.

Мы узнали, что существует Советская Россия, советская Армения, что... Что это был за советский строй, никто толком не знал. Потом уже дело дошло до имен и тезисов Ленина, Шаумяна, Мясникяна.

Хозяйкой этого многотысячного сиротского мира была американка, миссис... Жаль, не помню имени. Это было чрезмерно жестокая женщина. Была она «крепким орешком». Каждое утро, ещё в сумерках прыгала в холодные волны — освежиться. Она не знала погоды.

Молодежь Лутрака, что и говорить, имела более прочное благосостояние и не могла не соблазниться, глядя на наших девушек, распустившихся, как бутоны. На этой почве наши старшие парни имели столкновения с местными. Положение настолько обострилось, что руководители сторон несколько раз обсудили вопрос правильной организации межнациональных отношений.

При таких накалённых обстоятельствах наша американка допустила один злонамеренный шаг. Одна из наших старших девушек допустила любовное слушание и повела себя по отношению американке по-бунтарски. Американка потребовала публичного наказания. Ей постригли волосы, привязали лентами к столбу, а на грудь прикололи табличку с указанием вины.

Бунт был неминуем. Его дух мгновенно распространился среди наших юношей — возник вопрос чести нации. В ту же ночь пленницу освободили, цепи выбросили в море, а «позорную» табличку выставили в купальне американки. Главные зачинщики убежали и спрятались за ближайшими холмами. Девочки сразу взяли на себя обеспечение их едой. Недовольство среди сирот стало расти — все были возмущены. Благодаря посредничеству армянских учителей через неделю был заключен мир. Парни вернулись, но очень скоро снова покинули приют. Они двинулись в Афины — искать работу.

Американка должна была учесть, что это были те же самые ребята, которые во время наводнения, да еще ночью, самозабвенно кинулись в воду спасать запасы приюта — муку, сахар. Потерь почти не было, в первую очередь, благодаря именно им, этим ребятам. Это был действительно достойный высокой оценки поступок. Конечно, всё добро было нашим, но всё-таки...

Незабвенна экскурсия в Коринф. Взяв дневной запас еды, мы группой в 80 человек двинулись в путь ранним утором, сперва в сторону моста над проливом Корнта, находящегося в южной части Лютрака, а потом и по всему городу. Мы двинулись к предкрепостному маленькому городку Карнта. Здесь в большинстве своем были ухоженные поля и виноградные сады. Там у моего самого близкого друга, Масиса, онемели обе ноги. Он не смог продолжить дорогу. Я остался подле него. К счастью, нам встретился один местный старичок. Выслушал нас и тут же предложил лечение:

— Видите горячий песок на берегу моря? Доберитесь до него. Мальчик мой, — сказал он, обращаясь к Масису, — глубоко закопайтесь в песок, по грудь. Несколько раз закапываясь в горячий песок и выползай из него, пока не почувствуешь облегчение, пока не сможешь снова шагать.

С нами находился ещё один уставший сирота, его мы попросили побыть с Масисом. Ему сразу стало лучше. Я не хотел лишаться удовольствия увидеть античные развалины и крепость Кортноса. Добежал до группы. Перед входом в крепость бил чистый, прозрачный источник. Мы пили из него и шли дальше. Присмотрелись, обнаружили какие-то надписи на турецком. Мы были поражены. Заметив наше замешательство, к нам подошел какой-то грек:

— Видите эти буквы? Это написал турок. Здесь сказано, что это его земля. Мы храним эту надпись, не стираем, чтобы помнить, что может произойти с нашей священной Элладой. Хотя сейчас эта опасность и миновала. Пойдите, полюбуйтесь на славное прошлое нашей Спарты, нашего Коринфоса!

Он выпил воды, омыл лицо и плюнул на турецкую надпись.

Дорогой была главная улица, расположенная на крутом утесе. Впереди, на берегу моря, располагались хорошо ухоженные виноградные сады. Времени у нас было мало. Пообедали мы возле развалин. Вернулись той же дорогой. Масис был уже на ногах, он был совершенно здоров. Под вечер мы вернулись в Лутраки.

Той же весной сирот, находящихся в Лутраки, стали потихоньку рассеивать, отправлять в другие районы. Мы попали на остров Сирос, остальные — на знаменитый остров Корфу. Сирос был маленький, бедный и скромный городок. За маленьким холмом близ Сироса шло строительство — сироты строили себе пристанище, гахтавайр. Поднималось огромное здание. Вокруг стояли временки рабочих. Мы разместились во временках. Нас тут же распределили по специальностям — рабочие, прислужники, надзиратели, охранники, работники кухни, санитары, уборщики. Я попал в сторожа.

Кипела строительная работа. Надо было донести на спине строительные камни от находящейся на возвышении каменоломни до самой стройки. Существовал норматив. Загружали по силам, но «конвейер» должен был работать без перебоев, никто не имел права выпадать из звена. Через каждые две-три сотни метров стояли надзиратели, которые приговаривали «для себя строите, айда!» Сиротский конвейер работал до крика «шабаш», или до звонка, возвещающего конец работы. Выяснилось, что это неправда, строили мы не для себя... Климат был тёплый, влажный. Мы не имели права бросить лагерь и уйти в город. Повзрослевшие сироты нарушали это правило, но уличённых наказывали.

В городе кипели страсти — представителей мужского пола было очень мало. Говорили, что из-за огромного числа военных потерь девушки остались без женихов. И в самом деле — проходишь по улице, а женщины отовсюду кокетничают, стреляют глазками, подают знаки из окон и дверей, зовут.

Дома были двухэтажные, плотно стояли рядом. У берега на главной площади города посередине стоял мраморный памятник какому-то герою, окруженный цветником, парк с площадками для пения и танцев. Вечером, когда сироты были уже не в состоянии выйти (да и не разрешалось), начиналась бурная жизнь ночного города. Движение строго ограничивалось. Тем не менее, иногда нам удавалось в ней поучаствовать.

Днем, когда мужей не было дома, старшие сироты, которые уже повзрослели и нуждались в половой жизни, чувствовали себя свободнее — они отправлялись в уже знакомые дома. Что сказать, и сироты были красивы, и женщины, подзывающие «джиги-джиги», были ухоженные, со вкусом, доступные.

Не знаю, как работникам, а нам платы не давали, хотя едой и одеждой мы были довольны. Случалось, что мы дежурили у входа днем, хотя основная наша работа была ночной, общим лагерным дежурством. Территория лагеря была разделена на несколько сторожевых зон. Мой участок был юго-западный. В свободное время я читал или «марал бумагу».

Должен сказать, что я привез из Трабзона ту скрипку, которую наш русский учитель отдал мне как лучшему ученику. Возможности заниматься у меня никогда не было, но со скрипкой я не расставался. Однажды после основного дежурства я повесил её во времянке. Мой друг, забавляясь, случайно уронил её, и скрипка разбилась. Ни он, ни я не смогли купить новую.

Начальник охраны был очень глубокий и знающий человек, я бы сказал, интеллигент. По ночам он приходил ко мне и обучал астрономии, рассказывал обо всех созвездиях и звёздах.

Однажды мой приятель, тот самый, что разбил скрипку, потащил меня в город. На мои возражения у него был один ответ:

— Ты только глянь...

Я согласился, мы пошли. На первой же улице нас подозвали: «Джиги-джиги...» Мой друг смело открыл дверь, и, таща меня за собой, вошёл внутрь. Поднялся по блестящим лестницам наверх, где нас ждали две-три девушки. Он поднялся и обнял одну из них, я же бросился наутек, когда самая младшая из девушек кинулась ко мне с раскинутыми руками, пытаясь заключить в свои объятия. Я был ещё слишком мал, и интимная потребность не терзала меня так, как Кербоба. Я со спокойным сердцем возвратился в наше жилище. А однажды вечером с тем же приятелем мы вышли на прогулку. Освещенная площадь, музыка, песни и пляски, мороженое, сладости, другие радости... Но у нас не было денег, и все то было нам недоступно. Мы оказались в неприятном положении.

Осенью мы стали свидетелями общенародной демонстрации, которая проходила под восклицания «Зите Фластирас!», музыку, и веселье. Фластирас был тем самым полководцем, которому удалось объединением всей силы греческой армии остановить наступление кемалийских орд. Он создал могучую преграду на пути из Андианаполиса в Салоники и нанёс там контрудар. Мы тоже приняли участие в шествии. Из всех сил кричали: «Смерть туркам!», «на Измир!», «на Киликию!».

Это было, видимо, в 1924–1925 годах. Я попал в группу, которую отправляли в Македонию. Во время сильного шторма прошли мы мимо города Салоники и направились к северу. Чуть позже мы проплыли мимо похороненных на вершинах скал известных отшельников, мимо келий. Подошли к проливу Халкиты. Ночью были уже вблизи Гавалы. Ранним утром дошли до самой Гавалы и начали разгрузку корабля. Вышли на берег. Это был славный, спокойный город с небольшим портом, самое сердце греческой Македонии, с короткими и длинными булыжными улицами, с двухэтажными маленькими домами и магазинчиками. Улица была свободна от сваленных друг на друга строений. Были только немногочисленные склады и учреждения, занимавшие прибрежную зону.

Мы стояли в ожидании распоряжений, как вдруг послышался шум. Люди собрались вокруг какого-то человека с ослом. Я тоже побежал. Приближаясь, услышал:

— Эй, бейте, это турок!

Человек просил, умолял не бить его, говорил:

— Я местный, я мирный крестьянин, у меня много детей.

А наши били и кричали:

— А где наши отцы? Наши отцы не были многодетными? Где наши села? Скажи, турок!

Я побежал, пролез между людьми, чтобы помешать: «Не бейте, жалко! Не бейте его, он же один, он бедный крестьянин!» Не знаю, почему я пожалел его, даже плакал. Я вспомнил моего деда, который говорил: «Будь человеком, внучок, не становись зверем». Вспомнил деда Исмаила. Этого человека освободили прибежавшие полисмены из городской полиции.

Потеплело. Нам раздали еду и велели отправляться в путь, на Запад, в сторону города Трама. Эту область отделяет от полей Македонии низенький засушливый горный хребет. Этот хребет мы прошли на следующее утро, в прохладные часы. Наши ряды шириной в одного человека так вытянулись в длину, что не было видно ни конца, ни начала. Солнце поднялось, превратившись в раскаленный шар, было невыносимо жарко, и мы были разморены от ходьбы. Я шагал в первых рядах, когда неожиданно получил сильный удар и упал. По мне прошел фургон с лошадьми. Все произошло очень быстро. Меня не задела ни подковы, ни колеса фургона. Я вышел из-под фургона целым и невредимым. Я встал, поднялся на ноги, сам себя прощупал — в самом деле, я был невредим, только правая нога немного болела. Пока я приходил в себя, мои приятели напали на кучера и избили его. Я сразу крикнул:

— Отпустите его, со мной ничего не случилось.

— Ты, собачий сын, ты что, с закрытыми глазами едешь? — Не унимались мои друзья. — Вся дорога перед тобой открыта, зачем на сироту наехал?

— Не заметил, не заметил, лошадь потянула, пожалуйста, не бейте, умоляю, — кричал он.

— Отпустите этого негодяя, со мной все в порядке.

Отпустили. Поздним вечером мы дошли до Эдирнешика.

Утром мы увидели несколько больших зданий, видимо, богаделен. Там нас и разместили. Худо-бедно устроились на выстроенных в ряд железных кроватях. Получили новую одежду. Хорошо питались. Здесь мы впервые увидели кукольное представление «Карагез». Чтобы показать нам, сиротам, этот спектакль, прибыла специальная группа. На пути из Гавалы я впервые заметил мальчика с тростью, у которого в руках были книги. Раньше я его не видел. У него была сломана нога. Узнал, что зовут его Амбарцум. Я попросил его дать и мне почитать. Я начал брать у него книги, а потом, конечно, стал доставать их и из других мест. Мы читали какие-то рукописные листки. Вскоре мы узнали, что нас как совершеннолетних и работоспособных запишут в какие-то деревни. Маленьких оставляют. Постепенно на приют стали перемещать в богадельню Чабалча. А однажды нас начали выбирать, собирать в группы, чтобы отправить по деревням. Мы группой в тринадцать человек попали в деревню Ксанта близ трассы на Трама-Гакалу. При нас был специальный представитель. Мы прибыли на место ранним утром, в час,

когда основная часть крестьян ещё не покинула села. Нас выстроили. Весть о нашем прибытии охватила всю деревню. Крестьяне спешили прийти, чтобы выбрать себе пару рабочих рук. У них был самый разгар летних работ. Условие было такое — мы должны работать за кусок хлеба, но крестьяне обязуются хорошо с нами обращаться, и одевать нас. Больше ничего. Мы не имели права самовольно покидать дом «чорбаши» (староста, зажиточный крестьянин — Прим. ред.) и должны были поддерживать связь с руководством приюта, которое должно было прибыть с проверками — но этого не должно было случиться и не случилось.

Выбирая, обращали внимание не только на физические данные, но и на внешний вид. Кто мог знать, какие были истинные намерения у того или иного крестьянина? Один говорил:

— Дайте мне вот этого.

Другой:

— Хочу взять того...

А один указал на меня. Представитель меня сдал. Я попал к хорошо сложенному, чуть выше среднего роста человеку. Он повёл меня в свой дом, находившийся чуть повыше деревенской церкви. Домик был маленький, двухкомнатный, без мебели, с маленьким двориком, имевшим легкий наклон. У хозяина была беременная жена. В этом доме я не увидел ни благожелательности, ни смеха. Царила тишина. Эта тишина была зловещей, такой, что даже мухи, казалось, не смеют её нарушить. В их комнате был срезанный угол, находившийся на ступеньку ниже остального пространства. Там были свалены в кучу какие-то тряпки. Это была моя постель. Женщина кормила меня, ела сама и ложилась. Ночью, часа в 3–4 она будила меня:

— Эргато, улан!

Я вскакивал. Она отворачивалась, и я быстро одевался. Мне давали кофе с куском хлеба. После еды мы садились на лошадей и втроем отправлялись на табачное поле. Это было довольно далеко. Ехали мы затемно, у каждого в руках был фонарь. Мужчина потихоньку обучал меня, как нужно обращаться с табаком. Я не жалел сил, но работал без навыков. Мы отбирали собранный урожай, аккуратно складывали его в парные корзины и отправлялись домой. Собранное нужно было в тот же день выстраивать. Кроме того, нужно было сделать домашние дела — подковать лошадей, напоить, накормить. Должен сказать, что Эфим не злоупотреблял мной, я скорее был его помощником, так как он в первую очередь взваливал всё на себя. Жена была недовольна, но мы были довольны друг другом, особенно Эфим.

Чуть позже он отвез меня в город. Было воскресенье. Трама была очень красивым поселком, расположенным среди живописных горных склонов. Мы заходили в маленькие земляные магазины. В одном из таких магазинов, в магазине тканей, принадлежавшем его знакомому, Эфим меня спросил:

— Который тебе нравится? И что ты хочешь, ткань, или готовый костюм? Какой цвет тебе нравится? Не стесняйся, покажи, что тебе нравится.

— Спасибо, дядя Эфим, — я посмотрел с теплотой на этого настоящего человека и погладил его по руке. Он понял, что я очень стесняюсь, и сам указал продавцу.

— Дай вот этот костюм.

Купил. В тот же день мы вернулись домой. Он был по-настоящему хорошим человеком, сыном хороших людей.

Как я уже говорил, в этой деревне жили тринадцать сирот. Деревня была довольно большой, располагалась возле трассы. В полях рос табак — с нежными листьями, хорошего качества. Доходы села зависели от него. Крестьяне готовили сырьё и продавали его агентам американских табачных фирм. Видимо, это было очень выгодно, потому что жили крестьяне довольно хорошо. За деревней, по ту сторону от трассы, довольно далеко от её левого крыла, из-под большого плоского камня вытекал прохладный сильный ручей с очень вкусной водой. Мы приходили туда каждое воскресенье. Стирали, купались, ели хлеб — буханку с сахарным песком, и очень часто — большие арбузы. В деревне Ксанта нас было тринадцать братьев — армянских сирот из ближнего приюта. Несмотря на то, что жили мы в разных домах, расположенных далеко друг от друга, в свободные часы мы всё равно собирались все вместе. У нас были свои спортивные команды, в том числе футбольная. Не помню, где мы достали мяч. Играли в центре села. Никто не смел бросить на нас косога взгляда или помешать — мы набрасывались всей командой, причем весьма горячо.

Быт села был прогрессивным — в часы работ они усердно работали, в часы досуга от души гуляли, пели, плясали, шутили. По вечерам все выходили в чистых опрятных одеждах на вечернюю прогулку. Климат был мягкий.

В центре деревни стояла большая церковь. Мои домашние, как и всё село, каждое воскресенье благопристойно шли в храм на службу. Ничего не ели до конца службы. Муж и жена неуклонно соблюдали этот порядок. Несколько раз мне сделали замечание, что я не хожу в церковь, хоть это и было им выгодно — я не только присматривал за домом, но и делал кое-какие работы. Самым тяжёлым было то, что мне приходилось оставаться голодным, пока они не вернутся. Во мне стало расти недовольство. Я сам себя спрашивал: «Во имя чего я должен ждать их?» В эти дни, не знаю почему, женщина стала стесняться меня.

Однажды утром, когда они, как назло, ещё и задержались, я не выдержал, и, только они вошли, сказал:

— С этого дня давайте мне мой завтрак перед уходом в свою церковь.

— Не можешь потерпеть? — спросила женщина, — грех до молитвы. Ходи с нами.

— А почему бы тебе самому не позавтракать? — По голосу Эфима было ясно, что он чувствует себя виноватым.

— Какая церковь? Какой Бог? Он забыл о нас! Где он был, когда мы нуждались в защите? Давайте мне лучше мой завтрак, а сами идите к своему Богу.

Им нечего было ответить. А что сказать сироте с сожженным от горя сердцем?

Начиная со следующего воскресенья моё требование стали выполнять.

Я был уже неплохой рабочей силой. Почувствовал, что могу самостоятельно прокормить себя. Я планировал начать самостоятельную жизнь. А однажды я пошёл на церковный



двор и больше не вернулся и весточки о себе не послал. На рассвете я кричал: «Эрзатос!». «Эдо име», — отвечали мне, и я сразу брался за дело. Так я стал вольным рабочим — сборщиком табака. Вместе со мной такой же шаг предприняли двое сирот. Мы знали, что один из наших парней находится в очень плохом состоянии. Сам он часто болел, а тут ещё чорбаши не дает ему прохода ни днём, ни ночью. Мы собрались, и, можно сказать, захватили этот дом, потребовали счета. Хозяева испугались, обещали изменить отношение. Только после этого мы ушли. Но он серьёзно заболел. Мы отвезли его в приют в Чаталдже. Нас поблагодарили, а его приняли.

Я проработал у целого ряда чорбаши. Длилось это недолго — у кого-то неделю, у кого-то — несколько дней. Пришло известие, что меня зовет Эфим, но я не пошёл. В конце концов, мне стали передавать его просьбу:

— Пусть зайдет хотя бы за своей постелью, за своим костюмом. Но я не пошёл. Я не был недоволен им, но предпочитал жить самостоятельно. А однажды чорбаши нашего больного товарища заявил, будто я настраиваю ребят против своих хозяев.

В те дни мы, свободные рабочие, решили двинуться на заработки в Гавалу. Пошли пешком. В дороге на меня напала лихорадка, начался жар. Меня кое-как донесли до ручья, находившегося на пути от Ксанты к Гавале. Там и деревья были. Парни думали, как бы меня доставить в Гавалу. Иногда попадались идущие в те края фургоны, но они, как правило, не останавливались. После долгих уговоров, наконец, один из фургонщиков согласился, сжалился. Я сел, но остальные должны были идти пешком. Под вечер мы добрались до города. В американскую компанию я явился больным. Несмотря на то, что мне могли отказать за то, что я самовольно ушёл от хозяина, меня, как больного без пристанища, отправили в больницу.

На следующий же день я попытался выписаться из больницы. Не хотелось быть обузой и ещё больше не хотелось объяснять, почему я ушёл от чорбаши. Выписался, но был ещё слаб, не успел вылечиться.

Пошёл в сторону Гавалы. Прошёл, сколько смог, то шёл, то сидел. Устал. Лёг и заснул. Проснулся. Который час ночи? Где я нахожусь — не знаю. Снова сел. Проснулся, открыл глаза и понял, что мне уже лучше. У меня было с собой немного еды, взятой из больницы. Я поел, попил из ручья и пошёл дальше.

На следующее утро я нашёл ребят. Через несколько дней я полностью выздоровел, мы стали думать, куда идти. Решили пойти в стороны деревень близ Трамы, найти хорошую работу и начать работать, жить.

Через несколько дней мы уже ходили от села к селу. Нас расспрашивали и начинали обсуждать.

— Они работы просят. Интересно, кому работники нужны?

— А кто вы?

— Армянские сироты, работу ищем.

— Нет, жаль, но в нашем селе нет работы.

В следующей деревне тоже почти такая же беседа. У нас было немного денег. Мы предлагали продать нам еду, но и это не всегда удавалось. В нескольких местах нам без денег дали еды. Едва дошли до Трамы, но и там работы не было. Пошли в Серез. Этот маленький городок был ещё дальше Гавалы. Тем не менее, мы пошли. Сколько мы шли — одному Богу известно. Везде узнавали армянских сирот, «арман орфан», узнавали по чертам горя, страдания, по дымку жажды мести, клубящемуся в наших глазах. Наверное, поэтому нас несколько раз взяли в фургон. Вечером мы были в Серезе.

Надо сказать, что вся Македония, как и вся Греция, была полна сирот. Девочек-сироток уже начали распределять по местным семьям. Этот была другая разновидность ятагана — изгоняли плод настоящего и будущего армянской нации.

Вскоре я узнал, что матушка Сина из нашего рода поселилась в Афинах. Узнал также, что она ищет меня. Я предложил пойти в Афины. Один из моих друзей согласился. Преодолели и этот отрезок мучительного пути. В Афины пришли затемно. Кое-как заночевали в вагонах, на железнодорожной станции, расположенной в северо-западной части города. Утром мы первым делом узнали, где находится армянская церковь. Кто мы, откуда — никого не интересовало, мы никому не были нужны.

Стали расспрашивать. «Мы армянские сироты. К кому нам обратиться?», «Мы из Македонии, куда обращаться?», «У нас есть родные, но мы не знаем, где они, что нам делать?». Дошли до церкви. Здесь нас спросили:

— В каком пристанище беженцев («гахтакаян») ваши родственники, не знаете?

— Что такое гахтакаян?

— Ну, в Гокинии, или в Фиксе, в Синкарии?

— Не знаю, — говорю, — только имя знаю, фамилию — Аристакесян Сина. Она невестка нашего рода. У нее дети, одну зовут Югабер...

— А где их гахтакаян?

— Не знаю, — сказал я, уже отчаявшись.

— Геворг, поищи в списках, — беловолосый старик водит пальцем по спискам.

— Где ты их найдёшь, брат? Так ничего не выйдет, нужно знать место пристанища.

В этот миг кто-то вошёл спросить, нет ли для него письма. Уставший от просмотра списков Геворг посмотрел на вошедшего.

— Ага, я зафиксировал, цо, ты не знаешь женщину по имени Аристакесян Сина, дочку зовут Югабер?

— Да, знаю, живёт недалеко от нас, бедная женщина.

Мой вопрос был решён. Обращаясь к моему приятелю, беловолосый спросил:

— А у тебя кто есть?

— У меня никого нет, я не знаю, ответил мой друг.

— Откуда ты?

— Из Кесарии.

— В Синкутии есть люди из Себастии, не так ли?

— И из Малатии есть, парон Геренц, — оживился Геворг.

— Ну вот и отправьте туда, там что-нибудь придумают. Мы можем сейчас достать одежды-мадежды, обуви? Оденем сирот перед отправкой.

Достались. Мы оделись и расстались навсегда. Это был уже который по счёту из моих товарищей, с которым я сближался, к которому привыкал в течении злых игр судьбы, и по капризу той же судьбы был вынужден расстаться.

Мой проводник не ошибся, после Трабзона я снова нашел Сину. Её сын Овсеп заметно вырос. Он уже работал чистильщиком обуви. Он достал корзину, щётки и пустился ходить по улицам, искать клиентов. Рядом с нашим жилищем располагалось жилище молодой семьи Асатура, парня из нашего приюта. Он взял в жёны девушку из приюта по имени Зепюр.

Я тоже сразу бросился на поиски работы. Единственной доступной была для меня работа чернорабочего, и та только на строительных площадках новых особняков. Я искал работу недалеко от дома, прямо напротив нас, на склоне, ведущем к Акрополю, в то время это было еще пустынное место. Весь день ходил в поисках, но меня не брали, я был слишком молод.

— Ты не можешь, уходи, — говорили мне, выпроваживая вон.

Иногда получалось найти работу с ежедневной или еженедельной оплатой. Вскоре я научился навыкам рабочего-строителя, вошёл в ритм, но полагаться на это было ещё нельзя. Решил раздобыть «хонджу» — доску торговца, которая крепится на груди, положить на неё мелкие предметы и ходить по улицам, продавать. И это не вышло. Начались трудные дни. Была зима. А однажды пришла жена нашего парона Аарона, Сиран, и сказала:

— Сина, приехал из Америки человек, который хочет жениться, давайте ему покажем вашу Югабер... Если понравится, он увезёт её, хоть она будет счастлива. Конечно, она по возрасту уже не очень подходит, но выглядит моложе.

Но до этого появился ещё один человек, отправляющийся в Америку, который раньше работал в резиденции. Он увез с собой Югабер, а перед тем повёл меня к пастырю армян Афин. Там он сказал главе прихода, что едет в Америку, и, показав меня, попросил:

— Если вам понравится этот грамотный юноша, святейший, возьмите его на работу вместо меня, пусть станет почтальоном церкви. Святейший задал мне несколько вопросов и принял меня на работу. Так я заменил нашего зятя и стал почтальоном.

Это была новая страница в моей жизни. Каждый месяц я приносил домой зарплату. Мы жили одной семьей. Меня начала интересовать политическая и культурная жизнь. Мы,

юноши из Трабзона, объединились, и первым делом создали художественный клуб «Кнаръ» («Ли́ра»). Установили правила и программы. Закипела жизнь армянской общины. Входила в русло и организационная жизнь общины. Активно действовали партии. В первых рядах были гнчакисты и дашнакцаканы. Мы объединились вокруг нашей газеты «Ахтанак» («Победа»), у которой был редактор из Зейтуна и автор ряда очерков Гаврош. Издательство постоянно влезало в долги. Гаврош попал в плен в Измире, в дни трагедии греческой армии. Его не убили, потому что он сумел приготовить отличную водку. Во время обмена пленными он хитроумным способом сумел освободиться и попасть в Афины.

«Ахтанак» поддерживала Советскую Армению, сочувствовала ХОКу (Комитет помощи Армении, создан в сентябре 1921 года в Ереване под председательством О. Туманяна с целью оказания помощи голодающему населению и сплочения Спюрка вокруг Советской Армении. — Прим. ред.) и международному движению рабочих. На страницах нашей газеты часто публиковались революционно-рабочие стихотворения Акопа Акопяна. Партия была опорой революционного коммунистического движения и потому распространялась с большой осторожностью, но была самой популярной в общине.

Как я уже сказал, я работал в управлении общины почтальоном. Мой ежедневный путь лежал мимо Акрополя, мимо южного склона его гладкого и открытого холма. Потом я поворачивал к Фиксу — ровной сухой долине. Дорога занимала чуть больше часа. Я снимал и вешал объявления, списки, письма на стену армянской церкви, место, которое было самым надёжным для местных армян. Свою работу я выполнял со всей преданностью. Не жалел сил, старался помочь каждому. Однажды на двор церкви вошел печальный новоприбывший молодой парень. Я подошёл к нему.

— Откуда ты пришёл, чего ищешь, говори, не стесняйся.

— Это ведь армянская церковь, не так ли?

— Да, здесь же управление беженцев, это — дверь в контору. Посмотреть в списке писем? Ты ждёшь письма?

— Нет, у меня никого нет. Меня бросили сюда, в Грецию, и теперь я не знаю, что мне делать.

— Пойдем, пойдем внутрь, расскажи этим паронам.

Чуть позже он рассказывал: «Меня зовут Раф. Меня депортировали из Америки». Он был хорошим изобретателем, но местные чиновники преследовали его и, воспользовавшись беспомощностью чужестранца, присвоили его изобретение. «У меня взяли рукописи и больше не вернули. Чтобы избавиться от моих требований, меня объявили сумасшедшим и заперли в психиатрической лечебнице-тюрьме. Выйдя оттуда, я снова пошёл на место своей старой работы, стал требовать свои рукописи. Деньги у меня тогда были, я не нуждался. Я хранил деньги в южноамериканском аргентинском банке. Мне дали их забрать. Посадили на корабль и депортировали. Я не знал, куда идет судно, где я окажусь. Оказался в Греции. Меня высадили в Пирее. Я пришёл сюда, потому что у меня никого нет, ни родственников, ни знакомых».

После недолгих расспросов меня вызвали, мол, отведи этого молодого человека с собой в Фикс. Я с радостью подружился с ним и отвел в Фикс. По дороге мы сблизились и душевно. Дошли на место затемно. Я собрал своих друзей, и мы окружили нашего

нового брата — Рафа. Выяснилось, что Раф не любит обычного досуга, он всё время молчал. Мы принесли поест и паласы, чтобы лечь. Он стал жаловаться, почему мы из-за него утруждаем себя. На следующий день он уделил нам меньше внимания. Объяснил, что ему надо всё время быть одному, чтобы думать над новыми изобретениями.

Вскоре удалось устроить его на работу. Он работал в недавно открывшейся автомастерской, расположенной недалеко от Фикса. Посредником в этом деле был наш друг Арам Кайцак. Не прошло и недели, как Раф применил в работе свой талант изобретателя. Зачем ему наклоняться над осью, одновременно поддерживая её? Он сделал устройство, высоко закрепив которое, смог работать, спокойно стоя на своём месте. Из отходов он мастерил писчие принадлежности. Единственным человеком, которому он уделял внимание, и с которым хотел общаться, был я. В столовую он ходил с собственными вилкой и ложкой, никогда не садился, ел стоя. На мой наивный вопрос, почему он не едет применять свои знания в Армению, он ответил:

— Всё равно я должен вернуться в Северную Америку. Вот страна технических усовершенствований. Я всего добьюсь, и только после этого уеду на свою Родину, работать ей на славу. Здесь я долго не пробуду. Я послал свои бумаги в банк, получу свои деньги и уеду в Южную Америку, оттуда будет легче перейти в Соединенные Штаты. Я должен добиться своей цели. В тюрьме, в которую меня забросили, было много изобретателей, все они были иностранцы. Особенно много было евреев. Их изобретения были присвоены. Это был ад умных людей. Но скажу тебе, что скоро я уеду. Я не могу тебя сейчас с собой забрать. Сам уеду, дойду до места и обязательно заберу тебя. Ты должен идти вперёд, здесь ты пропадешь.

И он уехал... Уехал и уехал. Кто знает, что случилось с этим странным армянином? Если бы всё сложилось благополучно, он бы не забыл о данном мне обещании, в этом я уверен.

По долгу службы я разносил депеши в различные учреждения. Встречался с очень богатыми людьми, чиновниками высокого ранга, великими деятелями, входил в их дома, дивился на их быт... Начал читать Маркса, Энгельса. Книги доставались с трудом. Я стремился к справедливости и к борьбе за неё.

Здесь я столкнулся с чем-то странным — наши коммунистические лидеры стали утверждать, что, если ты коммунист, то должен забыть обо всём национальном, поставить крест на своих корнях. Ты должен забыть потери своего прошлого, забыть жертвы своего прошлого. Я, будучи не согласен с этой позицией, присоединился к ХОК-у, стал гнчакистом. Рамкаваров я всерьёз не воспринимал, а дашнакцаканов считал бандитами. Помню выступление главы гнчакистов в Фирсе. «...Однако, коммунисты обязаны принять и понять с честностью марксизма странную судьбу нашего народа. Для нас свято зная революции, и эту красную святыню мы должны донести вместе с судом мирового пролетариата, чтобы она разведалась над Ваном и Каринем, над нашими возродившимися городами, прошедшими сквозь ужас Геноцида, над освобожденными землями». Выступление наивного, обманутого человека.

Я заплодировал вместе со всеми, воодушевился. Да, захватили, присвоили... Остаётся восстановить справедливость, и народ построит справедливое коммунистическое будущее. Разве Маркс стал бы возражать против этого?

Была осень. Предстояли общинные выборы. Между партиями развернулась нешуточная борьба: казалось, решается вопрос жизни и смерти. С самого начала было ясно, что

дашнакцаканы понесут поражение, будут разгромлены, особенно в Фиксе. Дашнакцаканы, казалось проснулись после глубокого сна — как это? Мы, центральная партия, и вдруг должны понести поражение? Они задействовали «тяжелую артиллерию». Из центра в общины направлялись группы, которые устраивали против соперников провокации, нападения. Каро Сасун действовал в Афинах; в Салониках наводила ужас группа Самвела. Дело доходило до использования ножей и пистолетов.

Шло центральное собрание. Избирали главу общины и правление. Снаружи стояла группа дашнакцаканов, ждали приказа. Они ворвались, сломали люстру, выстрелили в Сукиасяна, отрезали епископу Маглумяну бороду, ударили Левона дубинкой по голове. Полиции не было. Решили следующее заседание провести в отеле, чтобы хоть этим пресечь позорные действия дашнакцаканов. Опять ничего не вышло. Правление должно было действовать по указу дашнакцаканов, подчиняться им.

Полководец Торгом и Арам Кайцак были представителями греческого офицерства, героями. Правительство назначило им пожизненную пенсию. Полководец Торгом был монетиком («вестником») исторической миссии на Востоке: «В Карине учреждаем новое, независимое правительство!» Но не спали Тифлис, меньшевики, предатели. Торгома нейтрализовали. Как и Андранику, Торгому пришлось уехать. Он был опытным стратегом, прекрасно знал французский. Каждое его слово было, казалось, стратегическим указом: «Вы сбиваете с толку воинский дух свободолюбивого народа, что не знает страха перед лицом врага, не умеет склонять голову перед кровавым Восохом („врагом“)».

Он спорил, кажется, со всеми:

— Я не найду общего языка с вашими бюро.

И в самом деле, он прекратил общение с партийными бюро. Он появлялся так же неожиданно, как и исчезал. Был он до крайности отточен, всегда ходил в военной форме, и, тем не менее, это был очень несчастный и очень одинокий герой. Его внешность постепенно сникала и менялась.

В эти дни начались политические потрясения и в самой Греции. Началось настоящее побоище. Кипел процесс смены властей. То власти были монархические — «Васильевские», то республиканские, то — снова монархические. Битвы за спасение родины, кровопролития. Король заранее скрылся под предлогом заграничной поездки. Я с интересом наблюдал за уличными столкновениями в Афинах. Постепенно власть перешла в руки республиканцев. Оставалось занять важные стратегические пункты и королевский дворец.

Шёл 1926 год. Постепенно к городу присоединялась колония Фикса. Жили общими политическими и экономическими интересами. Те, кто собирался уехать в ту или иную страну — уезжали. Особенно часто уезжали в Южную Америку, в Аргентину. Остальные заботились об обеспечении постоянного поселения. В Фиксе, Готинии и других колониях стали развиваться торговые ряды, начали открываться магазины, киоски, столовые, мастерские. Наш Масис тоже открыл киоск, Ерванд со своим братом Норайром основали магазин. Асатур построил себе домик для рабочих. Предприимчивый и опытный водитель Айк облицевал свой дом, покрасил его в белый цвет. Оник уехал в Америку. Гевонд и его мать нашли себе постоянную работу. Аарон открыл столовую. Нашей опереточной группе «Аршин мал-алан» удалось попасть в Южную Америку. Ещё до этого были разговоры о том, что должно начаться возвращение в Армению. В Афины прибыл Дануш Шахвердян. Я узнал об этом от Тагвора, который работал в советском консульстве

и поддерживал связь с нами, как с людьми, хорошо знакомыми с жизнью общины. В те дни Дануша Шахвердяна принимали в редакции газеты «Нор ор» («Новый день»). Этот высокий симпатичный человек подошёл к нам, стал рассказывать о воинах Красной Армии. Он представлял Красную Армию высокочеловеческой, освободительной армией. Было ясно, что он искал поддержки в этой чужой стране, хотя бы мизерной. Мы сразу же стали этой самой поддержкой. Мы предложили ему выступить с лекцией, и рассказать обо всём с позиции очевидца об этом новом мире. Однако, дашнаки в это время не спали, и они раскрыли свою лапу, и дело дошло до внутренних органов.

Начали устраивать библиотеки при клубах. В одном из этих клубов мы услышали о покинутом, больном фидаине (партизаны). Я взял своего друга, и мы вместе пошли в этот клуб дашнаков, не пользовавшийся великой славой. В глубоком углу сидел слепец, закутанный в тряпки, с невидящими глазами, устремлёнными к двери. Почувствовал, что мы подошли к нему.

— Я плохо вижу, вы армяне?

— Да, смелый герой, армянский фидаи. Что с тобой случилось?

— Я при смерти, дни мои сочтены. Я меня туберкулёз, легких уже не осталось, дышать тяжело. Хотя бы кто воды подал... Я был гайдуком, оставил семью, дом, ушёл в армянские горы. Мы защищали села, мы ревели как львы в Сасуне, Васпуракане, Зейтуне... Для кого из командиров я не был светом очей? Разве дрогнула моя рука над головами палачей моего народа? Я теперь — кем я стал, до чего докатился?

Мы принесли ему мацуна, молока, хлеба, поставили рядом с ним воду. Хотели дать его одежду на стирку, но никто не взялся. Так он и остался. Вскоре он угас, дашнаки швырнули его в какую-то яму, и дело с концом.

В Афинах жил и маленький Дживаник из нашего Трабзонского приюта. Мы посоветовались и решили, что нужно обучиться какому-нибудь ремеслу и жить самостоятельно. Я подал заявление и ушёл из управления общины.

Мы с Дживаником пустились по улицам. Программа у нас была следующая — поработать несколько месяцев бесплатно, а потом начать требовать денег в зависимости от принесённой нами пользы. В Афинах было очень распространена работа с мрамором. Войдя в это дело, можно было приобщиться к скульптуре. Сколько было открытых мастерских, мы подходили, и... Получали отказ. Перешли к более конкретным требованиям — что бы ни было, лишь бы это было ремесло. Шло время, а наше дело не подвигалось. Дживаника знакомые устроили чернорабочим, я остался без дела. У меня было много знакомых среди высшего класса, меня знали. Был я знаком и с своим соотечественником Дарбиняна из Баберда — известным окулистом. Он был человеком необщительным. Принадлежал к высшей касте рамкаваров. Я был хорошо знаком с трагическим укладом их внутренней жизни. Он был единственным кормильцем своей работоспособной жены, мягкотелого сына и дочери. Конечно, в деньгах он не нуждался, но мысли, связанные с будущим его детей, не оставляли его в покое.

Я подошел к нему с просьбой найти мне любую работу, какую бы то ни было.

— Э, Дживан-джан, теперь все очень трудно. Ты хочешь работы, чтобы достойно зарабатывать и при этом честно жить, но это почти невозможно. Хочешь обучиться ремеслу?

— Да-да, только ремеслу, чтобы я мог прокормить себя.

— В чужом океане мы как капля... Что нам делать? Ты прав, надо жить. Поскольку ты хочешь ремеслу обучиться... Хотел бы ты быть зубным техником?

— О, если это возможно...

— За пределами Афин, на даче живет мой знакомый архитектор Ваан. Его брат — стоматолог-зуботехник. Я дам тебе записку, передашь.

Я немного порадовался, взял записку и пошёл. Вскоре дошел до этой дачи. Подождал на лестнице, пока он не вышел. Подошёл, передал ему записку. Он расспросил меня. Я сразу почувствовал, как он любит свой народ.

— Жалко, что и следующее поколение обречено вот так пропасть. Чем тебе помочь? Мой брат вовсе не хозяин своего дела, он извращенец, вун и паразит. Я ему скажу, но что тут мало пользы — ты только зря потеряешь время.

— Я смогу содержать себя месяца три, но потом хотелось бы получать деньги.

Вышел также и младший брат. Старший брат, Ваан, объяснил ему мою ситуацию, и потребовал, чтобы он взял меня. Не знаю, что он себе подумал, какие сделал расчеты, но сразу согласился. Видимо, ни о чём он и не думал. Повёл меня к своей плевательнице, показал несколько инструментов, показал, как их нужно чистить, как встречать посетителей в его отсутствие. Показал, где я буду спать — за дверью коридора.

С первого же дня он пропал. Приходили пациенты: «Где доктор? Вот уже в который раз мы не застаем его». Другой сказал: «Он заранее взял деньги, а работу не выполнил». На следующий все повторилось. Он немного поработал над новым посетителем и исчез. Через пару дней я был полностью разочарован.

А однажды ночью Ваан не дал мне заснуть. Он разделил верхний этаж своего дома — меньшую половину дал брату, а большей жил сам. В коридоре была дверь, за которой спал я. Как бы тихо он не двигался — было слышно. Вечером, когда я едва заснул, закутавшись в свое тряпье, меня разбудила возня, звуки поцелуев... Это была ночная жизнь Ваана. Утром представительницы женского пола накрывали на стол, ели и пили за счет Ваана и — айда. Как бы то ни было, через неделю обратился к Ваану, сказав, что у его брата невозможно ничему научиться.

— Я так и знал, — сказал Ваан, — хочешь, я дам тебе записку и ты пойдешь к другому стоматологу? Это грек, он живет возле нижнего леса. Если будет свободное время, он тебя возьмёт. Отправляйся прямо сейчас, не теряй времени.

Был уже поздний вечер, ночь я провёл в лесу. Утром встал, пошёл, нашёл дом стоматолога. Ничего не вышло. Я вернулся к Ваану, все ему рассказал, и сказал, что решил окончательно от них уйти. Перед расставанием о мне сказал:

— Дживан, вот тебе несколько драхм, всё же лучше, чем ничего. Ты хороший парень, как мне тебе помочь? Хочешь стать портным?

— Конечно хочу! — сказал я — что бы ни было, лишь бы это было ремесло.



Тогда подожди, я поговорю с Яни, авось что-то получится. Я сдал ему в аренду нижний этаж моего дома, ты, наверное, видел его мастерскую? Подожди, я его попрошу выйти и поговорить.

Яни посмотрел на меня, измерил взглядом и сказал:

— Подумаю до завтра, скажу.

— Я приду завтра, — сказал я и отправился бродить по Одосу. Ночь провёл в своем углу за дверью. Утром пошел к Яни. За мной пришел и Ваан. Он подошёл к Яни:

— Яни, если он совершит проступок, скажи мне. Я за него отвечаю, и ручаюсь, как за младшего брата. Уверяю, он хороший парень. Ты только проследи, чтобы он хорошо выучил ремесло, смог бы покормить себя.

— Ладно, пусть остаётся работает.

Ваан разъяснил условия моего пребывания, и, обращаясь к Яни, сказал:

— Всё равно при таком количестве девушек тебе нужен парень.

Яни повел меня внутрь. Девочки стали бросать на меня взгляды. Обрадовались. Во всяком случае, по их лицам прошли лучезарные улыбки. Старшая из них спросила меня:

— Как тебя зовут?

— Дживан.

— Джован?

— Нет, Жи-ван.

Вот так мы познакомились. Их было четыре сестры. Работали на предприимчивого Яни. Яни сразу обвязал мне средний палец, вручил мне иголку с ниткой и кусок материи:

— Неделю ты должен протыкать этот материал быстро-быстро, вот так.

Девочки смеялись. Меня и правда больше ничего не волнует, целую неделю я протыкал иголкой материю. Палец был, как сломанный. Через неделю он развязал мне палец, дал в руки материю, и предложил несколько видов шитья.

На ночь я оставался в магазине — и сторожил, и убирал. Утром я грел утюги, пока они хорошо не накалятся и не будут готовы к глажке. Я спал в задней части магазина. Яни был хитёр. Он спешил обучить меня ремеслу, чтобы подольше использовать без оплаты. Вскоре я узнал, что у него есть близкий друг-армянин, сапожник. Я нашёл его, познакомился. Он стал и моим близким другом. Его звали Акоп. Он посвятил меня во многие секреты жизни ремесленников. Вскоре выяснилось, что и в самом деле Яни хотел использовать меня бесплатно. Он быстро научил меня делу, но так, чтобы я приносил ему пользу, но не настолько, чтоб мог стать самостоятельным. Акоп был пьяницей, семьи у него не было. Я начал жаловаться ему, что Яни не платит мне ни лепты, несмотря на то, что я много работаю, а мои драхмы уже кончаются, и я голодаю. Он дал слово, что обо всем нарекнёт Яни. Но ничего не вышло. Акоп помог мне несколько раз.

Интересный был человек, по нему было видно, что он прошёл жестокие испытания. Я не успел узнать его историю, но успел рассказать ему историю Арменака.

Арменак был фотохудожником и каждый день устанавливал свой аппарат в углу парка, находящегося возле нашей церкви, всегда возле одной и той же скамейки. Во время перерыва я ходил к нему. Один раз он сфотографировал меня, когда я заснул на скамейке. Отдал мне снимок, когда я проснулся. Жаль, сейчас я не нахожу этой фотографии.

Однажды я рассказал ему свою историю, а он стал рассказывать мне свою.

«Ночью, — начал Арменак, — в пустыне Тер-Дзор ходили борени, днём стояла жара, каркали вороны, везде был песок. Мы — небольшая группа детей, зарывались в эти пески. Утром на рассвете мы вытаскивали друг друга из песка. Кто умер — так и оставался лежать. Мы знали, что турки основательно уничтожают армянский народ, но мы уже находились в арабской пустыне. Мы хотели кричать, голосить, хотели спросить дорогу, но боялись.

— Эй, кто тут есть? Кого здесь нет? — кричали мы и дрожали от страха. Наверное, страх был сильнее.

— Тихо, услышат, — говорили мне друзья.

— Кто?

— Турки.

— А что делать? А армяне как нас услышат? А наш народ? А наши родители? Эй, кто здесь есть, слушайте нас, мы не умерли, мы живы!

Вдруг мы слышали каких-то всадников. Кто они — курды, арабы, или турки? Мы внимательно слушали. Издалека слышались голоса турок: «Никто живым не останется, вы гяуры». Мы снова быстро зарывались в песок. С наступлением темноты мы собирали отрепья, рыли яму в песке, устраивали себе гнёздышки. Нас осталось пятеро детей — незнакомых друг с другом, больших и маленьких. Голодные, мы бродили среди трупов. Куда идти, где живут люди? Мы не знали. Вдруг кто-то из детей воскликнул:

— Вон там верблюды идут, значит, там есть люди.

— Нет, — сказал другой. — Это не люди, это турки.

— Нет, это люди, это арабы.

Мы тайком последовали за ними. Они сели обедать на краю какой-то глубокой заводи. Мы были и голодны и хотели пить.

— Ребята, сказал я, — вы здесь спрячьтесь, а я пойду подойду. Будь что будет.

Я пошёл. Голодной собакой полз я к ним. Меня заметили. Один из них встал и, направив на меня ружье, выстрелил.

— Это гяур, армянский щенок, не сдох ещё.

А другой ему:

— Эфенди, оставь его. Зачем убивать? Жалко. Я пойду поймаю его, принесу. Будет он нам сыном, будет вещи таскать.

Я бежал так быстро, как только мог, выжимая из своих мышц последние силы. Скрылся в песчаных волнах пустыни. Побежал к ребятам.

— Всё равно, ребята, надо идти за ними, другого выхода нет.

Мы пошли на то место, где они обедали, уничтожили все остатки до последней крошки. Нам не удалось достать воды, пришлось пользоваться той, которую достали до нас. Мы двинулись друг за дружкой по их следам. Маленькая Анушик не успевала за нами, плакала;

— Не уходите, Арменак, что я буду делать одна в этой пустыне?

Я подбежал, взял ее за лапку. Она падала, не могла идти. Она была голодна, хотела пить, смертельно устала... На ней ничего не было. Мы повязали на нее какую-то тряпку.

Ануш, Ануш, что мне было делать?

— Встань, Ануш-джан, встань, пойдем за верблюдами. Здесь песок, мы погибнем, если останемся здесь.

— Пусть Ануш останется здесь, мы пойдем, найдем пристанище, и вернёмся за ней.

Я не помню, как звал того, кто это сказал. Ануш услышала и потеряла сознание. Мы привели её в себя, накрыли её какими-то обмотками. Она была в полусознании, не узнала, что мы ушли.

Ночью караван вышел из пустыни. Мы увидели и других кочевников, но побоялись приблизиться. Раздобыли остатки их еды. В следах от копыт осталось нечто, похожее на воды. Мы все выпили, даже вылизали остатки. И снова начали следить за ними».

— А что стало с Анушиком? — спросил я с нетерпением. — Он посмотрел на меня потяжелевшим взглядом и продолжил свой рассказ.

— Вдвоём с товарищем мы побежали назад. Остальные не пошли. По пути началась буря. Мы залезли под траву с крепкими корнями, укрылись и заснули. Утром стали искать:

— Ануш, Ануш, Анушик!

Мы голосили, но слышали в ответ только вой волков и шакалов, лижущих свои насытившиеся клыки.

— Ах, Ануш, Ануш... Я до сих пор зову её во сне. А ты ноешь, что потерял зарплату! Выкинь из головы, пусть такие вещи тебя не печалят. Ануш была ангелом, душа Ануш покойна, а мне покоя нет. На обратном пути умер и мой товарищ, остался с Анушиком, в пустыне. Я вернулся, присоединился к нашим. Мы ужинали на свалках города, чтобы люди нас не заметили. Как только темнело, мы выползали наружу и направлялись к горам мусора. Удобнее всего были кожа и косточки. А здесь нашу долю отбирали бродячие

собаки. Мы достали себе разноцветную одежду, залатали, надели. Мы были как новый вид зверьков в этой пустыне. Ранним утром, наевшись досыта, мы бежали прятаться в пустыню, даже песенки напевали. Шакалы не могли к нам приблизиться — мы бы их задушили — не осталось в нас страха, боялись мы только людей.

— А однажды один из нас попался. Хотел украсть воды из одного дома. Нет, его не наказали. Спросили, кто вы? Он ответил — армяне. А они, мол, турок нет, вас собирают, приходите. Он пришёл и крикнул: «Ребята, нам больше ничего не сделают, турков больше нет, здесь живые армяне!»

В то время мы не были внимательны к половому составу нашей группы. Выяснилось, что среди нас были три девочки.

Когда я рассказал Акопу историю Арменака, его глаза стали влажными. Он посмотрел на меня и сказал: «Как-нибудь и свою историю расскажешь». Я обещал, но ни я, ни он, не успели рассказать друг другу своих историй.

Три месяца уже прошли. Я шил пуговицы, выполнял самые важные и тяжелые гладильные работы; распарывание и переворачивание старых изделий тоже было на мне, но денег он мне не давал, я работал голодным. Девочки замечали, иногда выделяли мне долю из своего обеда. Я начал настраиваться против Яни. Яни и сам все прекрасно видел, но молчал, как камень. Даже парон Ваан вежливо попросил, чтобы он заплатил мне. Перечислил выполненные мной работы. Наконец, Яни уступил, дал немного денег. Постепенно, я стал требовать больше. Я добился того, что Яни не только стал вовремя платить, но и работал я только восемь часов. Вы можете спросить, не боялся ли я лишиться работы? Почти нет, потому что мог с тем же успехом зарабатывать на хлеб и в другом месте.

Детство и отрочество прошли у меня как в тумане, я не заметил, как они пролетели. Настало юношество — просыпалось мужское начало, и страсть текла по жилам. Я шелестел, как молодое зеленое дерево, у меня кипела кровь. Я работал среди девушек, они были приятны мне, но я для них был младшим, подростком. Меня притягивало мое окружение — Фикс, Афины. Там были мои друзья, там я не бы одинок.

Яни заявил, что отныне по воскресеньям я должен буду отправляться в Афины. Едва доехав до места, я тотчас же собрал своих друзей. Решили мы долго не раздумывать — есть готовое решение — публичный дом. Будет время, приходи, бери любую, лишь бы возраст позволял войти туда без преград. Пошли!

Нас было четверо. В паре мест нас не приняли, отказали. Пошли в другое место. С улицы был виден красный фонарь, горящий то ли над дверью, то ли за воротами. Это означало «Добро пожаловать». Мы вошли как коты-воришки. Поднялись по деревянным лестницам на второй этаж. Старуха-сутенёрша, оглядела нас проницательным взглядом и швырнула стопку фотографий.

— Посмотрите на фотографии, выберите, которую хотите. Сколько у вас денег?

Легко сказать, «которую хотите», каждая похожа на пери. Она поняла наше замешательство и показала на противоположную открытую дверь. На диванах, приняв различные позы, лежали пери. Мы снова затруднились выбрать. Создавалась неудобная ситуация.

— Которая? — услышали мы торопящий голос старухи, и в результате этого долгого выбора мы просто ткнули пальцем в первые попавшиеся снимки. Согласно выбору, пери подошли к нам и увели в свои комнаты.

На следующий день мы уже думали по-другому. Поняли, что это были самки, а не девушки. Мы хотели девушек, хотели обнимать их за тонкие талии, хотели порхать, как эфирные существа, мы хотели любви...

Мы больше не ходили в публичные дома. От старших мы услышали, что и официантки зарабатывают подобным способом, но они более женственные, более живые, более приятные. И это попробовали. В тот день мы были опять вдвоем с Мисаком. Это была совсем молоденькая миниатюрная девушка, наша ровесница. Мы оба выбрали её. И она никому из нас не отказала. В её воле было принять одновременно троих или даже четверых. В тот день мы, удовлетворенные, вернулись в Фирс, к нашим палаткам.

Очень скоро появилась возможность вернуться на Родину

В те дни распространился слух, что многочисленные делегации из Советской Армении сделали свое дело, и очень скоро появится возможность вернуться на Родину. Кроме того, сын моего дяди Мартироса, Мадат, находился в Ленинакане и искал меня по разным армянским колониям. Эта весть дошла до меня. Меня прописали в караван эмигрантов. Настал день переезда. Это было осенью 1927 года. Я попрощался с родными, с друзьями и с местом своей работы. Девочки были тронуты, у них даже глаза стали мокрые. Обняли меня, а незамужние сестры хором сказали:

— Ты можешь вызвать любую из нас, если напишешь, мы приедем к тебе и выйдем за тебя замуж.

Уже в последние минуты увидел я Арама Кайцака. Он подходил ко мне.

— Дживан, будь храбрым воином Родины, её патриотом и благодарным сыном! — сказал и поцеловал меня в темя.

Мы набились на борт, кажется, греческого судна и тронулись в путь. Шторма почти не было. Прошли Халкиту, вошли в Мармара. Была ночь. То тут, то там светили огни. Утро было облачное. Судно стояло в Босфоре. Его остановили. Опять турецкие фески: «Армянский моджахед?» — проверяют. Турки всё ещё искали «террористов». Днём вышли из прилива Босфор в открытое море. Не заметил, как мы уже оказались в Батуми — все были заняты внутренней жизнью судна, знакомилась.

Батуми был в тумане. Дожливый, влажный город. Нами руководил Айк, отчаянный парень. На корабль поднялись красные пограничники. Так я впервые увидел русского солдата, в аккуратной шинели, с ружьем на плече... Разговаривали жестами и словами, не требующими перевода: «Рус... Хай... Солдат... Матрос...».

А они в ответ: «Да-да, Совет, Армения, народ...». Обменялись табаком, познакомились. Вот и всё наше знакомство — во главе с Айком.

Ждали разрешения на разгрузку мы на пустынной прибрежной территории. Вокруг было пусто, не было населения, царил тишина. Хозяином здесь был дождь, неприятная влажность земли. На следующие дни нас не встречали, как мы того ожидали, а обыскивали. Несколько раз подряд. И здесь творилось нечто вроде грабежа: «так

нельзя», «столько не разрешается», «мы возьмём вот столько» и так далее. Отбирали книги. Недавно они подавили недовольство грузинских меньшевиков.

Мы долго ждём: никого — ни с той, ни с другой стороны... Почему мы заперты? Айк обеспокоен, мрачен. Весь следующий день он отсутствовал, вечером зашел:

— Дживан, я ухожу.

— Куда?

— Назад. Я прикоснулся к этой стране, к кончикам её пальцев... Когти чувствуются. На побережье был, там народ забитый, оголодавший — это нищета... Здесь ад. До свиданья, покорно ваш. Я не буду жить коленопреклоненно...

— Куда пойдёшь?

— Тебе тоже не советую. Пошли со мной.

— Нет. Хватит мне скитаться.

— Как хочешь. Потом не жалею. Я пошёл.

— Как?

— Найду возможность.. Удачи вам!

Да, он поехал назад, ушёл в надёжную неизвестность.

Нас посадили в грузовые вагоны и отправили. Ночью, конечно. На рассвете мы были уже на вокзале в Тифлисе. Там нас и продержали весь день. Почему и что им было нужно, не могу сказать. Местные торговцы стали тайком проникать в наши вагоны. Знали, что нам многое может понадобиться. Бедное кочевье, в безвыходном положении! Происходящее очень напоминало разбой. Наконец, мы двинулись.

Ночью нас обрадовали:

— Радуйтесь, мы вошли на землю Армении.

Некоторых из нас высадили на вокзале Ленинакана. Никакого движения, ни души, ни здания, ни строения, — бесконечная снежная простыня. Где мы? Что это за страна? Подошли к сотруднику вокзала:

— Где мы? Что это за край?

— Это Армения, а это — Ширак. Ленинакан находится под этим белым снегом, присмотрись хорошо, чтобы увидеть. А сегодня 29 ноября, праздник Советской Армении.

Никого не видно, кругом пустынно. Мадат должен был меня встретить. Я остался один-одинёшенек, в отчаянии. Начал ходить взад-вперед по рельсам. У меня развязался язык, забыв обо всём я разговаривал с родной землей: со снегом, с воздухом, с вот этими железными путями, с едва видимыми строениями, покрытыми снегом. И вдруг я услышал:

— Дживан? Дживан!

— Мадат? Мартирос, это ты?

И мы обнялись. Ни слёз, ни других каких-либо слов, только молчание и объятие двух нашедших друг друга близких людей. Несколько капель слёз упали на чистый снег и растаяли.

Собрались родственники, соседи, собрались и набросились на меня. На пороге все говорили: «Свет вашим глазам!». Потом начались расспросы: «Где остался такой-то?», «Что стало с тем-то?», «Не встречал ли того-то?», «Как освободился?», «Что ты испытал?». Я обо всём рассказал. Потом настал мой черёд спрашивать:

— Где Торгом, Амазасп? Как вы приехали сюда?

Мартирос начал рассказывать:

«Я догнал Торгома. Ты отстал, и я уже не знал, что с тобой. Помнишь, был рассвет? Торгом не ждал меня, он бежал, а я за ним. Мы шли, укрываясь за деревьями. Если на дорогах не было видно людей, шли по дорогам. К вечеру дошли мы до гор Келен Кеча и перебрались на другую сторону от нашей деревни. Переночевали в овраге, а днём стали искать наших и нашли их под хлевом, что под каменным утесом Большой горы. Они спрятались. Мы пробыли там два дня. Потом мы узнали, что турки уже ушли, а русские вошли в нашу деревню. И мы вернулись в нашу полуразрушенную, разграбленную деревню. Снова стали сеять, жать, завели животных. Курды вернули нам нашу скотину. Русские смотрели на нас не очень доброжелательно. Встречались солдаты и офицеры, которые доставляли нам неудобства, уводили молодых девушек. Курдов они теребили сравнительно меньше. Следующей весной мы полностью обработали земли, собрали урожай и уже следующей осенью обеспечили зимние запасы.

Пришла зима, пошёл слух, что русские отошли... Турки опять наступают на безоружных армян. Начали убегать оставшиеся дети и женщины. Говорят, в России сводят друг с другом счёты красные и белые. Говорят, есть известные армяне, но в других странах нас защищают. Хнкианос Блкеци собрал на берегу Чёрной воды нас всех «со всех сторон». Всё, что смогли, погрузили на телеги и ночью и днём спускались к полям. Предводителем нашей деревни был Санаер Цатур. До того, как дошли до Чёрной воды, курды и турки напали. Нам на помощь пришёл Мурад Себастаци. С тяжёлыми боями продвигались днём и ночью. Многие из наших защитников полегли, пока дошли до Мамахат. Много чего русские там оставили... Нам выдали про запас еду и одежду. Дошли до Карина. Там смогли вздохнуть, потому что услышали, что военачальник Андраник идёт нам на защиту. В Карине мы оставались несколько дней, пока турки опять не начали наступать. Военачальник, в какой-то степени, смог приручить их. Из оставшихся взрослых нашей деревни были только мой старший брат Торгом и дядин Цатур. Непонятно, почему часть бежавших армян направилась в сторону Персии. Мы пошли в сторону Александрополя. Наших вола и дойной коровы давно не было. Весь свой скарб несли на себе».

Саргис продолжал:

«Мы держались, не плакали. Амазасп был младше меня, частенько он мне говорил:

— Саргис, не плачь, дойдём.

— Да-да, Пудраш, иди, иди, дойдём, — отвечал я.

Меня, Падраша, сестру Вардуи мать сдала в приют. Сама она, Торгом и Мартирос расселились по деревням. Турки вошли в Александрополь, шли бои. Мы были в безопасности под американским флагом. Мать, Торгом и Мартирос перешли в другое место. Убегающих гюмринцев турки нагнали у Джаджура и уничтожили. Ныне там стоит памятник-родник, а на нём написано так:

«Пей, прохожий, это родник нашей скорби».

Мать приехала за мной в приют, но я не поехал с ней, мол, учимся, хорошо живём. Убедилась, уехала. По словам матери, Торгом превратился в сильного юношу. Зарабатывал на хлеб в Шулакере, работая у турков. Тем летом поднялись в горы — простыл, заболел воспалением лёгких. И мой брат-богатырь Торгом так и умер один-одиёшенек на чужбине. Говорил и плакал нараспев Цатур:

Ах, увидел я Торгома

На дорогах боли, стонов

Мощный, смелый он Рстак

На бессмертие в надежде

Стал он мощным, возмужал

Однажды Амазасп позвал меня, был на последнем издыхании, оставшийся у него паёк отдал мне, больше я его не увидел, он умер.

Мать меня и Вардуш взяла из приюта, американцы начинали сдавать. Но не надо забывать, что вплоть до 1920–1921 годов всем вышедшим из приюта продолжали давать пособие.

Спасибо империалистам-американцам, спасли огромное количество армянских сирот, пока революционная Россия кроме мест для кладбищ не обеспечила нас ни клочком земли, ни условиями — всё что имели, должны были сдать туркам. Пошли по деревням за своим имуществом. В этот раз нас возглавлял Мартирос. В итоге Мартирос в Ленинакане нанялся рабочим в кондитерскую мастерскую к Ераносьянам. Кондитерская Ераносьянов была очень популярна в Ленинакане. Там и познакомился со своей будущей женой Вардуш. И я выучился кондитерскому ремеслу, начал работать мастером. Вскоре Ераносьянов развеяли по ветру — выслали — погас дым кондитерской.

Первенец Мартироса умер в этом подвале. Обе девочки тоже. Остались трое: Генрих, Гоар и Карлен (Генрих и Карлен то же погибли)».

Я начал жить вместе с большой семьей Мартироса, они выделили мне место в своем стеснённом низком жилище. В те годы Ленинакан был городом-селом, там было много домов с земляными, на деревенский лад, крышам, и только несколько улиц. Город был в крайней нужде, население — без работы. Производился учет рабочих рук — биржа. Я пошёл, записался, хотя дело было безнадёжное. О возвращенцах никто не думал, ни одно учреждение не обращало внимания на наши проблемы. Сёла тоже были в бедственном положении. Всё смешалось, как в загрязненном болоте — никто не знал, что ждёт нас



завтра: кулаки, батраки, раскулачивание, бедняки, середняки... Это было время проповедей и гонений — оппозиция, троцкизм, ленинизм, враги народа. А народ сжался в горстку, был растерян и напуган.

— Молчите! Мы строим социализм, будучи в окружении капитализма. Мы воспитываем нового человека, мы должны всё выдержать, всё вынести, выстоять!

Это было время, когда одни вступали в партии, а других партии выгоняли из своих рядов.

Я уходил из дому, весь день проводил в поисках работы и без результата возвращался домой. Мастерских было мало. Ремесленники прятались по своим домам. Многие работали по патенту в одиночку, потому что нанимать на работу другого значит стать политическим врагом. Не было ни материала для работы, ни клиентов. Еле продержались до весны. В эти дни начался НЭП. Сразу же открылись магазины Гюмри. Объявились новоявленные предприниматели — «Спирти Амо» («Амо, который продает спирт»), Ераносяны... Открылись новые магазины, бани.

Я нашёл сезонную работу в овраге Черкез. Работал так уверенно и проворно, что не попал под сокращение, остался вместе с несколькими другими работниками. В то время я не сидел без дела, посещал разных людей. Часто бывал в магазине новоприбывшего портного, который работал вместе со своими сыновьями и еле поддерживал свое существование. У них был родственник по имени Ваан, который работает в суде района Амасия в качестве делопроизводителя. Он хорошо владел турецким. Ваан позаботился обо мне, заявил в один прекрасный день, что уходит на другую работу, и поговорил с судьей, чтобы на его место взяли меня. Удалось. Я переехал в Амасию. Судья носил фамилию Агамилян. Был он честный, мудрый, наделённый человеческой чистотой. Я ему сразу понравился, и он буквально усыновил меня. Он всюду брал меня с собой, объяснял всё, что считал нужным объяснить. Было время раскулачивания. Ходили в турецкие села. Был он очень осторожен, не наступал на те же грабли дважды.

Помню, как мы сидели на берегу озера Арпа, он ловил рыбу и изучал меня, задавал мне вопросы, пытался понять, не пустышка ли я, из числа тех новоприбывших, что ни на что не годились, или во мне есть наследие накопленного моим народом опыта? Он доверял мне, посылал в Ленинакан за зарплатой, с отеческой заботой предупреждал, чтобы я был осторожен. У него я впервые увидел радио — слышно по нему было очень глухо и отдалённо, едва различались слова.

В общежитии я был в «невестоискательном» заговоре, развлекал взрослых работников. Они мне предлагали кандидатуры своих дочерей. Однажды Джаваир загрозила мне дорогу и говорит, мол, любит меня. Джаваир была организатором, звеньевой местных татарок (так раньше называли азербайджанцев). Она долго ухаживала за мной:

Джаваир — Дживан,

Поцелуй из уст в уста.

Тот, кто будет против,

Не имеет вкуса рта.

Это придумал играющий на таре тбилисец Канаян. Страсть бушевала во мне, но внутренний голос предупреждал моё стремление: неужели пламя моего сердца должно достаться этой необъезженной кобылке.

— Смотришь сзади — завораживала, смотришь спереди — привлекала... Сны мои меня обжигали... Однажды я спросил:

— Кто ты, Джаваир?

— Я? — она поняла подтекст моего вопроса, — хочешь, чтоб была армянкой?

Меня призвали на воинскую службу. Была осень 1928 г. На комиссии меня спросили, какого я года рождения. Удивительный вопрос. Всё так смешалось после Геноцида. Какие теперь цифры?

— Призыв на рождённых в каком году?

— 1906.

Я записался рождённым 1 мая 1906 года и пополнил ряды новобранцев. Пожелание Арама Кайцака перед моим отбытием на корабле... Я сфотографировался с Мартиросом и Тадевосом и попрощался с Лениканом. Мы поехали в Ереван.

Вскоре появилась корона Масиса в лучах солнца.

— Масис наш, правда? — спросил я начальника.

— Наша новая граница подходит к нему, однако он на турецкой стороне.

— Как? — воскликнул я, потрясённый, и поклялся про себя, что никогда не буду им больше верить. Начались политические занятия. Рассказывали о победах Красной Армии, о необычных успехах советской страны и о бесчисленных завоеваниях. Я не выдержал:

— Вы оставили туркам Арарат, о какой победе идёт речь?

— Кто сказал? — с загробной суровостью спросил политрук.

— Я сказал, — правнук Арарата... Все мои могилы остались турку.

— Ты, парень, новоприбывший, о многом не знаешь, — немного смягчившись, посмотрел на меня политрук. — Ты должен знать, что мы подружился с нашими соседями, и это — новое историческое завоевание.

Я ничего не понял, выслушал, промолчал, и до сих пор молчу. «После такого я не поверю ни единому вашему слову», — повторил я про себя. Была библиотека, я стал ею пользоваться. Несомненно, библиотека была перепроверена и отобрана с особой тщательностью. Карантин закончился. Перевели в основную часть. Я попал в армянскую тыловую часть. Она была расположена в крепости Сардар. Меня как человека с законченным средним образованием призвали в средний офицерский состав.

В Комайги (Английский парк в Ереване, на момент рассказа находился на окраине города, в настоящее время — в его центре), ввиду его отдалённости и немногочисленности, мы

занимались бегом с препятствиями, тренировались в метании гранат. Здесь меня заметили как хорошего метателя гранат. Ведь детство мое прошло в кидании камней. Воодушевлённый, я хотел метнуть последнюю гранату, как вдруг — трах! У меня потемнело в глазах. Кто-то перенёс нечто из-за моей спины вперед, — это была моя сломанная рука. Все застыли в ужасе. Офицер едва вымолвил:

— Срочно доставить Дживана в войсковой госпиталь!

Меня приняли и быстро перевели в операционную. Долговязый русский врач успокоил меня:

— Ничего, до свадьбы заживёт.

Локоть завели мне за шею, велели не двигаться. Накрыли мне голову. В отчаянии, я начал плакать. Вдруг ребята открыли мне голову и сказали:

— Не стыдно тебе плакать? Посмотри на Пайлака, у него нет ноги, отрезали год назад, а он ничего, держится. Правда, Пайлак?

— Если ты плачешь, то что мне делать? — вздохнул Пайлак. Мозик в детстве потерял палец, а в последнее время из-за инфекции отрезали и ногу. Ты ещё можешь поправиться. Будь весел, чтобы быстрее выздороветь.

Меня пришёл проведать Мартирос. Я грустил. Он тоже пригорюнился. Так и расстались. Я с радостью пошёл на операцию.

Через сорок дней развязали доски. Весной я выписался. Руку вылечили, но полноценно служить она больше не могла.

Этот случай изменил течение моей жизни. Я представился начальнику нашей одногодовой школы подготовки младшего командного состава. Он был опытным воякой в возрасте.

С сожалением отпустил он меня с воинской службы, но куда мне идти, чем заниматься — я не знал. Попросил начальника взять меня под своё покровительство. И ребята замолвили слово: «Пусть останется, поучится, получит звание. Он недавний репатриант. Мы тоже поможем, как сумеем. Ему некуда идти». Через несколько дней он нашёл выход:

— Продержим в рядах курсов до тех пор, пока не наступит пора их окончания.

После осенних экзаменов получил военную книжку. Нас демобилизовали. Мне некуда было идти, и я остался в Ереване.

Военный комиссар отправил меня рабочим в механическую мастерскую. Там были кузнецы и мазальщики. Недели через две мне посоветовали:

— Мальчик, тебе здесь делать нечего. Ты не прокормишь себя, будучи рабочим. Здесь нет для тебя перспективы, даже общежития нет, здесь пустынная местность. Иди лучше на завод «жир-мыло».

Снова я зашёл к командиру. Он переслал меня на завод «жир-мыло». Приняли. Общежития у них не было. Совершенно случайно встретил прибывшего из Греции Трибуна, который уже работал в городской типографии наборщиком. Он поселился

в маленькой комнате в подвале на краю улицы Налбандян. Он не отказал мне, выделил временно угол. Оттуда я должен был ходить пешком на работу и обратно. Вскоре решился и вопрос общежития, и я переселился туда. Я — получающий квалификацию рабочий завода «жир-мыло» и новый житель общежития. Мы работали в две смены. Директор был очень уважаемым человеком — чистосердечный Демирчян. Ханджян (первый секретарь Армянской ССР — прим. ред.) лично пришёл на собрание нашего коллектива.

Я считался хорошим женихом, так как был в самый раз созревшим. Я положил глаз на сестру Ваграма — Шамирам. Она училась в городской средней школе. Но нам не суждено было соединиться. Это были для меня времена вулканов, страстей. Люблённостей и любовных приключений у меня было много, но я никогда не вёл себя подло.

У нас появилась стенгазета. В то время я уже поступил в только что открывшуюся консерваторию на вечернее отделение по классу скрипки, к профессору Котлярову. Но в этот раз я подхватил дзмрук (заболевание наподобие грибкового). Он так сводил мне руки и ноги, что порой было трудно сидеть, не говоря уже об учебе. Это было сезонное заболевание, но я ничего не мог с ним поделать.

Я стал ударником на заводе, мою фотографию опубликовали в ежедневной газете «Советская Армения». Меня приняли в ряды партии. Я прошёл всего лишь шестимесячный кандидатский срок. Секретарь райкома Петик Петикян без лишних церемоний пожал мне руку и поздравил со вступлением в ряды партии. Спустя некоторое время меня вместе с другими товарищами отправили на экскурсию в Ленинград и Харьков. Побывали в пушкинских местах. Особое впечатление на произвели голубоглазые светлокожие девушки Воронежа.

Хотя мои успехи на заводе были очевидны, моя тяга к учёбе не ослабела. В те дни я и Грайр из Гандзака (Кировабад) работали над укладкой больших связок ваты. Мы услышали, что недавно открывшийся Ереванский Университет проводит набор студентов, причём предпочтение отдается молодым рабочим. Мы поинтересовались — выяснилось, что речь идёт о вечерних курсах. В 1931 году я стал студентом подготовительного, а в 1932 — первого курса.

Университет был ещё в стадии формирования, однако вокруг него уже стояли волхвы армянской интеллигенции — Симон Акопян, Забел Есаян, Гр. Ачарян, М. Абемян, Тертерян, Рштуни, Гапанцян, Манадян, Адонц... Университет строился на наших глазах, при нашем участии. Для построения площади Ленина разрушили стильную Русскую церковь. Разрушили Синию мечеть.

Постепенно мы входили в мир науки и искусства. Библиотека всегда была полна студентами. Мы встретились с Наири Зарьяном, обсудили его «Ара Прекрасного». Поэму великолепно прочитал Г. Севак, который в дальнейшем преподавал нам. На вопрос о том, как ему удалось написать поэму, ответил:

— Сам не знаю. У меня не было никакого намерения писать произведение такого объема. Сначала это был просто сонет, посвященный Ара Прекрасному. Потом, так как сонет писался очень легко, я решил продолжить, и дошёл до Ассирии. Потом ещё, ещё... Так что не я, а мои герои довели дело до конца. Не хвалите меня и не обвиняйте. Я просто оседлал своего коня и попробовал путешествовать и вперёд, и назад.

Прозвучали тёплые аплодисменты.

Однажды стало известно, что многие известные деятели советской литературы должны выступить в зале нашего Дома культуры. Должны были выступить также и наши писатели — Чаренц, Бакунц. Мы поспешили прийти туда пораньше. В назначенный час вошли — сначала гости по очереди, а за ними — Чаренц со своим «отрядом». Едва его заметив, мы разразились бурными аплодисментами. Он правой рукой совершил «трамбующее» движение в сторону гостей, а потом стал «располагать» их по левую сторону от себя. Это означало — смотрите, здесь никого, равного мне. Зал правильно его понял, и ещё раз разразился аплодисментами.

Я был заметным среди студентов, но не знаю, к счастью или нет, не мог сиять в полную силу, так как стеснялся выступать из-за выскочивших на моем лице прыщей. Кроме того, я понимал, что если проявлю себя во всю силу, то очень скоро окажусь под каким-либо ярлыком. Мой товарищ по Трабзонскому приюту — Масис — талантливый, способный, еле избежавший ятагана мой осиротевший брат, был репрессирован. Это было время хищной сталинской тирании.

В те годы из-за границы снова мигрировали несколько групп. В Ереван прибыл ещё один воспитанник нашего приюта — Вардгес. Мы случайно встретились в верховьях улицы Абовян. Он был младше меня. Только он меня заметил — сразу подбежал. Бежал, и по наивности, кричал:

— Дживан, гнчак Дживан!

Обнял меня. Я прикрыл ему рот:

— Тихо, Вардгес, что ты делаешь?

Это были не те времена, когда можно было шутить. В Греции несколько парней были политически изолированы. Мы были активистами партии Гнчакян, но не были членами партии. Здесь же и этого было слишком — не их линия, чужое.

Так я и проучился в страхе, осторожничая, в самодостаточном состоянии, так что студенческих радостей я не познал. Средств к существованию не было, едва утоляли голод в студенческой столовой.

Немного спустя Вардгес попытался бежать назад, но был пойман на границе. Так был уничтожен ещё один сирота. Всё было не так. Во всём были насилие, принуждение, во всём — нужда. Рубен Голканян впоследствии стал помощником прокурора, работал на очень ответственных постах, потом долгое время преподавал. Мы были на третьем курсе Университета. В это время поспешно вступал в партию весь Университет и, вообще, весь «аппарат». Не были важны достоинства кадров — лишь бы это были послушные служители, безмолвные исполнители воли «свыше». На смену старым, опытным, справедливым кадрам пришли мы и стали допускать своеволие. Мы были кадрами, доверенными для власти — «партийными кадрами». Самым тяжёлым было время коллективизации. Я был на воинской службе. Мы стояли над головой у сёл, крепким партийным кулаком — принуждённым «активом» — разрушая устои частной собственности. Всё имущество было разграблено. Названо это было «всеобщей коллективизацией», передовым шагом, скачком к коммунизму. А на самом деле это стало разрушением деревни.

А однажды летом я спускался из Арабкира (этот район расположен на вершине холма) к верховьям улицы Абовян. В городе царило какое-то зловещее молчание. Я попытался расспросить прохожих. Никто не ответил мне. Я подошёл к сторожу общежития.

— Что случилось?

— Откуда я знаю? — прошептал сторож, — Ханджяна убили.

— Вах! Где?

Он не ответил. Я тоже замолчал.

«Не может быть, — слышалось рычание Гургена Севака среди молодёжи — не может быть, не может быть!»

С четырёх сторон слышалось:

— Ханджян — самоубийца? Кто выдумывает эти небылицы?

— Тихо, его убили в Тифлисе. Берия... Постепенно «сверху» появляются новые слухи: «предатель», «враг народа», «националист», «шпион»... Кто в это верил? Никто.

Пошли слухи, что его везут в Ереван. За гробом никто не должен был идти, даже родственники, иначе их бы сразу записали в ряды врагов. Собирались незаметно, с пренебрежением, бросить его в яму на кладбище Арабкира. Студенты и преподаватели Университета во главе с Геворком Севаком, преисполненные горечи, занимали позицию за позицией, улицу за улицей. Наконец удалось прорвать угол оцепления и, преодолев цепь сопротивляющихся милиционеров, подойти к гробу убитого лидера. Сформировалась процессия скорби. Мы поливали слезами цветы, которые кидали по дороге, — получилось маленькое восстание. Они ничего не могли поделать с возмущением целого народа. Было приказано не распалать огонь недовольства, но многих с того дня взяли на примету.

Из Москвы и Тифлиса во главе с Мусабековым и Мугдуси приехала комиссия. Яблоку негде было упасть. Над могилой, стоя на некоем подобии трибуны, Мусабеков и Мугдуси читали какие-то официальные бумаги — медицинские и правительственные. Недовольное рычание народа заглушало их злонамеренные речи. Дело дошло до разгона шествия, но народ всё равно снова собирался у могилы. На следующий день из рук в руки передавали «Правду». Никто ничего не понимал.

Был приказ «начать охоту». В последний раз я видел Чаренца на дороге, спускавшегося из Канакера к улице Абовян, в какой-то маленькой машине. Увели большинство преподавателей. Бедный Симон Тер-Акопян... Он тенью ходил за Арсеном Тертеряном в Университете. Кого ещё вспомнить? Чёрным горем был отмечен 1937 год. Повсюду были чёрные тучи. В отдалённых районах пока ещё было сравнительно спокойно.

В те дни в Ереван приехал Гегам — мой друг со студенческой скамьи. Он с лёгкостью уговорил меня переехать к нему в Капан, чтобы стать директором новой городской школы и преподавателем литературы.

Гегам был моим близким другом — он учился на историческом факультете, окончил на год раньше меня и возглавлял работу отдела народного образования. Он очень быстро

приобрёл авторитет в Министерстве Просвещения. Работал он честно и преданно. Я взял свою «заменяющую диплом» справку и пустился в путь к Капану. Нашёл себе место в одном из маленьких уголков на втором этаже школы. Школу недавно построили, она была двухэтажная, по правую сторону от реки Вачаган в центре города. Здание школы было не достроено, оно находилось в убогом состоянии, двор был разрушен, классы не доделаны, учительская сторона тоже была не лишена изъянов. Одним словом, мне предстояло не только возглавить бедную школу, но и параллельно привести её в порядок. Конечно, у меня не было ни опыта, ни выгоды, но потребности в них не ощущалось. Я был в состоянии сам в меру своих сил привести всё к должному уровню. Так и вышло. Я оправдал полностью надежды Гегам, и надо было идти вперед. Энергично взялись мы за приведение в порядок фасада, двора, спортивной площадки, мастерских и общежития.

Вместе с тем, приближался семилетний юбилей присоединения к России и открытие первого азербайджанского класса в составе нашей средней школы. Вскоре и это было выполнено. Трудности возникли, когда пришлось тащить в школу азербайджанских детей. Мальчишек кое-как привели, а девочек так и не удалось. Однако к концу года справились и с этим. Мы носили название «Интернациональная средняя школа №1 имени Максима Горького». Нам удалось создать всё необходимое из числа дополнительных занятий — кружки пения, танцев, рисования.

Передо мной встала острая необходимость создания семьи — проблемы кожи преследовали меня и стесняли. В это время я связался с новоназначенной учительницей русского языка и литературы — Марией Барашковой. Оказалось, что она — невеста Хачика, директора школы деревни Огчи. Пока это выяснилось, она успела забеременеть, и я стал отцом незаконнорожденного ребенка. Без колебаний признал и узаконил своё отцовство, дав сыну свою фамилию — Аристакесян Гарун Дживани. Этот сын стал моим лучшим наследником — умным, одарённым работником искусства — писателем и журналистом. Он был оторван от Родины впоследствии, но вырос патриотом и сумел стать примером и авторитетом для своих братьев.

Многие из моих учеников приходили из соседних деревень, шагая нога в ногу в своих треках. Это были прекрасные дети: способные, прилежные, целеустремленные. Порой казалось, что центр перемещается в провинцию. По крайней мере, так было в нашем Капане, в нашей школе. Секретарь Товмасын прекрасно себя чувствовал. Но тем не менее, политическая зараза проникала и в наши ряды. Политические органы требовали жертв. Начались аресты, обыски. Отравлялась деловая, творческая атмосфера.

Гегам продвинулся, был переведён в центр. Достойного приемника ему не нашлось.

Однажды я узнал, что РОНО выписало для школы диван. Ждал долго, пока принесут, но его всё не было и не было. Не помню, по какому вопросу, но мне срочно необходимо было найти Ивана. Пошёл к ним домой и... Вот те на! Диван стоит дома у Ивана. Сразу же пошёл в школу и отправил двоих домой к Ивану, чтобы принесли злополучный предмет мебели.

— Жене его скажете, что товарищ Иван принёс диван на время, он школьный, мы пришли забрать.

Принесли. В тот день Ивана так и не нашёл. На следующий день пошёл в школу, смотрю: дивана нет. Сказали, что из РОНО пришли и забрали. Объяснили, что этот не наш, наш потом принесут. Вышел и, взяв с собой тех же двоих, отправился прямиком домой

к Ивану. Конечно же, диван был уже там. В этот раз молча, без каких-либо объяснений взяли и айда в школу!

Эта история тут же «ушла в народ» и стала «крылатой»:

Новый школьный диван

Хотел присвоить Иван,

Да не позволил Дживан.

И стали в Капане говорить: «Иван-Дживан-диван».

Иван — мой добрый друг. После войны он спас меня от ссылки в Сибирь.

Был июнь 1941 года, учебный год закончился. Я хотел спокойно насладиться летними каникулами. Деньги были. Решил отдохнуть в Баку. От вокзала шли товарные составы до Минджевана. Там предстояло долгое ожидание поезда Ереван — Баку. На вокзале в Капане ко мне подошла моя ученица Арген со своим отцом. После коротких расспросов, Арген сказала отцу:

— Товарищ Дживан едет в Баку, я тоже с ним поеду.

— Я очень рад. Будьте внимательны, товарищ Аристакесян, она совсем неопытная.

Я уверенно поручился за её безопасность на пути в Баку. Оттуда она должна была поехать в Ереван. Доехали до Баку. Сначала она предложила мне пойти в гостиницу, но когда я напомнил ей о родственниках, встречающих её на вокзале, она сказала:

— Тогда и ты со мной иди. Там найдётся место для ночлега. Я не расстанусь с тобой.

Для меня это было очень приятной неожиданностью, поскольку Арген была очень красива и, как выяснилось, равнодушна ко мне. Я сразу согласился. Дом родственников был недалеко от вокзала, но она стала водить меня кругами по городу. Только вечером мы вошли домой. Она быстро уладила свои дела, после чего схватила меня за руку: «Идём гулять». И предупредила дома, что мы можем немного опоздать. Мы гуляли под руку. Она поворачивалась и прижималась к моей груди по каждому поводу, всячески показывая своё отношение ко мне. Я и сам был готов обнять, поцеловать это вожаемое существо, но обещание, данное её отцу, останавливало меня.

Я понял, что могу не совладать с собой.

— Арген, Арген... Арген, давай вернёмся.

— Ещё немного погуляем, ещё не поздно, да и дома мы предупредили, что опоздаем.

— Арген, неудобно, давай хотя бы сегодня придем рано.

Еле провели ночь. На следующий день, Арген должна была ехать в Ереван, но не поехала. Я повёл её в ресторан. Она хотела выпить, раскрепоститься от сковывающих её моральных цепей, но я не позволил.



— Я твоя, — говорила она, — я хочу смаковать жизнь, эти дни больше не повторятся, я — реалистка. Унеси меня, унеси, куда хочешь, но только на руках.

— Арген, — сказал я — вставай, пойдём на море, искупаемся.

Вечером, когда мы возвращались, она уволокла меня в какой-то угол и стала целовать. Наверное, чувствовала, что расставание близко, возможно, расставание навсегда. Она должна была ехать в Ереван. Я её проводил. А на следующий день вернулся сам.

Война началась, немцы напали на нашу страну

Рано утром 23 июня я отправился купаться на реку, текущую на дне оврага. Освежившись, я пошёл назад, как вдруг встретил приехавших из Капана начальника финансового отдела Гришу Мартиросяна и завуча Левона.

— Здравствуй, Дживан, ты еще не пошёл?

— Куда?

— Ты не слышал? Война началась, немцы напали на нашу страну. Всех призвали, тебя тоже призовут. Скорее иди в военкомат.

На сердце стало черным-черно, душа пришла в смятение. Я зашёл в школу, объявил о своем уходе. Пошел пешком. Для призывников в районном центре была выделена машина, но я не стал ждать. Вечером я представился новому военному начальству.

— Утром соберёшь своих ребят, и айда! Ты — начальник конной дивизии Зангезура. Через два дня вы должны быть в Горисе. Там начальник штаба Арзуманян скажет тебе, что делать.

Он был не начальником, а отцом, настоящим отцом — обучающим, сердобольным, мудрым... Объяснил, научил, всё показал.

Наша часть была основана на силах запаса. В основном это были выходцы из Гориса. Только я был из Капана. Командирами были Ашот Адамян и Азат, фамилию которого я не помню. Задача у меня была нелёгкая — необходимо было завоевать уважение и симпатию, мне были нужны мудрость и строгость. Я старался восполнять эти пробелы. Так или иначе, дело двигалось.

Трудно было обеспечить коней травой. Мы привязывали их на открытой площадке. Выполняли по одному физические упражнения. Прошёл месяц, но о нас никто не вспоминал, никаких поручений нам не давали.

Наконец в начале августа вышел приказ двигаться в Степанакерт. Еле тронулись через неделю. К середине следующего дня добрались до Степанакерта. Я представился в военком. Нам объявили о конкретном месте нашей остановки. Разместились и взялись за наведение порядка, организацию отдыха, уход за лошадьми. У нас было два ветеринара, которые следили за здоровьем коней. Через два дня получили приказ двигаться к равнинному Карабаху, чтобы воссоединиться с местными частями. Сразу двинулись в путь. На следующий день мы представились главнокомандующему. Он сдал нашу вахту одному командиру — осу (осетину) по фамилии Минаев. Он принял вахту, оставил меня своим заместителем, организовал вопросы снабжения и ушёл. Несколько дней мы его

не видели. Потом он вернулся вместе с кухней-фургоном, которой мы очень обрадовались, немного расспросил нас о том, о чём и снова исчез. Через несколько дней снова вернулся, мол, готовьтесь, завтра вечером мы двигаемся к границе с Персией (с Ираном), по направлению к мосту Худафир. Мы получили боеприпасы, загрузились и под руководством Минаева двинулись в путь. Мы шли, сохраняя полное молчание, ни о чём не говорили. Мы были оторваны от жизни страны, не получали никаких известий. Были холодны с азербайджанским населением. К середине ночи добрались до берега Аракса. Минаев приказал замаскироваться и готовиться к ночлегу. Перед рассветом, замаскированные, мы двинулись в путь. Возле скал напротив находился мост Худафир, но наблюдения показали, что там никого нет. Мы то двигались, то останавливались, но никто на нас не нападал. И вот, все уже перешли мост. С такой лёгкостью, что казалось, мост находится в нашей стране. Вот и Персия! По правому берегу Аракса пошли мы на Восток. Было душно, не было питьевой воды. Мы брали воду из Аракса. Полевая кухня кое-как обеспечивала нас. Минаев опять испарился. От Аракса мы удалялись к северным скалам. Воды так и не было. Лошади едва передвигались под ношей своих кормов, но и их уже не хватало. Надо было думать о корме для лошадей, о еде. А Минаева всё не было и не было. Несколько парней я отправил на разведку. Деревни, которые мы заметили в округе, находились на большом расстоянии друг от друга, была только дорога и наше войско. В деревнях попадался обычно один богач, остальные были его тенью. Тех ага, у кого были деньги, мы обманывали, говоря, что заплатит идущий за нами командир. Иногда нам шли на встречу, подавали лаваш и воду. Сопrotивления не было, они выучили русские слова «таварищ» и «харашо». На дороге мы встречали многочисленных солдат, покинувших армию и спешащих домой, они снимали шапки, и, произнося «саям», спешили вернуться в свои жилища. Мы были особенно осторожны по ночам, на горных тропах, на перевалах, где было наиболее опасно. Бывало, что ребята набрасывались на урожай полей — помидоры, виноград, лук, арбузы... Я не позволял, строго наказывал. Один раз набросились на крестьянина, погрузившего тюки с виноградом на осла — продай да продай. Он был вынужден высыпать виноград будто бы на весы. А они набросились и стали всё разбирать. Крестьянин заплакал. Я избил их и стал предлагать крестьянину деньги и бумаги по займу. Еле всё собрал, дал ему — крестьянин двинулся в путь. Дошли до горы Аламст. В низовьях стоял то ли город, то ли село. Там когда-то была ферма племенных лошадей, принадлежавшая немецкому войску. Большая часть коней осталась. Это были хорошо ухоженные племенные кони, и они перешли в наши руки. Мы хорошо отдохнули, искупались, пополнили запасы. Там и еда осталась. Минаева с нами всё ещё не было. Часть двинулась к Тегерану. Через несколько дней пути мы получили приказ вернуться в Тавриз. Нам было приказано дружественно обращаться с местными жителями, однако наши притесняли богатых. Дошли до Тавриза. Разместили часть. Наша воинская поклажа никому не пригодилась. Получалось, что наша особая вахта фактически была излишней единицей и напрасно прибыла вслед за основной частью. Город жил своей обычной жизнью — магазины работали, рынки были полны, правда, всё это происходило как-то напряженно, скованно. Нам приказали вернуться в Нахиджеван. Требовалось составить и представить командованию подробности похода в этот город. На основе имеющихся данных я составил план и представил его штабу Тавриза. Его одобрили. Узнали, что Минаев направился в больницу Тавриза, лёг на лечение. Что это была за болезнь, сколько ему нужно было пролежать — мы не знали, да и нас это не касалось. Только спустя некоторое время, когда мы должны были уже остановиться у Норашена, он появился. До этого мы уже научились сами управлять собой. Пошли назад, дошли до Джульфы. Джульфа была разделена на две части — правая была персидская, левая — советская. Мы сумели без моста, вплавь на лошадях переправиться на другой берег. Здесь Минаев настиг нас, и впервые похвалил, говоря:

— План маршрута был прекрасно составлен, я настиг вас по нему. Спасибо, товарищ Аристакесян.

Мы все уже успели подружиться. Надо было перезимовать в Норашене. Минаев поручил мне, Зубакяну и Мурадяну найти место для зимовки. Мы тронулись в путь верхом. Доехали до северо-восточных склонов Нахиджеванских гор. Здесь был большой тополиный сад, место было очень удобное. Отметили на карте и вернулись. Наше предложение было принято, и мы разместились на выбранном нами месте. Однажды я сказал Минаеву:

— Отпусти меня в Капан, повидаясь с сыном, приду.

— Много работы, нужно готовиться к зиме, но ты иди и скорей возвращайся.

Я поехал в Капан, повидался с сыном, и вернулся. Зима была суровая, но ни одного больного у нас не было. Коней не было, так как был приказ распустить конные вахты как не оправдавшие себя. На зимних школьных каникулах Мария вместе с сыном приехала меня проведать. С тех пор до самого окончания войны я её больше не видел. Начали расформирование вахты. Мы сдавали документы и имущество. В апреле пришёл мой приказ — я должен был ехать в Тифлис на переподготовку. Я попрощался с Минаевым и в мае 1942 года уже был в Тифлисе. Здесь нам давали уроки по военной стратегии военному искусству, обучали основам маневрирования. Питались мы по норме. Я оказался в группе переводчиков как специалист по турецкому. Занимались также физическими упражнениями. Новости с фронта до нас не доходили, мы ничего не знали. Однажды вошли и прочитали несколько армянских фамилий, одна из которых была моя. Мы пошли в штаб. Перед этим встретили на улице армянских офицеров. Выяснилось, что армян направляют на Крымский фронт, пополнить потери армянской дивизии. Потери были большие — был убит дух армянской дивизии, полководец Закян. Было грустно. Плохое впечатление было ещё и от того, что куда бы ты ни пошел, везде были грузины — от швейцара до начальника охраны. Они, казалось, уклонялись от службы под предлогом обеспечения тыловой безопасности. В штабе нас стали «обрабатывать», воодушевлять:

— Армянские храбрецы, вам предстоит заменить ваших погибших братьев-героев, самозабвенных защитников Родины. Родина зовёт вас! Товарищ Сталин...

Дошли до Новороссийска. Дымилась полуразрушенная станция. Вагоны сгорели, остались одни скелеты. Мы остановились на несколько недель на сборном пункте военной части. Город постоянно бомбили. Бросалась в глаза точность бомбёжки, как по мишени. Это свидетельствовало о хорошем уровне шпионско-диверсионной работы, проведённой немцами. По ночам мы замечали лучи света, направленные из города, но никто ничего не мог сказать. Каждый бы занят своим военным объединением, своими личными проблемами. С одним армянским пареньком мы вышли на поиски еды. Попали под бомбёжку. Было уже поздно. Вернулись с пустыми руками, однако наша часть была пустой. Мы впали в отчаяние. Куда ушли, как мы к ним присоединимся, где наши личные вещи — мы ничего не знали. Я подумал, что пакет с моими вещами наверняка взяли мои друзья. Встретил одну из последних нагруженных машин и с криком бросился к ней — другого выхода не было. Вечером прибыли на Кубань — полуостров Таманский. Единственное, что было нам сказано: «Размещайтесь, кто где сможет». Не смогли найти места. Последовали за русскими и украинскими группами, но они и сами едва уместились, и мы снова остались вдвоем. Был вечер — холодный и мрачный. Нужно было спешить, иначе бы все двери закрылись. Последней надеждой была контора сельсовета. Нашли её расспросами. Здесь нам ничего не смогли сказать, оставив нас без надежды, ушли.

Остались только две старшекласницы, по всей видимости — комсомолки. Они должны были остаться. Оставались только мы и они. Это было сюрпризом. «Нам повезло, — подумали мы — только эти голубки и мы».

— Вы будете дежурить? — спросили мы.

— Это вас не касается.

— Но мы останемся здесь, нам больше некуда идти.

— Нам-то что? Это нас не касается.

Воцарилось долгое молчание. Мы искали средства сблизиться с ними. Они были молоды, их интересовал флирт, а времени на него у нас не было. Время шло. Мы стали искать возможности пообщаться. Они очень осторожно уступили, отвечая нам скупыми словами. Пользуясь случаем, попробовали дойти до лёгкой цели, но ничего не вышло — они убегали. Мы превратили это в игру — сначала в прятки, а потом в жмурки. Но они слишком хорошо понимали, чего мы хотим. Здесь ещё не был популярен принцип «Все равно война, давай!». Как назло, зазвонил телефон, и мой воодушевленный друг сам взял трубку. Дело совсем испортилось, так как им звонили из дому. Ничего не вышло. Ночью спали у них под ногами.

Утром мы едва дошли до части, они уже отправлялись. Доехали до Анапы. Здесь мы встретили наших армянских ребят. Расспросил о своих вещах. Никто ничего не знал. Я лишился документов и фотографий. Мы собрались на подступах Тамана. Ждали темноты, чтобы сесть на судно. После её наступления было приказано потихоньку подняться на судно по шаткому деревянному мосту. Судно осторожно, замаскированно направилось к противоположному берегу, туда, где шли бои. Каждую минуту мы могли попасть под бомбёжку, но повезло — наше путешествие было безопасным. Вскоре рассвело. Утро было облачным. Мы прибыли в восемьдесят девятую армянскую дивизию. Представились полководцу — не помню, был это Васильян или же Бабаян. Он разъяснил некоторые обстоятельства, сказал, что дивизия сломана, потеряла свои основные силы и была направлена в тыл — на пополнение. Полководец Закян убит. Часть моих документов была потеряна, однако и тех, что остались в карманах, оказалось достаточно. Меня назначили командиром 1-го взвода, 2-й роты, 3-го батальона. Командир роты повёл меня представлять «залатанному» взводу. Расспросы не заняли много времени — мы сразу стали готовиться к бою — с минуты на минуту ждали нового нападения. Состояние наших сил было очень тяжёлым — наступающий противник был хорошо вооружён и сыт, а мы... Положение было безнадёжным, однако разочарования не было. Нас не пугала устрашающая непобедимость гитлеровских войск — было больше ненависти, чем ужаса. Мы долго ждали. На нашей стороне всё было в высшей степени не организовано. Посреди поля, в палатках, вокруг нас — полно других частей, все в таком же убогом состоянии. Начали бомбить нашу и без того разрушенную стоянку. Они ещё не нападали в полную силу, поскольку старались помещать объединению наших частей. Казалось, они в ужасе ждали от нас ответного удара, а мы... Крым был полон нашими войсками, но были они разрозненны, не связаны друг с другом, не организованны. Мехлис и Буденный были нашими командирами, представителями высшего штаба, были имена — безымянных не было. По ночам «немецкие ястребы постоянно бомбили» — была непрерывная воздушная тревога. Поверьте, фашисты уже порядком устали, и, если бы мы в тот момент наступили, им бы плохо пришлось. Эти бесконечные воздушные бомбёжки свидетельствовали об одном — они старались выиграть время, собраться с силами. Нам было необходимо нападать, откинуть их назад. Но не было тогда мудрого руководителя.

Каждое утро мы поднимались, кидались во все стороны, чтобы узнать, какая часть пострадала больше всех, насколько она разрушена, кто погиб. Каждый день ждали мы пополнения и пополнения боеприпасов, но оно опаздывало. Полноценно восполнить свои силы так и не удалось, вооружение осталось несовершенным. В моем взводе не хватало 4–5 ружей, не дали лёгкого пулемета, гранат, отсутствовали противотанковые мины, не было запасов продовольствия. А в один вечер приказали двинуться с наступлением сумерек на первую линию. Готовиться было нечего — мы и так были на ногах. Начали двигаться вперёд. Шли молча, в тяжёлых думах. Тёмная ночь, и едва вооружённые, полуголодные люди... Каждый думал про себя: «Это войско или пушечное мясо?». Долго ли мы шли или коротко, но остановились. Вместо того, чтобы поспешить (ночная мгла была единственной возможностью избежать крупных жертв), мы замедлили шаг и остановились — части потеряли ориентир и смешались друг с другом, мешая общему движению. И без того короткая ночь была на исходе. Наконец мы снова двинулись, но ненадолго. Рассвело... Мы обнаружили себя на большой равнине, довольно далеко от первой линии, в положении, беспомощном под дулом врага, как на ладони. Через пять минут небо потемнело от обилия бомб. Помимо пехоты, к бомбардировке присоединилась и авиация — истребители прилетали, «разгружались» и снова возвращались. Побег, переполох, причитания. Это было похоже на адское представление, вид кровавого алтаря. На моё счастье, бомбы разрывались далеко от нас, поскольку основной удар пришёлся на смешавшиеся, впавшие в панику части. Мы же находились под скалой с широким проходом. Бомбардировка ослабла и потихоньку сошла на нет. Мы избавились от напрасной и бессмысленной гибели. Воздух очистился, можно было оценить ситуацию. Нашим глазам предстало ужасное зрелище: дороги, горы и низины — всё было усыпано частями человеческих тел, все убегали, кто как мог. Это нельзя передать словами. Я снова оказался в аду. Мы тоже решили двигаться назад вместе с теми, кто бежал в панике. Вдруг, подобно ливню, на нас набежало тёмное облако. Мы сразу решили, что противник прорвал первую линию, но оказалось, что это наши — они бежали, побросав шинели, оружие, шапки... Мы поняли, что оставаться неразумно, и последовали за ними. Не успев став фронтовиками, мы пустились в бегство. Отовсюду слышались выражения недовольства и ругань в адрес нашего руководства. Мы не знали, где мы, где наши, где враг. Мы отступили настолько, чтобы переночевать в более-менее безопасном месте. Открыли глаза на рассвете, в сумерках. Вдруг к нам направились букеты ярких разноцветных лучей, они поднимались и опускались. Вскоре мы поняли, что это специальные световые знаки, подаваемые противником. Необходимо было бежать — враг был совсем близко, а никакой возможности оказать сопротивление у нас не было, потому что мы не были даже военной единицей. Мы сразу попали под густой огонь. Я остался невредим, несмотря на то, что в нашей группе почти никого не осталось (О, судьба... в который раз!). Когда оторвались, смогли свободно вдохнуть. К вершине шла тропа, мы стали подниматься. Немцы остались внизу. Был полдень, к нам присоединились ещё несколько групп, и мы достигли вершины. Здесь были позиции, укреплённые автоматами, и мы решили занять их, пока всё не выяснится. Среди нас был некий капитан, которому и было поручено командование. Он приказал укрепить огневые точки и наблюдательные пункты, определить расстояние и встретить противника огнём. Кроме ружей мы достали ещё и легкий ручной пулемёт. Вскоре немцы стали наступать в сопровождении одного танка. Был у нас и гранатомет. По всей видимости, они ожидали, что вперед кинутся главные силы, расположенные на левом крыле. Это было наше правое крыло, и наши основные силы были сосредоточены там. Темнело. Мы готовились к ночному бою. Чуть ниже нас виднелись готовые к наступлению наши танки. Решили нанести контрудар. Этот удар должен был стать решающим — мы или продолжили бы своё бегство, или сумели бы остановить противника. Наши танки, параллельно с пехотой, перешли в наступление. Нас оглушил шум и ропот. Немцы отступили, нас настигла мимолетная радость. Но вдруг танк, идущий впереди нас, загорелся. Следующий за ним второй танк тоже стал гореть, и,

развернувшись, пошёл назад, увлекая за собой готовую к наступлению пехоту. Третьему танку уже нечего было делать. Из немецких рядов слышались смешки и шум. Капитан с сожалением приказал покинуть укреплённые позиции — снова мы, сломя голову, убегали. Грянул гром. Мы поспешили — начинался дождь. Потеряли друг друга в темноте. Остались мы — два товарища-армянина. Нужно было решать, что делать дальше. Нашей задачей было правильно сориентироваться, определиться, каким путём двигаться назад, к нашим войскам. Нам помогали вражеские световые сигналы, отпускаемые ими время от времени. Движение было затруднено — грязь, темнота, в шинели, в шапке, с вещами. Вдруг послышалось постукивание телеги. Мы заострили внимание — точно, это была телега, она двигалась по направлению к нашему движению. Нужно было догнать. Догнали, но проку в этом не было — она была набита людьми. Лошади едва тащили её. Попросили взять хотя бы ружья. После долгого хождения возле какой-то развилки мы слышали шёпот. Подошли, увидели луч света. В яме, накрытой палаткой, не было места:

— И нам дайте немного места, — подал голос мой друг — мы устали, не можем идти.

— Проваливайте к чёрту, нет здесь места.

— Товарищи, неужели нельзя чуть-чуть потесниться?

— Найдите другое место, вон в той стороне поищите, — и закрыли просвет палатки.

Мы продолжили поиски другого пристанища, но напрасно. Только истратили последние силы и время. С рассветом дождь прекратился. Утром мы попробовали найти более-менее сносное место, чтобы присесть, но не нашли. Отчаявшись, стали копать землю, чтобы присесть на сравнительно более сухой земле. Сели и сразу стали отжимать одежду. В какой-то миг заснули. Вскочили от каких-то звуков. Прислушались и разобрали несколько армянских слов. Подозвали, познакомились и соединились, стали одной группой. Немного запоздавший день стал теплеть, вышло солнце. Все мы хотели пить. Было много ямок с дождевой водой, ребята стали пить. Я тоже попил, думая, что моему уставшему телу это придаст сил. Но это стало для меня губительным. После нескольких шагов я стал идти медленнее, отставать, ноги стали тяжелеть. Друзья заметили это, попытались помочь, но ноги мои совсем онемели. Я не мог ступить ни шагу. Боли не чувствую, но и двигаться не могу. Попробовали понести меня на плечах, не получилось. Я стал просить:

— Оставьте меня... уходите, — просил я.

— Мы тебя не оставим, на себе дотащим.

— Не надо, опоздаете, попадёте к врагу. Оставьте меня.

Новые знакомые ушли, а мой друг остался. После долгих мучений он понял, что должен оставить меня здесь, другого выхода нет. Я остался один. Я знал, что наши в панике, и что помощи не будет. Так и вышло. Я стал ползком отступать. Спустя 4–5 часов смог подняться на ноги, но едва ими передвигал. Иду и считаю: Один, два, один, два... Вот досюда. Не оборачиваться, не надо смотреть назад. Меня не видно, не видно... Я был уверен, что наши соберутся там, откуда мы двинулись на фронт, а это место было не очень далеко, нужно дойти до них, только бы немцы задержались, чтобы я успел. Ноги едва двигались. «Один, два. Опаздывают, дождь и их связывает, это тоже удача!» — Я перемещался, разговаривая сам с собой. Вдали появился тот гарнизон, откуда мы вышли

пару дней назад. Я двинулся в эту сторону. Был уже полдень. Я подумал, что можно подать голос, позвать на помощь. Там виднелись солдаты. Сколько я ни звал, сколько ни кричал — не слышали. Никто на меня внимания не обращает, на меня не смотрит. Потихоньку подошёл к ним — это были не наши ребята, а из другой части.

— Товарищ солдат, что это за дивизия?

— Это бригада особого назначения, а ты из какой части?

— Из армянской дивизии, вы не знаете, где можно найти наших?

— Нет, откуда нам знать?

Немного ниже раздавали еду. Подошёл, попросил, чтобы и мне дали поесть. Не дали. Огорчённый, опешивший разочарованный, я пошёл назад. Внизу под деревом мои глаза закрылись, я заснул. Открыл глаза. Вблизи никого не было, я был один. На другой стороне пролива виднелись несколько укрытий. На этом берегу никого не осталось. Посмотрел наверх — не было и дивизии особого назначения. Я поторопился, день уже закачивался. Попробовал встать, но опять не смог. Снова стал упрямо себя тащить. Дошёл до пролива с грязной водой. Нужно было найти опору, хорошую дубину. Поискал, нашёл. Одновременно выбрал маршрут. «Я был лучшим пловцом в приюте Трабзона, — сказал я себе, — здесь ли мне колебаться?» Дошёл до другого берега. Из последних сил доплыл до укрытия. Они только ушли, трава была сухая. Отжал одежду и шинель. Прямо так и лёг на доски и снова заснул. Открыл глаза и понял, что я снова один, никого кругом нет. Я был один, никого не осталось. С того берега опасности пока не было. Поспешил встать — мое состояние не изменилось, никакой разницы, ни к лучшему, ни к худшему. Потихоньку пошёл вперёд. Появились деревенские дома. Наконец я дошёл до этого населенного пункта. Надо было определиться, куда идти. Фашистов видно не было. Была надежда дойти до наших. Посмотрел на четыре стороны. Кто-то стоял у дороги. Он смотрел в мою сторону. Я посмотрел на него, но расстояние было велико, мне было трудно определиться. Чуть позже мы обнялись:

— Дживан, что с тобой? — это был Сурен Товмасын, первый секретарь райкома.

— Мне плохо, но ничего... Что вы делаете, где дивизия, как дойти до них? Ноги не выздоравливают.

— Пойдём, пойдём, — он потащил меня в землянку, где занимался делами политотдела. Он ждал транспорта. — Некогда разговаривать, Дживан, пей горячий чай, ешь, сколько хочешь, может, что и получится — окрепнешь, ноги отдохнут. Сними шинель, пусть высохнет — машина опаздывает. Неприятель вот-вот появится, спеши, ешь. Это поможет тебе. Рот мне не подчинялся, я жевал медленно. В уме ругал свои челюсти: «А ну работайте, глупые, разве нет еды, что еще вам нужно?» Я не чувствовал вкуса еды, глотал не прожёвывая. Поел масла, горячего чая — жаль, было только две кружки.

— Спасибо, товарищ Товмасын, какая удача! Теперь куда мне идти? Где наша часть?

— Ты пока походи, посмотрим, как ты... Есть ли разница?

Я походил. Разницу сразу отметил. Он всё понял.

— Отсюда в ту сторону находится маленький овражек. Там штаб третьей дивизии, ты его найдёшь. Только спеши. Не опоздай. Погоди, открой карманы, возьми это, еще за пазуху положи — съешь по дороге, ты нормально не поел.

Так я и расстался с Суреном Товмасяном, который в то время был начальником политотдела нашей дивизии. Мы с ним работали в Капане. Он был первым секретарем района, а я директором первой интернациональной школы и учителем армянского языка и литературы в старших классах. Пришёл в штаб. Никого, только старшина роты. Собирали остатки провизии. Мне сказал, что все ушли на противоположный холм. Собираются занять на другой его стороне оборонительные позиции. Пошёл за ротой. Пока они размещались, я нашёл выделенный мне отряд. Мой помощник — Оганян из Кировабада давал указания ребятам. Я уже пришёл в себя, окреп. Изучил местность. Вопрос огневых точек не был решён. Нам заявили, что в такой-то точке вершины находится вооружённый пункт, нужно связаться с ними и пополнить запасы. Вечером группа минометчиков устроилась над нами. Это было для нас опасно. Попытался уговорить, чтобы они немного отошли, иначе мы попадем под прицельный огонь противника в случае обнаружения. Не послушали. Было ясно, что при обнаружении они будут бежать, а мы останемся, давая напрасные жертвы. Вечером пошли искать точку боеприпасов. Было очень темно, ничего не было видно. Долго искали, но так и не нашли. Стало не по себе — нужно было отдохнуть, ночь уходила, а мы всё ещё метались туда-сюда. Я приказал возвращаться, но теперь мы потеряли ориентир на исходную позицию. Дошли до своих только утром. Они ждали, что мы придем с пулями, но мы были с пустыми руками. Появился неприятель. Собирались вокруг танка — в нашем направлении. Мы посмотрели на левое и правое наше крыло. Войско большое, люди раскинуты по всей линии. Неприятель собирался кучками и обязательно позади танков. Не двигаются, не спешат. И мы пока не атакуем. Танк стал стрелять в нашу сторону, наша позиция была видна. Наконец, стал стрелять и наш миномёт. Не знали, радоваться, или... Посыпался такой огонь, что мы просто не могли высунуть головы. Только и было слышно:

— Товарищ командир, такой-то ранен.

— Такой-то весь в крови.

— Помогите, медбрат! Политрук ранен в голову!

Не могу поторопить врача на помощь — слишком густой огонь. Враг палил по верным мишеням. Наш миномёт умолк и исчез. Враг тоже умолк. Оказалось, что рана у политрука не смертельная, легкая.

— Оганян, — сказал я — поторопись, отойди. Поспеш, пока не стреляют.

Он с повязкой на голове медленно отполз. Пользуясь затишьем, санитар бросился к раненым — некоторые были тяжело ранены, остальные легко. Враг уже наступал, собравшись вокруг танков. Я огляделся — наших неорганизованных частей уже нет, отступают последние остатки.

— Я, мать их, предателей-командиров! — Услышал я ругань командира соседней роты, что был родом из Гориса. Жестами согласились, что нужно отступать, но только быстро и ползком. Противник, заметив наш побег, стал стрелять. Были сумерки. Что сказать — раненым мы так и не смогли помочь, тяжёлые остались лежать. Вспомнил слова из напыщенной речи: «Мы первые ступим на землю врага...» и с гневом посмотрел на нашу отступающую армию. Где были результаты ударных пятилеток? Легенды



о вооружённых силах страны? Не было ни командования, ни вооружения. Бежали мы по направлению к Гамуш-Буруну. Была тёмная ночь. Горели огромные резервные склады, социальное имущество, а мы — в лишениях. Не было покоя, не могли сидеть, не могли поспать. Мы шагали группой армянских парней. Утром, найдя хороший берег, остановились искупаться. Пяти минут покоя не давали, бомбили, гнали, как пастух гонит своё стадо. Мы встали и начали поспешно отступать. Дошли до властвующих над окружением вершин. Неплохо оторвались от вражеского преследования. Сказали, что здесь мы расположимся. Вечером враг двинулся на нас. Опять танки, сильный воздушный удар и обстрел. Против это стояла только наша беспомощность. Мы не открыли сильного огня, потому что были вооружены, главным образом, ружьями. Снова отступили, шли и шли. Но до каких пор? Страна наша была большая... Враг стал давать дальние залпы — для разгона наших сосредоточий, для нашего хаотичного побега. Мы бежали, согнувшись в три погибели, бросаясь во все стороны. Жертвы были бесчисленны (какие 20 000 000!) раненым некому было помогать. Не было общего командования, так что поиски еды были предоставлены нашей предприимчивости. Я должен был возглавить армян. Я, взяв двоих ребят, вышел на охоту. Пошли в тыл, расспросили — ничего хорошего найти не удалось. С пустыми руками вернулись к нашим. Некоторые уже покинули группу. Был рассвет. Грустный, поднял я оставшихся на рядовую проверку, как вдруг кто-то, услышав армянскую речь, подошёл и встал напротив нас.

— Что, товарищ Дживан, войско свое проверяешь?

— Да, товарищ Товмасян, нас 10–13 человек, — и, обращаясь к шеренге, скомандовал: рассчитайсь! Нас девять человек.

— Вы одни?

— Да, товарищ Товмасян.

— Хорошо, успехов вам, не мешкайте.

И ушёл — грустный, с понурой головой.

На горизонте появились немцы, мы стали отступать — нас было слишком мало.

Все мы как один взялись за дело. Враг стал активнее, но на вершине царил тишина — кроме нас никого не было. Политрук отправил солдата на правый фланг — проверить положение соседей. С этой стороны опасности было больше, поскольку местность была ровная, прятаться было негде.

— Товарищ командир, нет никого из наших, только немцы идут сюда, скоро захватят нас.

— Скорее, бежим к городу!

Мы побежали. Подошедшие немцы обрушили на нас огонь. Мы были вынуждены спрыгнуть со скалы и покатались к пропасти. Что стало с моими ребятами, с политруком — не знаю... Я обнаружил себя внизу, среди скопления русских. Я был уже на окраине города. Тут же несколько армян бросились друг к другу. Войско не собиралось отступать назад. Хотели идти в атаку. Кипели, в первую очередь, рыжие.

— Давай, на штурм... Я тоже этого хотел.

— Давайте, братья славяне, давайте на штурм!

Но как? — впереди немецкие танки и ряды автоматчиков, не идти же на смерть, не становиться глупой жертвой? Волна воодушевления спала. Началась паника. Опять каждый спасался, как мог. Это было постыдное, позорное бегство. Ликвидировались малые группы. Нужно было покинуть город. Положение было безнадежно. Опять собрались пятнадцать армянами. Немцы уже проникли глубоко в город, да ещё с двух сторон — с запада и с юга. Я пошёл в кусты — облегчиться. Мои товарищи бежали в панике. Не знаю, как, но я снова остался один. Пошёл к берегу, откуда доносились автоматные очереди. Вскоре присоединился к нашему войску, ведущему уличные бои. Было уже ясно, что мы ищем себе пути выйти из города, поскольку он уже сдан. Стемнело, когда мы вышли на южный берег у города. Я был единственным армянином. Все собирались переночевать под прутьяными навесами. Мне много не надо было. Бросил в рот порцию сухариков и заснул. На рассвете стало ясно, что немцы окончательно захватили город. Гуляли под руку с девушками и молодыми женщинами. Нужно было скорее покинуть пределы города. Ведя короткие бои, дошли до Волховского завода — было решено на нем укрепиться. Завод был похож на незахороненный скелет — остались одни голые стены.

Под вечер в сопровождении танковых линий появились немецкие автоматчики. Послышалось несколько противотанковых залпов, и всё смолкло. И здесь они не использовали ночных полетов, и не двинулись вперёд. Они были так близко, что мы даже различали голоса воинов. Мы тоже решили притихнуть. Утром стало ясно, что враг продвинулся по нашему правому флангу и находился у нас в тылу. Их цель была ясна. Что нам оставалось делать? Можно было лишь надеяться, что ночью они переберутся на другой берег.

Кое-где, вступая в короткие сражения, почти без жертв дошли мы до деревни Капкан, находившейся на берегу прилова. Это была последняя позиция — отступить было некуда. С одной стороны, была опасность попасть в окружение, с другой — несказанная трагедия — все отступившие воинские части собрались на берегу пролива, по всей его длине, им предстояла участь пушечного мяса. Торопились спастись, перейти на материк. Сначала кому-то это удавалось, по-моему, даже пару раз перемещались на судах, но этим всё и ограничилось... Войско ждало, но больше не появилось никаких кораблей, никаких перемещений больше не было. Немцы успели подогнать артиллерию, и на этом вся надежда пропала. Даже воздушная бомбардировка в такой ситуации была ни к чему. Весь перешеек попал под прямой прицельный огонь. Стреляли днем и ночью. Кто-то пытался бежать, доверившись обманчивым деревянным мостам и переправам по плотам, однако среди них жертв было ещё больше.

Мы были в деревне Капкан, и нам было больше некуда идти: ни вперёд, ни назад, ни вправо, ни влево. Позади была морская пропасть, впереди — линия фронта. У нас был тяжёлый пулемет «Максим». Несколько русских всё время бегали туда-сюда и стреляли. В основном по этой причине враг не стал к нам приближаться, и не было нужды давать ружейные залпы. Стоявший перед нами левый вражеский фланг понимал это и не шёл вперёд. Спокойно ждали основательного группирования своего правого фланга. Их автоматчики не могли приблизиться больше, чем могли это позволить наши ружья Мосина. Пользуясь передышкой, мы стали укреплять свои позиции, пополнять запасы еды... Они были, нужно было только найти.

Я был единственным кавказцем. Был второй полдень в Капкане. Я нашёл себе большую, глубокую позицию. Разместились над селом. Находящаяся чуть поодаль от нас, линия

горного склона была уже занята немцами. Нам оставалось только защищать хутор. Я встал, поправляя свою позицию, как вдруг кто-то упал сверху в моё укрытие. Пока я удивленно смотрел на него, он сам всё объяснил: «Адербеджанли ям? — потом, поняв, что я армянин, добавил на ломанном русском, — эти белобрысые ограбили меня, отняли мой пакет. Когда рыл укрытие, заметил, что ты чёрный, подумал — точно, армянин, и пришёл». Мне стало жаль его, я спросил: «Кто это сделал, кто они были такие?». Он показал. Я на правах офицера командования набросился на них. Они сразу растерялись и передали мне мешок. Мы с ним оба очень обрадовались, поскольку у меня не было еды, а в его мешке было всего достаточно. Я расспросил его. Он был бакинец, водитель, звали его Мехмед. И этот день прошёл в обмене перекрёстным огнем. А трагическая морская сцена продолжалась — прибрежные части терпеливо ждали, что вот-вот придут транспортные средства, а немецкая артиллерия не умолкала. Отовсюду слышались крики о помощи.

Вечерами мы оставляли свои окопы и шли в деревню, бродили в поисках еды. И в тот вечер мы спустились в сторону прибрежных скал, изучая возможности перехода на другую сторону. Это был реально для нас обоих, поскольку я был лучшим пловцом приюта, а он говорил: «Я бакинец, и значит — хороший пловец». Нам оставалось только раздобыть плот. Пообедали. Сварили в своих котелках обед на маргарине из последних остатков муки. Спать было легко — закрываешь глаза, и открываешь их на рассвете. О снах рассказать трудно — то они были прекрасными, то — адскими, жестокими... Во всяком случае, рассветает специально для тебя. Если ты проснулся, значит, ты жив, счастливчик.

Утром нашему взору предстало жуткое зрелище — весь берег был усыпан трупами, с моря дуло трупным запахом. В тот день было решено заняться спасением наших жизней. За деревней, в одном овражке, было несметное количество брошенных машин. Были ли они исправны — мы не знали. Мы с жаром бросились на них. Снимали и разбирали колеса, и, хотя мы спешили, это дело заняло весь день. К вечеру, собрав свою добычу, мы пошли к морю. Палки, доски, веревки — связали всё, что могли, и сделали что-то вроде плота. Не успели — стемнело. На следующее утро мы полностью закончили работу с плотом и переправились на тот берег. Подошли к берегу. Вода была холодная, пахла трупами, предвещала что-то зловещее. Подумали, что, если плот станет тонуть, мы сумеем вплавь добраться до другого берега.

В этот миг заметили, что какой-то солдат плывёт в сторону нашего берега. Почему он плывет сюда, зачем? Кажется, он отметил наше удивление:

— Не плывите туда, — говорит, — на глупую смерть.

— Вы ничего не сможете сделать. Это выше всяких сил, там круговорот. Я спасся только потому, что вернулся.

— Мы хорошо плавать умеем.

— Сами знаете, хотя... не стоит идти навстречу смерти. К тому же, стреляют... Больше уговаривать не стану... Хотите, можете и мою доску взять. Слава Богу, я доплыл до берега. Холодно...

Мы остались стоять в холодной воде. Я посмотрел на него — он говорил с добротой.

— Так ты говоришь, не плыть, добрый человек?

Он больше не ответил, упал на песок и заснул. Нет. Как решили, так и сделаем, пусть будет по воле судьбы. Вышли из воды. Пошли приготовить поесть и снова вернулись к своим позициям. Что делать? Неужели не будет помощи? В те дни говорили о подкреплении. Но в это уже не верилось. Верилось в то, что было у нас перед глазами. Верилось в эти трупы, прибитые к берегу, которые колебались на волнах. Вечером мы опять забрались поспать в скалы. В деревне всё время что-то двигалось — грузили и увозили. Я сказал кому-то из ребят:

— Почему сельчане грабят государственное имущество, это плохо.

Он с улыбкой посмотрел на меня.

— Нет, товарищ, они решили уйти в партизаны. Ты понял?

— Понял, — ответил я, — они молодцы. Да, начиналось подпольное партизанское движение.

Ночью мы не заснули — слишком много стреляли:

— Мехмед, ты говоришь, семья у тебя в тяжёлом положении, тебя вспоминают?

Он тяжело вздохнул:

— Вспоминают или нет, а зачем мне их память после смерти?... Как хорошо было на Кубани! И зачем я приехал... сюда, тьфу!

— У меня сын, Мехмед, во всём мире больше никого нет.

Наконец, в предрассветных сумерках, нам удалось заснуть.

У тебя есть партбилет? Порви и выброси

Начался облачный мрачный день. Стрельба, бомбардировка, как с фронта, так и с флангов. Значит, кольцо сжимается. Наши огневые точки замолчали. Враг вогнал нас почти в самое море. Мы бежим от позиции к позиции, от пункта к пункту. Невозможно поднять голову. В вырытой нами яме Мехмед залез мне под ноги, не оставив мне места спрятать голову. Мы оба были в одной яме. Вдруг воцарилась непривычная тишина — вокруг всё смолкло. Тишина была зловещая. Мехмед выбрался из-под меня, оглянувшись по четырём сторонам.

— Армянин, туда смотри, все идут с поднятыми руками.

Увидели, что у нас над головами, в скалах, стоят немецкие автоматчики, и, направив на нас дула ружей, повторяют:

— Komm, komm!

Мы вышли — наши отряды идут, подняв руки вверх.

Мехмед сказал:

— Пойдём.

— Пойдём, — ответил я, — попадёмся — так тому и быть, посмотрим, что будет.

— Komm, komm, komm!

Из-под скал, из окопов, из ям, с берега моря собирали наших.

Какой гордый вид был у щенков, кричащих: «Komm!». Казалось, мошки собирают овец. Мы шли с понурыми головами, согнувшись под грузом позора, сломленные, столпившись всем поражённым войском. Стоявшие на вершине недалеко друг от друга автоматчики не спускали с нас своих взглядов и дул ружей. Они были победители, мы должны были подчиняться. Некоторые, играя оружием, подтрунивали над нами. Немецкие солдаты подавали жестами знак подходившим пленным сорвать погоны и звезды. Так и делали. Мы тоже исполнили этот «ритуал» и присоединились к столпившимся. Нам не давали столпиться всем вместе, тут же делили на небольшие группы. День шёл к вечеру.

— Мехмед, — сказал я, — сегодня 20 мая, 1942 год, Керчинский пролив, село Капкан. Запомним, не забудем, как нас вынудили сдаться в плен из-за их неорганизованности. Кто смог — бежал, и никакой помощи не было, никого не заменили. Сколько бессмысленных, безвременных жертв, сколько человек утонуло!

Потом стал думать про себя: «О, судьба, я верю в тебя! Вот уже в который раз я остаюсь в живых».

Вскоре пленные отряды объединили, а сами стали охраняющей группой. Прежде чем погнать нас, подвергли обыску и грабежу. Было это на ровной местности, находившейся довольно далеко от пролива. Спешили. В нескольких местах заставили постелить навесы и приказали, чтобы мы высыпали на них всё своё имущество, в противном случае — смерть. Мехмед обратился ко мне:

— Друг, у тебя есть партбилет?

— Есть — ответил я.

— Порви и выброси, убьют, они коммунистов в живых не оставляют.

Я, воспользовавшись тем, что они заняты, сориентировался — не порву, а как-нибудь спрячу здесь. Я зайцем прошмыгнул к лежащему в отдалении большому плоскому камню и стал быстро под ним копать. Оставил партбилет там и мигом вернулся. Только оказавшись опять в толпе, смог спокойно вздохнуть. Стемнело, становилось всё строже и строже. «Бстре, бстре, скоро... бум».

У меня остались часы, подаренные мне профсоюзом Капана за хорошее руководство. Я их спрятал у себя между ног (привязал к гениталиям). Нас погнали назад. Снова мы были на Волховском заводе, в Керчи. Была ночь. По тихим улицам города нас быстро привели на западную окраину. Дошли до срезающей город ограда железнодорожных путей. Здесь нам разрешили высыпать на землю до рассвета. Мы легли и заснули.

Нас разбудили, был рассвет. Дороги едва высохли. Нас гнали назад — в глубины Крыма. Здесь мы смешались с новым потоком пленных. Еда, вода — о таких вещах думать не приходилось. Кто выдержал — тот выдержал, остальных ждала смерть.

По дороге мы встретились с румынскими войсками, идущими на фронт. Они смеялись над нами ехидно издевались. Они — победители, мы — побеждённые... Жалкое зрелище.

Я и Мехмед уже нашли новых друзей. Я был в группе армян, он — азербайджанцев. В последний раз разогрели на маргарине остатки еды и раздали среди всех нас поровну. После этого мы расстались. Он с радостью присоединился к своим азербайджанцам, я — к армянам. Особенно сблизились между собой ребята из Ленинакана.

По дороге я заметил, что среди пленных были и девушки. Охрана уводила их с собой — они были любители развлечений. Нужно сказать, что и девушки тайком протягивали руку некоторым из пленных. По дороге нам встречались разлагающиеся трупы, павшие кони. Хотелось пить. Мне всё время виделись озера — это были миражи. Наконец, дошли до какого-то маленького озера. Издали заметили, что девушки заняты стиркой. Нам разрешили группами подходить к воде, пить и сразу возвращаться.

Так и продолжали мы идти дорогами пленников.

За всё это время мы не увидели ни одного населенного пункта, не получили еды.

Сколько бы ни было пленных, а блох было в миллион раз больше. Это было невыносимо — мы горстями сбрасывали их с себя. Как будто в тело вонзали огненные стрелы. Они сжирали нас до мозга костей.

Среди пленных распространились не только тиф и блохи, но и разнообразные отвратительные группировки. Особенно притесняли остальных «продажные» и разбойники.

Там были обработанные степи Украины. Всё это превратилось в плантации немецкого фашизма, а народ Украины — в рабов. Увидели, как используют колхозную систему новые немецкие хозяева. Это был оригинальный «базис» для перехода к новому виду рабовладения. Всю рабочую силу сгоняли на поля и заставляли под охраной работать. Когда мы проходили мимо них, нас не допускали к общению, хозяева гнали от нас подальше, чтобы они не успели ничего нам передать, тем не менее, им удавалось выстроить по длине улицы кувшины крынки с водой, бросить издали на дорогу свои съестные запасы. Наверное, у многих из них были пленные мужья, сыновья. Конечно, офицеры кидались вперед, отнимали куски хлеба. Я не смог воспользоваться этим добром. Если кто-то из пленников не мог идти дальше, его расстреливали.

Одним прекрасным утром, после долгого хождения по дорогам, нам дали чуть-чуть передохнуть, чтобы немного сжать наши растянувшиеся ряды. Вдруг я заметил совсем рядом зелёные побеги созревшего винограда. Можно было, прямо не вставая, чуть-чуть потянуться и наесться им досыта. Я сорвал несколько гроздей, и — трах! — удар пришёлся по моей шее. Удар был ужасным — у меня потемнело в глазах. Я поднял глаза и увидел, что надо мной стоит немецкий щенок-автоматчик. Дал понять мне жестами, мол, зачем рвёшь, ведь он ещё не созрел, пусть созреет, люди воспользуются. Можно подумать, я дикарь, и этого не понимаю. Я в гневе стал объяснять ему, мол, а я не человек? Мне с голоду умирать? Он удалился.

Однажды вечером в какой-то пустынной местности нам разрешили прилечь на ночь. Одна из групп разбойников занималась грабежом. Сорвали с моего плеча мой маленький мешок, в котором было немного еды, остатков той самой поджаренной муки. Я спасся, отойдя в группу наших ребят-армян.

На следующий день наш многочисленный поток втиснули в заранее обнесенное колючей проволокой и охраняемое место. Там каждая группа устраивала себе место. Я решил пойти облегчиться, вернуться и заснуть. Заметил поблизости других армян. Подошёл и сказал: «Ребята, пусть мой мешок останется у вас, я отойду и вернусь».

Для этой цели по длине стены был предусмотрен специальный откос. Я быстро вернулся. Уже темнело, я искал их и не находил. Я кричал им: «Ребята, армяне, товарищи!» — но их не было. Мне показали, где они. Я подошёл: «Ребята, где мой мешок?». Ни звука. «Ара, — говорю, — вы не армяне?». Ни звука. Я стал тащить их:

— Вставайте!

— Чего ты хочешь, кто ты? Ты нам ничего не давал, уходи.

— Ребята, вы же армяне, отдайте хотя бы мешок, мне нечего на себя накинуть.

Каменное молчание, притворялись спящими. Не знаю, живы они или нет, но каждый раз, вспоминая о них, я чувствую отвращение.

В течение этого шествия пленников я нашёл своего друга, товарища по идеологии, Цолака Айказяна.

На каких-то сборных пунктах Крыма к нам присоединилась ещё одна группа пленных. Фактически, к нам присоединили спрятавшихся в катакомбах. Эти войны из верховий Волхова лучшим способом воевать посчитали не открытый бой, а тайный. Хорошим было то, что они показали организованность, не вышли, не сдались. Немецкие оккупанты были вынуждены прибегнуть к особым мерам, ограничить сроки, держать в осаде. В конце концов, они достигли своей цели, выкурив их, пригрозив голодной смертью, и с другой стороны — пообещав пощаду сдавшимся в плен. Мои ленинканцы были из их числа. Остальные... большинство были из-под Харькова.

На сборном пункте немцы произвели предварительный учёт и пересчитали нас. Хорошим было то, что нам стали давать хлеб — один на 4–6 человек, и водянистый отвар капусты, около двух шумовок. Выстраивали нас группами, у отдельного котла, наливали порцию, и быстро гнали в ряды получивших своё. Очень редко удавалось протиснуться в ряды ожидающих, чтобы получить порцию по второму кругу. Я и мой приятель из Капана — ветеринар Вазген — тоже решили попытать счастья таким образом. Удалось дойти до шумовки. Как только дошли до миски, получили дубинками по спинам. Еле убежали, смешались с уже получившими еду. «Ара, как он узнал, сволочь», — спросил Вазген. Дело было в том, что многие из пленных уже стали добровольцами как служители порядка, с надеждой в дальнейшем стать жандармами и надзирателями. Конечно, в этот раз нас разоблачили не они, а сам немецкий надзиратель. Вышедшие из нас эти жандармы, большинство которых были из числа «блондинов» (славян), были по большей части очень жестокими и бесчеловечными. Каких только подлостей они ни делали: и предательства, и грабежи.

Был солнечный день. В высшей степени истощенный, изнеможенный, с торчащими костям — для моего обессиленного тела даже ноги таскать было тяжело. Я падал на землю в полубеспамятстве и полуголый. Стояли рядом охранники-автоматчики. Один из них заметил спрятанные у меня между бедрами часы. Подошел и прикладом автомата коснулся моих ног.

Поднял голову, увидел, что он смотрит на меня. Знаками дал понять, что заметил мои часы, потом выразил готовность дать хлеба, конечно, в обмен на часы. Я инстинктивно отказался, ничего не хотел уступать врагу. Я упрямо не отдавал, а он очень спокойно, по-человечески, отошёл. Потом я часто размышлял о человечности этого воина. Ведь он мог просто взять и присвоить, зачем ему понадобились моя воля, мое согласие? Этот кусок хлеба так или иначе не решал вопроса, он не стоил бы моих часов. Но всегда буду помнить этого немца — он был сыном Человека. Дай Бог, чтобы он не погиб. Я эти часы — пригодными или непригодными, но всё же доставил на Родину.

Позже нас погрузили в грузовые вагоны, заперли и продержали в течение примерно одной ночи. Не было ни места, ни покоя — бездыханными трупами свалились мы с ног, и айда — к Днепру, подальше от фронта, в глубокий тыл.

Наш мучительный путь значительно облегчали наши воспоминания, размышления, биографии. Говорили мы с искренней убежденностью, с глубокой непосредственностью. Не щадили ни одного идола, ни одной догмы. Как случилось, почему, не должно было случиться. Я смотрел на наш отрезанный путь, на наш бесконечный путь, местный народ и их новых хозяев.

— Цолак, — спросил я, — это средневековые или возвращение римского рабовладения?

— Я туда добавил бы восточную кровожадность и гитлеровских оборотней.

— Цолак, видение это, или нет? Ты видишь это озеро? Синее, прозрачное озеро. Вот бы дойти до него, отдохнуть.

Цолак развеселился:

— Только кажется, что оно близко. Мы всё идём, идём и никак не дойдём до него. Я давно его заметил. А может, это Днепр, Дживан?

Это не было ни тем, и ни другим, но через несколько дней мы дошли до левого берега Днепра.

О мосте не могло быть и речи. Тем не менее, мы понимали, что нас здесь не оставят, переправят на тот берег. Без лишней суеты нас переправили на плотках и судах. Дав нам немного постирать и напиться, потащили в Николаевск. Это было одно из крупнейших сборищ пленных. Здесь нас должны были «рассортировать». Нас бросили в находящуюся на юге города казарму. Вопрос еды и питья был напряженным, несмотря на то, что что-то раздавали. В какой-то степени мы занялись самоочищением, хотя избавиться окончательно от врагов тела — блох — не удалось. Помню, что раздали котелки и ложки. Это была та самая точка, начиная с которой каждый из нас ожидал решения своей судьбы. Если в пути нас обычно выстраивали, то со словами «Жид комиссар, жид комиссар» отбирали в большинстве случаев с помощью предателей,

— Рус капут, большевик жид, хайль Гитлер! — и так далее.

Прибегали к различным методам для вербовки добровольцев и жандармов. Здесь уже укреплялась сила их продажной сети.



Одним мрачным утром мы с ним встали вместе. Цолак пошёл умыться и принести воды в котелке, чтобы после него пошёл и я. Вдруг над моей головой собралось несколько продажных русских и украинцев, мол, почему ты украл наш котелок. Я опешил:

— Убирайтесь от меня, разбойники, — сказал я.

— Мы свидетельствуем, что ты украл, верни наш котелок, — и тащат меня.

Вместе с Цолаком мы дали им отпор, они убежали. Чуть позже толстый и сытый жандарм из числа бывших пленных, с красной буквой «Т» на ручной повязке, вместе с теми же разбойниками встали у нас над головами. У него вокруг руки был обмотан кнут — шрахк! — он стегнул меня по лицу, и, вцепившись, приподнял меня. «За что? — крикнул я, — что я сделал?» Шрахк! Он ударил меня ещё раз, и я упал. Дал мне ещё пару кнутов. Он хотел уйти, забрав мой полный воды котелок, но я успел помешать ему, удержать. «Вы звери», — сказал я. «Молчать, йолдаш!» — услышал я в ответ. Последний удар валил меня с ног, и с того момента котелка у меня больше не было.

А однажды мы заметили, что накрывают официальные столы. Вскоре полицейев разослали известить нас, что нас вносят в списки, чтобы группами разбросать по разным странам. Очередь дошла и до нас. Мы подошли, ответили на вопросы с помощью переводчика. На следующий день нас разделили по группам, чтобы отправить по местам назначения. Хорошо помню, что говорили о новом сборе фашистских военных сил, которые считались стратегической опорой вермахта, а сам вермахт — хозяином мира и его непобедимым властелином.

Нас куда-то согнали и разместили на судно. Кажется, это было в устье реки Буд (или Буг). Уже темнело, мы больше не были такими бесчисленными. Только на корабле стало ясно, что гонят нас к фашистскому союзнику — Румынии. Нас уже поручили охране румынских санит. И судно было румынское. Утром нас выгрузили на правом берегу Буда. Мы оглянулись, получили на какое-то время возможность свободно вздохнуть. Мы избавились от постоянного надзора, от скрежета автоматов. Были и вооруженные люди, но они слонялись между пленными, не причиняя особого стеснения.

Первый же приказ был обнадеживающим:

— Всем обриться до последнего волоса, пройти через полевую баню, надеть форму пленного!

Это было как спасение. У многих на лице появилась улыбка. Потом приказали выдать дневной паек. Регистрировали согласно званиям — совсем как в Красной Армии. Разделили на две группы. Я попал в Болградскую группу и снова встретился с уже знакомыми ленинканцами. Цолака увели в другом направлении, кажется, в лагерь «Интепенталия».

Болград — маленький район в Бессарабии, с плодородными землями. Наш лагерь представлял собой обнесённую колючей проволокой аккуратную фигуру, выстроенную из рядов деревянных бараков. Начальник лагеря и охранники были строгими, однако дольше требований и объяснительных эта строгость не распространялась. Везде на деревянных стенах бараков были развешены транспаранты примерно следующего содержания:

«Марксизм есть еврейское надувательство»,

«Русские подчиняются евреям»,  
«Советская тирания пошатнулась»,  
«Пленный лишён прав»,  
«Пленный не имеет права на жалобу»,  
«Ваше правительство не подписало Женевскую конвенцию»,  
«Прибегнувший к бегству будет расстрелян на месте без суда»,  
«Пленному нет суда» и так далее.

Мы не знали, что здешние условия относительно переносимы и не идут ни в какое сравнение с другими лагерями. Здесь присутствовала обязанность содержать пленных, желание сохранить людям жизнь. Мастеров и специалистов использовали для усовершенствования лагерных условий. Здесь я обучился у Сурена парикмахерскому искусству. Был у нас дедушка Минас — воплощение доброты, который очень любил поесть. Иногда он просил у других «излишек» еды. На нём была грязная рваная шинель, которая скрывала голое тело. Все остальное он выменял на остатки еды и окурки сигарет.

Ближе к зиме нас погнали оттуда. В этот раз увели в глубины Румынии. Здесь мы попали в такие адские условия, что описать их невозможно. Лагерь находился на окраине какого-то важного румынского города. Если не ошибаюсь, город назывался Слобозия. Была суровая зима. Наше место было влажным, мы полностью располагались во влаге. Поддерживать чистоту было невозможно. К нам присоединяли всё новых и новых пленных, которые были измождены и похожи на скелеты. Вскоре даже дышать стало тяжело. Вместе с тем к нам стали относиться строже — дубинки, кнуты, плеть, ругань, беспредел... Еды — по горсти. Холод пробирался в наши кости.

Там произошли события, достойные отдельного внимания. Мы наконец присоединились к измождённым пленникам (они были ходячими скелетами) «Интипентении». Невозможно вспоминать без слёз.

Сначала мне не удалось найти Цолака. Начался ряд попыток бегства. За этим последовала инквизиционная строгость и наказания. Без суда и следствия, без искры человеческой жалости. Внезапно нас, полуголых выгоняли наружу на открытую площадь — на суд тех, кто пытался бежать. Поскольку власти издали приказ, согласно которому поймавший беглого пленника получал государственную награду, побег и пересечение границы стало практически невозможным. Всех беглецов рано или поздно ловили, они даже до Украины не доходили.

Особенно жестокими были те дни, когда к ужасу пленных наказание за побег должно было стать публичным. В одно такое жестокое утро, перед тем, как накормить нас отваром капусты, с криками «Айля, айля!» («Выходи, выходи!») всех нас вывели на заснеженную площадь. Мы обязательно должны были видеть, как мучают пойманных беглецов. Две пары из них вывели на середину круглой площадки, похожей на амфитеатр. Нужно сказать, что пленный пленному такой же родной человек, как отец сыну, как брату брат. И вот четыре пленника, а точнее сказать — четыре призрака, стояли в ужасном ожидании. Тишину нарушил лай комендантского пса.

В наказание они стояли голые и босые, дрожали от холода. Потом по приказу коменданта началось демонстративное наказание — одного из пленников привязали к спине другого, а третьему дали в руки плеть — пятьдесят ударов. И так по кругу — все теряли сознание. Это должно было продолжаться, пока наказуемый не умрёт. Мы пробовали отвернуться, снег таял под нашими слезами, и стоявшая за нами сантенелия штыками заставляла нас повернуться и смотреть. Это происходило в феврале 1943 года. По всей вероятности, их разозлили события под Сталинградом.

В эти мрачные, страшные дни люди преображались, обнажалась их истинная сущность. Я могу с уверенностью сказать, что остался «достойным потомком моего деда». Я голодал, но не стал подчинённым своего желудка. Естественно, искал себе товарища, похожего на меня. Все были у меня перед глазами — обаятельные ленинканцы Азат Сукиасян и Мукуч Малоян, которые иногда исполняли песни Дживани «Майрик» или «Дни неудачи». Малоян был открытой личностью, преданным человеком.

Остальных пропускаю, поскольку охватить всех невозможно.

В Слабозии пленные были разделены на национальные группы. Эти группы смешивались друг с другом по желанию. Армяне были и среди русских, и среди украинцев, даже среди грузин был могучего телосложения врач по имени Арташес.

Был среди нас и некий политработник из Тифлиса. Он был близок с Берией.

Я не видел Цолака, вообще его не встречал, остался в одиночестве. Я был занят записями в дневнике и раздумьями, однако у меня не было ни карандаша, ни бумаги. То отсюда, то оттуда доставал я её обрывки. Многие доставали такие остатки в зависимости от того, кому что было нужно, я доставал остатки бумаги, а Сурен и Асатур — остатки недокуренных сигарет.

Однажды холодным зимним днём прозвучал приказ: «Выстроиться всем армянам! Вам нужно встретиться с представителями Армянского Красного Креста, которые привезли вам пособия».

Мы и обрадовались, и смутились. Пошли. Нам как-то неудобно — перед всем лагерем нам будут что-то выдавать. Может даже это какая-то мера, чтобы впоследствии спасти нас? После того как нас построили, отвели в деревянную церковь лагеря, открыли двери и собрали нас внутри. Мы ждали, что будет, нас было человек сорок — пятьдесят. С противоположной стороны вошли трое под присмотром охранника лагеря. Сантилы отдали нам приказ:

— Равняйся! Смирно! Мы стояли, окаменев, будто скелеты. Пришедшие не могли раскрыть рта, мы только и слышали, что глубокие вздохи. Один из них был священник — одетый в темное, но без рясы, без ризы, без ладанки. Подняв Священное писание, он начал свои проповедь:

— Сыны армянские! Вы оказались вне нашей святой христианской веры. Но армянская церковь вновь принимает вас в свои объятия. Я взываю к Господу нашему Богу с мольбой защитить и сохранить в благочестии наших чад, стать утешителем каждому из наших мучеников. Аминь.

А потом он запел свой странный псалом.

— Господи, помилуй! Господи, помилуй! Да не отразится на ваших лицах то, что вы услышите сейчас. Ваши под городом имени вашего вождя дали хороший урок этим свиноедам, аминь, аминь! Избави нас лукавого, ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки веков! Аминь!

— А теперь, чада мои, перекреститесь, чтобы я убедился, что мы поняли друг друга.

Почти все перекрестились, кроме меня, несмотря на то, что я понял всё сказанное — я не заблудившийся, я по убеждению — коммунист, у меня с Господом были свои счёты. А иерей продолжал:

— Теперь с вами будет говорить достойнейший из наших армян, господин Акоб Сируни...

Речь господина Акого Сируни переводилась охранникам. Он был краток.

— С посредничества Красного Креста и с дозволения Международного права, благожелательное правительство господина Антанеску соизволило дать разрешение доставить пленным армянам помощь от местного армянского населения.

Сразу после этого состоялась передача. Мы должны были унести посылку и разделить поровну. Однако у всех на уме был только псалом иерея: «По-бе-ди-ли, по-бе-ди-ли»...

Вернувшись, мы решили ночью осторожно поведать всему лагерю хорошую новость. Какое царило воодушевление:

— Армянский иерей сказал, что свиноеды упали в яму.

— Наконец колесо истории встанет на свои рельсы.

— Пусть так и будет. Так, но не иначе... — подумал я, — Лучше исправить ошибку, чем совершить ещё страшнее.

Доставшуюся нам помощь мы раздали не только среди своих. В нашем бараке жили грузинские пленные, из них каким-то образом выделился и присоединился к нам самый старый и бедный — Дарико. Он был пожилым дьяконом, грамотным. Вдруг смотришь, позовет своих грузин, чтоб подпевали, и начнет петь. Пели до тех пор, пока их голоса, голоса голодных, совсем не ослабевали. Дарико никогда не спускался вниз с нар — не мог, он был наг. Выходил он по ночам, незаметно. Просил, чтобы ему принесли тарелку его порции, и тут же менял её на огрызки папирос.

— Дарико, говорили мы. — Почему ты так делаешь, жалко же тебя! Мы вернёмся на Родину, не отчаивайся, тебя встретят твои родные, поешь немного!

На наши мольбы он всегда отвечал песней — непосредственно. Ему досталось от армянской помощи. Поблагодарил и начал выспрашивать, у кого есть огрызки сигарет. Он долго продержался, я не узнал, как он умер. Он скончался, но правда, не в Слабозии.

Весна проходила. Нас погнали ещё дальше — вглубь страны. Дошли мы до города Демизора. Нужно было пройти по нему и дойти до северо-западного предместья. Там для нас уже приготовили тонущий в колючей проволоке лагерь. По городу двигались очень медленно, сил не было. Только к вечеру дошли до этого нового лагеря. Едва дошли, как

поняли, что нам повезло с комендантом. Перед всем собранием он уверенно и чётко объявил:

— Вы потеряли человеческий облик, я должен снова вернуть вас к жизни. Постараюсь выполнить свое обещание.

Вот всё, что мы слышали, но и этого было мало. На следующее утро нас накормили и отправили на стерневые поля. Каждый должен был принести с собой сухой прут. Места показывали сантилы. Принесли, кто сколько смог. Мягкие места были нам обеспечены. Это было более чем кстати, если учесть, что на нас были только кожа да кости: кости ныли, кожа истерлась, была изранена жесткими нарами.

Тем не менее, нас здесь тоже били. Только что вернулись мы с пастбища. Не успели устроиться, как двое сантилов закрыли дверь. Один из них воздержался, но второй — толстый и маленький подонок, с кнутом в руках обошел наши ряды и задал нам взбучку. Мы бросились друг к другу, не поняли, что происходит. Начали кричать.

— Мы будем жаловаться старшему начальнику!

— Ах, начальнику? Начальнику?! Он подобно бешеной собаке стал ударять нас быстрее. Как только мы стали кричать, он быстро выбежал вон. Мы подошли ко второму сантилу:

— Что мы вам сделали, зачем вы нас бьёте?

А он нам:

— Брат, брат, вай! Сталинград!

Да-да, понять-понять...

Под руководством богатыря-полковника (или подполковника) Хазановича мы построили баню. Мы должны были обрить головы, помыться и надеть пронумерованные формы узников. Медпункт был меблирован, среди нас, пленных, было немало врачей... К порции фасоли добавилась порция мамалыги. Во всех бараках были парикмахеры, для больных предусмотрены отдельные углы. Батальон был сформирован наподобие Красной Армии — разделен на отряды по национальностям

Страсти утихли, появилась возможность действовать разуму. Разрешили выступления артистов, декламаторов. Они декламировали наизусть целые поэмы — дословно, с диалогами. Стали заниматься, кто чем мог — резьбой, орнаментацией. Зашевелились ручки. Делали карикатуры, и писали тайные, подпольные записки.

Здесь нас, армян, снова настигла миссия господина Сируни. В этот раз было условие, согласованное с правительством Румынии: «Армян изолировать, вывести в зону, прилегающую к свободным действующим заводам». Нас вывели в прилегающую к воротам приемную кабинку. В этот раз всеобщее присутствие не было обязательным — посылки были именные и сдавались старосте отряда. Старостой нашего отряда был ереванец капитан Хорен. Он был совестливым человеком, щедушным, волосатым, химиком, специалистом по сельскому хозяйству, работал интендантом. Не было у него ни одной дурной черты. Он был доверенным представителем каждого из нас. Он много общался с русскими и с иностранцами — по причине своей «должности» и хорошего знания русского языка. Он был в курсе лагерных дел. В нашем лагере рядовой пленный

не имел права общаться с чужими, кто бы он ни был. Лагерь был закрытый, под строгим надзором, нас порой даже на работу не выпускали. Побеседовали мы и с Акопом Сируни. Мы были благодарны участию этого честного интеллигента. Наше положение стало меняться в лучшую сторону, однако это повлекло за собой столкновения с другими пленными. Несколько человек, в том числе и я, решили, что нужно выделить долю из нашего пайка другим пленным.

— Армянский пленник среди стольких иностранцев не должен грызть свой паек как крыса, в одиночку. Из наших крох надо выделить пай для соседей, как свидетельство высокого благородства нации. Горсть крупы или кусок хлеба все равно не решит наших проблем. Давайте соберёмся и предстанем в качестве достойные наследники древнейшего народа, хранителя высоких ценностей.

Были противники этой идеи, заявившие:

— Какое нам дело, сдохнут они или нет? Необходимо, чтобы выжили мы, армяне.

В конце, концов, пришли к общему соглашению — выделили долю своим соседям.

Начальство лагеря часто совало нам под нос свое почтение к международному праву:

— Вы — пленные противники, однако мы понимаем, что вы — люди. В то время как ваша страна не признаёт вас — ни в качестве граждан, ни в качестве пленных солдат. Ваш Сталин говорит: «У меня нет пленных солдат, они давали клятву, что покончат с собой, но в плен не сдадутся. Все пленные из числа бывших солдат Красной Армии — изменники». Ваши даже Женевскую конвенцию не подписали.

Шутя, они добавляли:

— Таким образом, мы не можем даже считать вас пленными. Это бесчеловечно.

Возражать было бессмысленно — против истины не пойдешь. То, что фашизм полностью бесчеловечен и немецкий гитлеризм сам по себе — зверство, также было неопровержимо. Здесь это объяснялось необходимостью искоренения еврейского большевизма.

У лагеря было свое хозяйство. В основном, обрабатывали свёклу, но её воровали. Мне тоже досталось этой свеклы, поскольку я подружился с выдавшим виды ленинканцем Зарзандом. Зарзанд был младше меня, он был болтлив и знал множество песен. Неисчерпаемы были басни и шутки земли его дедов — Хута. Он особенно любил, бахвалясь, рассказывать о своих любовных приключениях и водительской жизни.

Были решающие дни Курской битвы — кто победит? Иногда удавалось урвать из уст сантилов обрывки сведений. Внутри создавалась подпольная организация, точнее, вырисовывались организаторы. С другой стороны, активизировались власовцы. Азербайджанец Касанов превратился в ашуга, и с сазом в руках пел о прекрасных обедах. Как он их готовит, как растекается аппетитный запах, как он их пробует и как раздает порции. «Полно лаваша и масла, нет недостатка в винограде и арбузах, только ешь!».

Составляли списки тех, у кого имеются родственники в Румынии. Я тоже вошел в эти списки — у меня были родственники. Я знал город, в котором они жили, Костанца, но не знал адреса. А однажды меня вызвали. Я представился, мне сказали, что у меня родственники в Констанце, что они приходили навещать меня, принесли поесть. Встречу

разрешили — под наблюдением сантилов. Я поспешил в приёмный барак. Это была Зарик из рода наших Рстаков, уже успевшая стать матерью, а с ней ее брат Карапет. Трудно было узнать друг друга. Вспомнили наше прошлое, нашу дедовскую деревню Хнзри, что под Держаном, Трабзонский приют. Встреча длилась 5 минут. Они принесли денег, хлеба, жира. Они сдали передачу, и мы разошлись. Нагруженный, я вернулся в барак.

— Зарзанд, — сказал я, — позови Усика и Азата, придумаем, что с этим делать.

— Сам знаешь, ты хозяин.

— Нет, вместе будем решать. Но, послушай, у меня есть 100 лей. Возьми деньги и попроси сантилов принести на них хлеба. Ты знаешь, как, ты с ними знаком. Сначала отдадим честь, угостив окружающих, а потом и сами поедим. Выразим свою человечность и армянское чувство собственного достоинства.

— Цо, какой же ты слабосердечный, зачем тебе высказывать кому-то своё почтение, ещё чего не хватало — вырывать из собственного рта ради каких-то свиней. Ты бы ещё подумал, как нам турок угостить! Сейчас я позову Усика и Азата. Сначала сами поедим, а там подумаем.

— Нет, Зарзанд, я устрою, ты возьми эти 20 леев, ты знаешь, который из сантилов приносит хлеб.

Зарзанд уступил, поспешил решить вопрос о доставке хлеба, тем не менее, продолжая ворчать под нос:

— Ну ладно, ты у нас учёный, лучше знаешь, только поторопись, у меня уже живот свело.

Армяне один за другим переместились на наши нары. Сначала они, а затем и мы хорошо поели, да еще и запили все это водой из баклажек.

Усик был тихим парнем — его не было слышно. Азат, самый младший, был лентяем, едва успевал вымыть лицо, тарелку и ложку. Подвижный Усик и ленивый Азат были близкими друзьями. Интереснее была другая группа ленинканцев — два Мукуча, Ашот, Азат, Антон и Андро. Антон всё время бродил, не мог оставаться на одном месте. Азат, в противовес Антону, был молчалив и сдержан. Они тоже были друзьями. Оба Мукуча имели большой авторитет. К слову, Ашот был поистине ходячей энциклопедией; он отлично знал свою выгоду и всегда умел найти для себя лучшее место. Арсен держался в стороне от нас, он был одиночкой.

Нас снова переместили. В этот раз увели до самой губы Дуная. Дальше было идти некуда — начиналась Болгария. Наш лагерь был расположен на северо-востоке от города Калафат. Наш лагерь располагался над скалистым берегом Дуная. Это был ряд деревянных хижин, дважды обнесённый колючей проволокой. Во всех углах стояли наблюдательные посты, оснащённые ночной осветительной техникой, на крестообразных углах были установлены автоматы. «Пленные бесправны», «Беглецу — расстрел» — такие плакаты были установлены над входом.

Снова под руководством полковника (или подполковника) Хазановича, был сформирован батальон наподобие существовавших в Красной Армии — разделен на отряды по национальностям.

«Товарищи, единение и организованность — это наша победа» — говорил он.

Нашим новым комендантом был некто Попович, об этом можно было прочитать на стенах каждого барака.

Перед тем как бить сбежавших пленных, он всегда кричал: «Аша-аша — большевич...» — за ним осталось прозвище Аша.

Снова нас разместили на жёсткие трехъярусные нары. Накрывались каждый, чем мог, но очень скоро нам раздали матрацы.

Попович сумел показать нам свои фашистские симпатии: сначала был строг, а потом стал ещё строже. Агитация, которую проводили в наших рядах, не ослабевала, периодически нам проповедовали, что борются с «еврейским большевизмом», не забывая применять меры наказания.

Наш «офицерский» лагерь, настоящее название которого должно было звучать как «Хазановичевский», выразил свою высокую сознательность, организовав настоящее подпольное сопротивление. Было множество примеров мужества. Существовали внешняя и внутренняя сети, которыми руководили несокрушимые люди. Никто не знал руководителей — они действовали строго секретно и таким же образом общались между собой.

Наш отряд действовал самостоятельно, но сообщаясь непосредственно с центром. Обязательной была ежедневная связь. Симонян был то там, то здесь, по натуре это был очень общительный человек, и умел находить с людьми общий язык, он разносил новости. Он был нашим связным. То же самое можно было бы сказать и об Антоне с Хажакон, однако, они не были так активны. Рядом с нами оказался Цолак, здесь, в этом новом лагере, он присоединился к нашей группе. Он не был связным, он был «представителем» центра. Наши отношения стали еще теплее.

Был у нас и свой «голос» — Тигран, который обладал прекрасным голосом, пел песни, громко декламировал, показывал театральные зарисовки, пародировал. Он был заметным, видным человеком, обладал артистическим талантом — в этом он был сыном своего народа, и этого было ему достаточно. Можно долго рассказывать о Бабкене, о капитане Хорене, и об остальных, но давайте вернёмся к лагерной жизни.

Лагерь зажил полноценной жизнью тогда, когда появилась возможность общаться с пленными из внешнего мира. Они работали в деревнях и на прочих объектах в качестве вольных наемников. С их помощью стало возможно не только узнавать о жизни за стенами лагеря, но и приобретать какие-то материальные средства. Мы снова увидели бумагу, карандаши, ручки и лопаты. Особенно ценны были карты и радиодетали. В результате во всех наших группах появились секретные радиоточки и карты. Начали выпускать подпольную газету с карикатурами. Связь стала сильнее. Вскоре у нас появились тайные сети литературных, театральных и политических собраний. Все это происходило под самым носом у сантилов, но они были уже равнодушны.

Наши Тигран и Занзанд уже пели и говорили на румынском и имели знакомых среди сантилов. Мы начали рыть подземные пути под колючей проволокой. Это было настолько секретно, что сами беглецы до последней минуты не догадывались об их существовании. На них комендант Попович и обрушил всю свою ярость. Почти все беглецы были пойманы.



Здесь к нам примешали так же тех, кто попал в плен после битвы под Яссами в Румынии. От них мы узнали об имевших место грандиозных переменах, особенно о составе армии, технике и тыле. Впервые мы увидели погоны и знаки различия со звездами. Узнали о втором фронте и американской помощи. Между тем усиливалась не только пропаганда, но и меры наказания. Дело дошло до того, что Антонеску со своей религиозной и мирской свитой явился прощупать, в самом ли деле мы остались советскими людьми.

А Аша Попович непрестанно думал о том, как бы задушить имеющийся в лагере большевизм. Каждый день он являлся с новой идеей. У него был секретный отдел под названием «сигурация», который занимался составлением списков большевиков и евреев. Каждый день все должны были выстроиться на площади, день начинался с молитвы. Сначала надо было помолиться Господу. Строиться-то мы строились, но многие не совершали крестного знамения. Я и Цолак всегда стояли впереди и старались мешать. Вскоре именно по этой причине выставили специального сантила-наблюдателя.

Через неделю это мероприятие устарело, притупилось, потребовалось придумать что-то новое. Он выпустил в наши ряды власовцев. Назначил специальных ясинов (надзирателей) по отрядам. Ясином нашего отряда был известный «белый медведь», один из первых руководителей-власовцев. Были, конечно, и другие предатели и продажные. Вместе с тем, велась пропаганда, доходившая до дикости:

— Маркс — еврей, он обманул людей. У них нет родины, вот они и проповедуют согласие. Они микробы, лишённые отчизны и морального облика. Сверхчеловек Гитлер положит конец этим врагам человечества.

— Падение России — это падение Кагановича, а не русских.

— Вон отсюда, гитлеровский выродок, — кричали мы.

Убежал... ничего не вышло.

Привели профессора из Берлина:

— Он прочтет настоящую лекцию, то, чему вас учили — неправда, фальшь, вас обманули.

Нас согнали в общий салон, и начиналось. С диаграммами с портфелем. Рядом на сцене стоял поп.

— Господа — начал он

Тут же один из членов подпольного сопротивления крикнул:

— Товарищи, узники Сталина, не слушайте этого гитлерского безумца.

И что тут началось! Всё, что попадало под руки, полетело в лектора. Он убежал. Вернулся вместе с сантилами, но в зале кроме двух-трёх человек никого не оказалось. Приказал привести духовников каждой нации — так он пытался противопоставить национальный дух коммунизму. Наш проповедник был умён:

— Вы — армяне, дети мои! Здесь есть разные народы, я не учу вас бить русских, но просто постарайтесь выжить, оставайтесь в живых.

Сказал свое последнее слово и ушёл.

Аша приказал построить трибуну. Нас пытались заставить пройти строем перед этой трибуной, наподобие шествия Красной Армии — по национальным подразделениям, и выкрикивать «Да здравствует Гитлер!». Проходили мы молча, в лучшем случае что-то бормотали под нос. Однажды он поставил рядом с собой Хазановича, чтобы мы подчинились, знал, что тот — человек уважаемый. Мы прошли перед трибуной и выкрикивали:

— Здравствуйте, товарищ Хазанович!

Аша впал ярость. Кричит на Хазановича:

— Остановить немедленно! Распустить!

Мы начинаем петь песни красной армии. Трудно было сказать, кто был в большей ярости — он или мы. Вытаскивает пистолет. Не знает, в кого стрелять — в нас или Хазановича. И тут слышится звонкий голос нашего великана, Хазановича:

— Молчать, товарищи!

Мгновенно воцарилась тишина.

Его посадили в «собачий ящик» — своеобразный карцер.

Армянам снова прислали шефскую помощь. В этот раз свидания не разрешили. Уполномоченные должны были всё нам доставить.

Мы решили, что пойдут капитан Хорен и Айказян Цолак. Принесли. Опять пошла борьба: половина утверждала, что нужно выделить долю больным и соседям, другая — что нет. В этот раз столкновения были серьёзными, поскольку на одном из флангов выступало течение «Чистая нация» Грайра Бахалбашяна и Баграта, которое, по сути, было близко по идеологии к дашнакам.

Они говорили:

— Нам нет дела до других, мы — армяне.

Фактически, между нами шла политическая борьба.

— Вы его не слушайте, он не чистый армянин, — говорили, указывая на меня. — Он отуреченный. У него даже жена русская. Он обрезанный.

— Ты дашнак, и логика твоё дашнакская.

— Я не дашнак, точно так же вы — не коммунисты.

Говорили, что я всегда следовал учениям, отвергающим национальное начало, и так далее.

— Сосо и Арташ — пособники Берии.

(Они были из Грузии.)

Такая безжалостная и бесчеловечная дискредитация стала у них признанным методом работы...

К Цолаку не подходили. Он был уважаемым, большим авторитетом.

Излишне спорить с людьми, занятыми восхвалением людоеда Гитлера.

Багра́т то и дело кружил то там, то тут, давал объяснения, но бывать в коллективе не любил. Он был худеньким, костлявым человеком с узким лбом. Грайр, наоборот, обладал широкой спиной, густыми волосами и густым голосом, большими глазами и бровями. У него был пронзительный взгляд. Он был главным бухгалтером какого-то комбината в Леникане. Он восхищался мощью Гитлера, был неотступным дашнаком.

В те дни мы, армяне, решили по очереди рассказать друг другу о своей жизни. Мы обязались рассказать абсолютно обо всём, вплоть до личной и половой жизни. Помню, что мой рассказ продлился около недели. Так что, нам было хорошо известно о внешней и внутренней жизни товарищей. Грайр был беспартийным, Багра́т — служащим в учреждении, в сердце партийной ячейки советского аппарата. Когда речь заходила о «нациях лука и чеснока» (о славянах), Хажак, у которого был хорошо подвешен язык, попадал в свою стихию: пародировал и издевался. Был он молодым человеком среднего роста, худощавым, с жизненным опытом, жизнелюбимым и беззаботным. Он был очень волосатым и имел светлые глаза. Особенно он выходил за рамки, когда речь заходила о евреях. Тут я всегда заступался:

— За какие грехи? За образованность? За шустрость? За радушие? Ум и предприимчивость?

— Они всегда обманывают, — говорит Хажак.

— Нет. Если ты лентяй и хочешь быть обманутым — они не виноваты.

Мне возражали:

— А почему они богаты, почему среди них нет убогих рабочих? Почему они всех эксплуатируют, почему у них везде руководящая роль, высокие посты? А Гитлер хочет прикончить этих сморчков.

— Ну вот, ты пойдёшь и «достанешь осла из грязи» (выкрутись — прим. ред.).

— Грайр, Багра́т, но ведь Гитлер проглотит и армян как «неполноценную» нацию, не так ли? — Говорил я. — А вы его считаете гениальным сверхчеловеком, этого безумного фанатика. Неужели ваше армянское начало потерпит такое? Только марксист может уничтожить этого фашистского изверга.

Бахалбашян не высовывался из угла своих нар на втором этаже. Нужно сказать, что он хорошо знал правила «ловли душ», умел выбрать, собрать свои будущие кадры, соратников. Их было немало. Он гордился этим, гордился своей работой. Багра́т воспитывал своих слушателей в национальном духе, а остальные теории считал недоразумением. Не было разницы между идеологией Грайра и национал-социалистических барбосов. Однажды я его спросил:

— А почему вы не идёте на фронт, за поражение Советов, ведь вербуют в специальные национальные объединения?

— Мы за чужих драться не будем, и без того много воевали, много крови пролили за пожирающих нас волков. Вот когда откроется армянский фронт — все мы окажемся там.

— Нет, Грайр, боюсь, не видать тебе армянского фронта, если рухнет советский фронт.

— Нет, всё равно он обещал помочь армянам, чтобы мы вернули утраченное.

— Грайр, — говорили мы, — хорошенько подумайте о своих позициях, идут бои на жизнь или на смерть, мы стоим лицом к лицу со злом...

— Э, Грайр, Грайр... Не успел увидеть воду, а уже разуваешься, — заключил Цолак Айказян.

В целом, между нами не было общения, имели место только подобные столкновения.

Однажды Аша решил настроить против армян весь лагерь. Всех выстроили, потом нас, армян, отделили, и построили на глазах у всех. Начальник охраны зачитал особый приказ Ашы, в котором говорилось примерно следующее:

— Вы, армяне — древний избранный народ. Вы и здесь бросаетесь в глаза своими умелыми руками и дисциплинированностью. Ваши Азат и Комитас явили нам прекрасные образцы, созданные ловкими руками. Они так хороши, что я храню их у себя в доме. Вот почему я решил: всю кухонную работу, которую до сих пор исполняли русские, передать вам.

Воцарилось молчание. Потом послышалось ворчание. Несмотря на наши внутренние разногласия, мы не пошли, остались стоять. Нашей твёрдостью восхищались даже они — русские. После этого случая лагерь ещё более сплотился.

Дорогой читатель! Не думай, что это придуманная история: я всего лишь описываю жизнь нашего лагеря. Это — реальные люди и события, я не смог охватить все происшествия и героических людей того времени. Я могу привести в пример таких людей, как Тарасов: все жители лагеря были им восхищены, он пять раз сбежал (то через бурные воды, то под землей, то под колючей проволокой), и каждый раз после побега, он подвергался неопишущим наказаниям. Но это не сломало его желания бежать и бороться с гитлеровцами.

В подполье лагеря проходили строго секретные работы, требовалось участие. Мы собирались разместить тайное радио, издавать газету, приобрести различные навыки, выгнать вон власовцев, и наконец — установить связь с внешним миром, с румынскими коммунистами. Армянская группа была на хорошем счету как в деле организации, так и в деле добычи материальных средств, но внутри самой группы страсти уже накалились, споры не прекращались. В то же время давались привилегии власовцам, они исполняли обязанности назначенцев.

Аша выполнял военные «манёвры» внутри лагеря. Была установлена усиленная охрана вокруг бараков. Во время одного из таких манёвров был обстрелян наш барак. Конечно, было распоряжение оставаться внутри запертыми и не перемещаться, но в середине этого

бешеного дня пуля пробила дощатую стену барака и ранила Сократа. Этот невинный, тихий армянский узник так, лежа, и отдал душу. Всему лагерю было разрешено участвовать в похоронах. Была, кажется, весна, стояла влажная, холодная погода.

Согомон покопался в его мешке — чего там только не было — он собирал на память всякие мелочи, хотел привести их домой. Это был крупный человек в возрасте. Капитан Хорен перекрестил его и над установил могильным холмом крест. Это было возле города Галафат, на берегу Дуная.

Хажак часто говорил: «Я и рябой Сократ спаслись чудом, мы были вместе, когда по нам прошли танки».

Я уже говорил, что нам удавалось разворачивать подпольную деятельность. Нельзя было иметь при себе ручки и карандаши, это было строго запрещено, однако мы раздобыли их. Я тратил всё свое время на эти огрызки: нужно было много что записать, мы жили продвижениями фронта вперед. У нас были секретные карты, и мы в особом режиме слушали радиопередачи и каждый день наносили на карту все продвижения. Кроме этого мои внутренние духовные и идейные переживания были неисчерпаемы, они буквально топтали друг друга, и я всё марал бумагу.

У меня не было возможности переписывать начисто. Я набил записями целый мешок.

Хажак также дружил с пером, насколько я знаю, даже издал что-то до войны. Пару раз, во время ночных тайных сборищ, мы читали друг другу свои записи. Я прочитал свою необработанную поэму, посвящённую возрождению армянского народа, где центральным героем был Шаумян, а Хажак свою поэму «Ущелье Аргины», главным героем которой был Гукасян. Мы и День рождения Ленина отметили, выступили с речами. Конечно, нас выдали... Агентура не спала, сразу доложили аппарату Аши.

Не только мы с Хажаксом выделялись — Тигран декламировал, Малоян Мукуч пел. А шуточные песни Зарзанда! Если бы сохранился мой мешок с записями на обрывках бумаги, то я бы и сейчас смог нарисовать полноценный портрет «жителей» лагеря Галифата, советских офицеров.

Я попробовал написать поэму, посвящённую освобождению Киева, я был восхищён полководцем Ватутиным. Конечно же, всё это было далеко от понятия высокого искусства, но было ценно, поскольку было написано свидетелями и участниками исторических событий.

Аша узнал об этом и так разозлился, что стал истязать нас не только физической работой, но и психологически. Сначала велел вырыть какие-то ямы напротив лагеря. Рядовые узники были бесплатной рабочей силой, их можно было использовать, как угодно. Некоторые из них работали при нашем лагере. Это были рядовые военные, которым не разрешалось общаться с нами. Они не имели права даже приближаться к проволоке. Аша эксплуатировал их около месяца. Что за работу они выполняли — этого нам не было известно достоверно. Постепенно удалось узнать, что ямы предназначались для нас. Что он задумал — мы не знали... Мы догадывались, что Аша готовит самое суровое свое наказание. А однажды, на рассвете, он приказал нам выстроиться. Через несколько минут отряды были построены. Перед воротами нас стали по одному строжайшим образом обыскивать, прежде чем пропустить на ту сторону, где были ямы. Единственное, что разрешали взять с собой — были котелки и ложки. Мы были в ужасе — ничего не понимали. Мешок мой был полон запасов — что делать? Решил спрятать, но не нашел

удобного места. То, что было, быстро прикрыл на месте и вошёл в ряды. Я был в отчаянии — не мог ни сидеть, ни стоять. Нас вперемешку швырнули в эти ямы и закрыли дверь. Было открыто только небольшое отверстие, похожее на ердык, достаточное лишь для того, чтобы мы не задохнулись. Потом появился дым — обыскивали и сжигали найденное. Поймали людей, рывших ямы. Всё было обнаружено — мои строки, вся моя сущность, все мою переживания за время плена — сжигались. Я сходил с ума.

Прозвучал новый приказ — «из каждого отряда выделить двоих для помощи сантилам». Я отказался — горели мои записи. А двое пошли с надеждой спасти свои вещи, один из них был, по-моему, Малоян Мукуч.

Мы узнали, что всё было собрано и унесено, ничего не оставили. Закончился мой покой — мой сон стал кошмаром, во сне меня жгли, я бежал среди языков огня, а мои бумаги летали то туда, то сюда и я не мог их поймать. Это длилось долгие годы и до сих пор меня преследует.

В земляных ямах нас продержали около недели, оставалось только придушить нас. Мы задыхались от вони — единственным отверстием для воздуха был ердык. Шустрые забирались друг на друга, чтобы подышать воздухом. Через неделю нас отпустили. Мы вышли на свежий воздух. Нас вернули на свои места. При первой же возможности я бросился к кострищам — но ничего не осталось, все, что разлетелось, было повторно собрано и брошено в костер. Плакать было бессмысленно, сходить с ума — тем более. Я искал в своих коробочках, поскреб в них и внутри и снаружи нашел несколько обрывков, оставшихся невредимыми, и еще несколько остались на дне мешка.

Беспредел начальника лагеря Аши Поповича привел к голодовке — это было совершенное неповиновение, немое восстание. Со стороны руководителей подпольного сопротивления была предложена конкретная программа сопротивления — объявить голодовку на следующих условиях:

1. Освободить из-под ареста полковника Хазановича, и освободить арестованных узников.
2. Вооружить нас, чтобы в случае нападения фашистов мы могли бы оказать сопротивление.
3. Вывести власовцев из нашего офицерского лагеря, как антисоветских элементов и изменников.
4. Не держать власовцев на кухне и повысить норму мамалыги и хлеба.
5. Не производить военных учений на территории лагеря.
6. Уход за больными доверить нашим врачам.
7. Соблюдать режим отведения узников в баню или к Дунаю.
8. Создать объединенное управление для обеспечения защиты лагеря.

Голодовка началась на рассвете. Предварительные требования были водружены в центре лагеря, на специальном шесте. «Обеденный отвар» принесли и поставили перед входом, он остался нетронутым до обеда. Принесли обед, и он остался у входа. Так же было

и вечером и в следующие дни. Была особая сила, которая умирляла наших слабовольных и несдержанных товарищей. Многие не выдерживали, хныкали, боялись умереть от голода. Со стороны Аши началось сильное давление:

— Кто хочет забрать себе все порции, — говорил он, — пусть выйдет вперёд.

Или:

— Кто хочет поесть фруктов, пусть подойдёт к обеду. Но в этот раз мы были подготовлены хорошо — пресекался каждый шаг. Выискались другие офицеры, которые попытались уговорить, чтобы мы приняли еду, что они отвечают за нас, что у них нет права выполнить наши условия. Мы остались несокрушимы. Вынужденно выпустили Хазановича, якобы для того, чтобы он уговорил нас прекратить голодовку. Мы увидели его издали. Он пришёл и встал перед густым множеством узников лагеря. Это был все тот же гордый Хазанович.

— Товарищи! Будем принимать пищу? Или нет? — Призвал он. Последнее громогласное ударение подсказывало, что нужно было сказать «нет». Весь лагерь, кроме нескольких нытиков, единогласно прокричал:

— Нет, нет!

Они поняли, в чём дело, Хазановича увели обратно, но на следующий день отпустили, и.. исполнили все наши требования, за исключением вооружения — власовцы исчезли, норма была увеличена, нас стали водить к Дунаю. Под командованием Хазановича мы, выстроившись отрядами, спустились к реке. На той стороне была Болгария. На берегу были наблюдательные пункты, люди едва виднелись. Мы были под усиленным присмотром вооруженных санилов. За нами наблюдал тяжелый пулемет, установленный на конной повозке. По центру реки проходила пограничная зона, было приказано не переходить ее, нарушитель расстреливался. Пулемёт, расположенный над берегом реки, был в постоянной боевой готовности. Я не боялся волн Дуная — я был пловцом Трабзона, меня пугал пулемёт. Освежившись, мы вернулись.

Вскоре пошел слух, что Антонеску со свитой придёт увидеть собственными глазами, что это за лагерь несокрушимых большевиков. Приехал на пару часов. Нас вывели наружу. Антонеску в сопровождении своих телохранителей прошёл перед рядами наших национальных отрядов. Этот малодушный диктатор был человеком среднего роста, тонким, с очень яркой жестикуляцией. Взгляд его был холоден, он проходил без лишних выражений, казалось, что пришёл он лишь по причине того, что является хозяином своего слова, посмотреть, какого склада мы люди, какие у нас необычные черты. Иногда он склонял голову прислушаться или что-то сказать, но это делал без демонстративных движений. Ощущалось, что этот его визит проходит напряженно, как-то вынужденно.

Нам было сказано, что можно написать жалобы, у кого какие есть. У меня сохранился маленький кусочек от моего письма (скорее всего, черновик):

Господин генерал Антонеску.

13-мая сего года во время массового обыска нашего лагеря подполковник госп. Попович по отношению к пленным людям совершил полное беззаконие. В пламени злобного огня он сжег художественные, именно художественные произведения пленников, которые были созданы кровью и слезами.

В том числе он сжег мои произведения, которые обогревали своим огнем и ободряли меня на будущее.

Господин генерал, эти произведения, сожжённые для удовольствия господина Поповича, продол...

А продолжения не сохранилось. Переводить мне помогали Цолак и Бабкен.

Визит Антонеску не имел никаких последствий. Быт лагеря остался тем же. Как я уже сказал, после битвы под Ясем к нам присоединились новые пленные, власовцы «вымелись». В нашем отряде так всё было почти по-прежнему. Действовал «уголок Грайра», наши столкновения продолжались. Постепенно стало ясно, кто на чьей стороне. В нашей группе были капитан Хорен, Бабкен, Цолак, Ашот Сукиасян, Малоян Мукуч, Симонян, Залибек, Артуш, Сос, Бик, Бегларян, Ашот маленький и, конечно, Андо, Согомон, Ганнджулян и еще некоторые другие. Баграт оставался Багратором, Грайр — Грайром-бахалбаш-дашнаком.

Мы уже были в курсе перемен, имевших место в армии, видели новые погоны, знаки отличия... Некоторые из пленных Ясинской битвы сохранили их у себя.

Теперь перед нами стояла задача усилить связи с внешним миром. Мы рыли подкоп к оружейному складу дома охранников, организация самозащиты была одним из самых острых вопросов повестки дня. Наше требование о вооружении игнорировалось. Аша продолжал следить за нами, контролировать. Хотя он и не был уже прежним пламенным радетелем фашизма, однако строгости у него не убавилось. Аша старался дать законное основание предпринятым им делам. Создал какой-то военный состав при своем штабе. Там он приводил допросы, выносил приговоры. В этом трибунале побывал и я, и мне выпала такая доля.

Однажды утром вызвали и увели Симоняна. К вечеру отпустили, и он вернулся в лагерь. Едва войдя, он сразу объявил:

— Дживан, они тебя требуют.

Ребята, поняв, что случилось, напали на него:

— Что, трус, не выдержал? — Симонян молчал, чувствовал себя виноватым. Пришли за мной.

Сначала отвели в сигурацию — она находилась возле дома охранников. Два дня меня продержали там в тюремном режиме — один раз в день выдавали паек и несколько раз вызывали на допрос. Били почти каждый день. Их основной целью было выявить организацию и её главные силы. Для этой цели я оказался «совершенно непригодным человеком», я ничего не знал, не был в курсе дел.

Моё упрямство достигло того, что меня послали в трибунал. По длинному деревянному коридору дошли мы до двери. Было приказано встать в коридоре, лицом к деревянной стене. Я простоял довольно долго. Наконец позвали внутрь. Там был большой стол, зажатый рядами стульев. Там сидели трое: справа какой-то офицер, слева посередине — Аша Попович.



Перед тем, как подвести к ним, меня подвели к маленькому столу на противоположной стороне комнаты следователя-офицера и записали мои имя и фамилию. С непоколебимым и несокрушимым видом подошел я к столу. Этим я хотел показать сидящему по ту сторону стола крупнотелому следователю, что, мол твое дело — исполнение служебных обязанностей, моё — человеческого долга. Перед столом стоял сантил-барбос с кнутом в руках. Он с самого начал стал «говорить» кнутом, но этот «язык» не вызвал во мне ужаса. Начали допрос:

— Нам стало известно, что ты заставлял пленных принять меры для того, чтобы развернуть подпольную деятельность. Кто достал радио, инструменты, оружие, кто издавал газету?

— Как я мог других заставить? Что имеет узник, чтобы своевольничать?

— Не ты ли собирал долю для больницы?

— Я.

— Ты коммунист? Признавайся во всем! — Шрахк.

— Кто покупал бумагу для газеты, детали для радио, орудия для рытья подкопа, кто связан с внешним миром?

Я молчал, во мне не было страха.

— Оружия? — Продолжал допрос офицер, — отвечай, кто стоит за всем этим?

— Обо всем этом я узнаю от вас, господин офицер, — отвечаю.

— Еду собирал, — наши товарищи болели, им нужна была чуть более качественная еда, чтобы подняться на ноги. Кто соглашался, жертвовал свой паек. И мог и к вам прийти, попросить кусок хлеба для несчастных больных, изнеможённых узников. Неужели это считается преступлением? Чем я мог заставить остальных?

— Я вижу, ты не считаешь нужным ничего намотать на ус. Не было и тайных сборищ, тайных празднований юбилеев?

— Я об этом ничего не знаю.

— Уложите его — двадцать ударов.

При этих словах заговорил кнут сантила-барбоса — «шрах, шрах»!

С моих уст сорвался вздох, смешанный со стоном. Начали бить. (Не помню, сколько было ударов.) Вдруг послушался нервный голос Аши:

— Прекратить!

Битьё прекратилось.

— Что, ничего не сказал?

— Упрямится, господин подполковник.

— Ты армянин?

— Армянин.

— Армянин, какое вам дело до русских, почему не отделитесь от них? — Потом обратился к сантилу. — Прекратить бить, отведите в строгий карцер.

Двадцать ударов, как это ни странно, не были зачислены на мой счёт. Это имело свое объяснение — его жена была армянка. Она была дамой доброго телосложения, с большими глазами и пшеничной кожей. Это она давала заказы художественной резьбы Азату и Комитасу. Она взяла образцы для своего дома.

Сантилы отвели меня в карцер. Он был вне нашего лагеря и был окружен колючей проволокой. Это было узкое пространство, вроде коридора, по обе стороны которого были выстроены ящики, коробочки в человеческий рост. Узник называли их «собачьими ящиками» (Хазановича тоже держали там). Нужно было войти в узенькую дверь — таким образом можно было оказаться в как бы в гробу. Сесть было невозможно. В двери было отверстие размером с человеческое лицо — оттуда был виден только сторож. Сторожа то и дело ходили то туда, то сюда, но возможности разговаривать не было — ни с ними, ни с соседними узниками. Один раз в день приходят и говорят:

— Признавайся, и мы тебя освободим.

— Мне нечего вам сказать.

— Тогда оставайся. — И уходят.

На третий день охраняющий нас сантил во время своих проходов достал что-то из кармана и стал бросать по очереди каждому из нас. Я поймал это коленями — это был хлеб. Не поверил своим глазам, кинул в рот. Да, это был кусок хлеба. А он на нас не смотрит, ходит взад и вперёд, как бы давая понять, мол, молчите, я ничего не знаю, и знать не хочу.

Единственное наше право было — право сходить в туалет. Кран с водой находился по направлению к туалету. Однажды, когда я пользовался таким правом, сантил заметил, что моя главная цель — источник воды, и вместо того, чтобы воспрепятствовать мне, напротив, замедлил шаг и повернулся ко мне спиной. Я бросился к роднику и начал жадно пить — разрешение было очевидно. Перед тем, как я вошёл в свою нору, он улыбнулся мне — мы поняли друг друга.

Через пятнадцать дней отпустили арестованного Хазановича, а затем и меня. Я присоединился к ребятам своего отряда. Симоняна я простил — человек не выдержал, назвал мое имя, но ведь он был наш. Что поделаешь — не все могут выдержать допрос.

Капитан Хорен получил разрешение на посещение то ли городской больницы, то ли больницы в Бухаресте. Выпускали после проверки. Он, тем не менее, хотел быть полезным друзьям. Каждый передал ему что-то, чтобы вынести из лагеря. Мои записи он укрыв у себя под одеждой, проверил сам себя, и ушёл. Хорен ушёл благополучно. Так и пропал, больше я его не видел.

Через несколько дней ко мне подошёл Бабкен, мол надо поговорить. «Я серьезно решил прикинуться больным. — Говорит. — Неизлечимым больным. Достал брошюру о менингите, изучил все симптомы. Так сделаю, чтобы меня взяли в лагерную больницу. Оттуда хочу попасть в центральную больницу или в Бухарест, и связаться с центром местной организации». К чести Бабкена надо сказать, что ему удалось осуществить свой план. Аршак, который работал в местной больнице, оказался участником этого плана. У меня чесалось в области паха. Написал, но мне просто выдали лекарство. Помогло.

Взятое нами направление было очевидно — мы двигались в сторону наших

В это время линия фронта достигла Дуная. Антанеску не явился по зову Гитлера. Бухарест сдали. Вопрос вооружения стал для нас насущным. Была необходима самооборона, Аша бы не стал этим заниматься. Беззащитная Румыния подвергалась воздушным бомбёжкам дважды в день. Особенно страдал Блоешт — этот крупный нефтяной центр. Издали слышали мы звуки этих воздушных ударов. Бросали вверх шапки, желали возвращения без потерь. А однажды мы увидели, как встретились в бою Мессершмидт и английский истребитель. Мессершмидт был вынужден бежать. Влетел в город, в деревья, в улицы и был бит как собака.

Аша не смел вооружать нас.

— Вы примените оружие против нас, — говорил он.

— Меж тем мы обязаны по спискам передать вас вашим, уполномоченным вашего высшего командования. Мы защитим вас.

В этот день некоторые отряды, согласно очереди, отправились в баню. В лагере царил тревога. Мы точно узнали, что немцы со своим дунайским флотом собираются удалиться в Венгрию. А Дунай был недалеко, рядом с нами. Мы знали, что фашистам хорошо известно место нашего лагеря, и что они в любую минуту могли прийти и устроить кровавую баню. Мы были в напряжении. Наше руководство вело постоянные переговоры с Ашей. Охранная группа Аши тоже была переориентирована — теперь немцы воспринимались ими не иначе, как через «Гитлер, капут!».

Вот в этот пасмурный день и взорвалась первая бомба на территории лагеря. К счастью, вреда она не причинила — упала на открытую площадку рядом с баней. Это стало отправным пунктом нашего освобождения. Вооружившись палками и железяками, мы стали крушить колючую проволоку и покидать лагерь. Так получилось, что в какой-то момент часть наших повернула к штабу, но там находились охранники, в полном составе и при оружии исполняя приказы Аши. Все три очереди не достигли цели — не было ни одной жертвы. Люди, находившиеся в бане, успели выбежать, прижимая к себе одежду, и присоединиться к нам.

С того момента, как лагерь был покинут, мы перешли в распоряжение нашего подпольного лагерного руководства. Нужно сказать, что, когда крушили проволоку, на крики сантилов уже никто не обращал внимания — они уже не имели никакого значения. Они не осмелились прибегнуть к силе и теперь были вынуждены смешаться с нашим потоком и двигаться с нами в качестве охранной группы. Пройдя какое-то расстояние, стало ясно, что необходимость в них отпала, и больше мы не видели сантилов на всём нашем пути.

Взятое нами направление было очевидно — мы двигались в сторону наших. Были тёплые августовские дни. По деревням, распростёршимся на десятки километров по шоссе, двигались мы к своему окончательному освобождению. Не было видно ни начала, ни конца нашей шеренги. Вся дорога была охвачена радостной, разбросанной толпой бывших узников или их отдельными скоплениями. Входят в деревни, меняются, кто чем может, беседуют, думают, что бы выпить. В тех полях не было родников — только колодцы на определённом расстоянии, оснащенные всем необходимым для того, чтобы достать воду — ведрами, журавлями, местом для отдыха. Первой нашей встречей на дороге стала встреча с толпой цыган. Они записались рабочими на льняном поле. Работы проходили почти что на открытом воздухе. Ну, а с цыганками всегда приятно, они непосредственны. Вдалеке был родник, мы сдружились с цыганками, идущими за водой, и... До темноты мы так и не дошли до сборного пункта, но о чем было беспокоиться? Кто мог потревожить нас? Мы могли заночевать в любом месте. Мы так и сделали вместе с Цолаком и ещё несколькими ребятами. Рано утром дошли до пункта общего сбора. Здесь мы стали организованнее, были преобразованы в часть Красной Армии. Командование взял на себя Хазанович. Больше не было надсмотрщика чужаков. Аша со своей группой сантилов подчинялся ему. Он не знал, как себя вести — с одной стороны он был обязан передать нашим, с другой — сам находился в подчинении, и очень боялся попасть в плен. Вот почему однажды он, прорвавшись сквозь народ, ушёл от нас.

Нас разместили в бараках, находившихся на Западе Краевы. Здесь жили эсэсовцы. Они быстро убежали, едва получив вест о приближении бывших узников, то есть нас. Это было заметно по покинутому ими лагерю. В нашем штабе уже кипели работы: перепись, подготовка к встрече. Как нужно рапортовать, где встречать, как оправдываться? Только теперь возникали вопросы. В конце концов, было решено отправить вперед нескольких представителей и встретиться с представителями фронта. В дальнейшем и это не вышло — они вернулись ни с чем. Кто бы их встретил, кто бы их выслушал? Уходите, исчезните!

Во всяком случае, мы считали, что оправдываться нам не в чем. Сам я готов был предъявить счёт, а не оправдываться. Мы думали, что важнее всего то, как мы вели себя в плену по отношению к Родине. Кажется, некоторым из «несогласных» удалось бежать. Знаю, что никто из наших армянских умников не подумал бежать. До этого мы свободно гуляли по городу. Бывали у парикмахера, ходили купаться в чистую, с песчаным дном речку. У кого были деньги, покупали фрукты, а все мы ждали...

Ни на небе, ни на земле не пахло больше войной. Город был полностью очищен, освобождён от захватчиков, не было ни немцев, ни румын. Народ же оставался при своих делах, как бы, говоря — уходящий пусть уходит, а приходящий приходит скорее. Не слышно было имени Антонеску. Очень скоро стало известным имя Григорио Бежа, как главы компартии Румынии. В центре города Кроява активизировалось коммунистическое движение. Вывешивались новые антифашистские лозунги на лентах, готовились должным образом встретить красных победителей. Город был готов к мирному вхождению Красной Армии.

Однажды, узнав, что наши вот-вот войдут в город, мы выстроились вдоль шоссе. Там все улицы и проспекты были лишены деревьев. Мы выстроились батальон за батальоном, отряд за отрядом всем полком. Во главе рядом стояли командующие. Вот и первый танк — с красным флагом. Трое солдат сидели на нём в разных позах. Не успели они дойти до нас, как в воздухе разразилось наше «ура!». Наше командование стояло на правой обочине шоссе, отдавая честь, но прошёл первый, второй, третий... четвёртый, пятый, шестой... никто не взглянул в нашу сторону, никакого движения в нашу сторону,

с глухим равнодушием проходили мимо нас лица с горящими глазами. Все было ясно: «У нас нет пленных». На нас смотрели, как на дезертиров, если не как на предателей.

Потом, когда мы вернулись, в наши бараки пришли люди из особого отдела и стали рыться в списках. Начали копать: расспросы, допросы, материалы, свидетельства. Кто чист, кто запачкан, кто продан врагу, кто служил... Нас сдали в особый отдел политработы Второго украинского фронта — на «дезинфекцию».

Я не знаю, что они проверяли, что делали — в тот период меня не вызывали и не допрашивали. Примерно через неделю моё имя прозвучало среди ряда других имен моих товарищей, по дороге мы узнали, что идём на фронт. Нас должны были отвести на Карпаты, однако не успели мы тронуться, как отозвали и направили в Бессарабию.

Там мы встретили других товарищей из лагерей. Вскоре нас посадили на поезд, и мы отправились в один из городов, далеких от линии фронта — Ара-де-Мари.

Ехали в открытом поезде. Это продлилось больше недели, так как железные дороги были перегружены — составов было множество. Сутками ждали, пока откроется дорога. Сначала пропускали поезда, обременённые военной техникой, продуктами, а далее по очереди, по степени важности. Этот порядок хорошо соблюдался — чётко действовало обеспечение фронта.

Вот в один из таких дней я и услышал неожиданно свое имя. Обернулся, и увидел, что из поезда, скользящего рядом, меня зовет Овакимян. Он, как я уже говорил, был начальником зангезурского штаба грузового полка. Он не вытерпел, прыгнул в наш вагон. Мы с ним пропутешествовали целый день. Он ехал из полевого госпиталя, был ранен уже в третий раз и выздоровел. Возвращался на фронт. Это была наша последняя встреча и последнее расставание. Он не вернулся.

Доехали до Ара-де-Мари. Там наши казармы постепенно наполнялись, укомплектовались. Мы надели форму нашей армии, но без знаков различия — этого нас лишили. В Ара-де-Мари рядом с нами жили другие полки, не попадавшие в плен. Там я встретил из Капана Грачика Нуруджяна. Он долгое время работал корреспондентов «Советской Армении». От него я впервые узнал о Капане, и о тыле вообще.

Каждый день мы выполняли упражнения и проводили занятия. Знакомились с автоматами, с новыми гранатами, с военной техникой. Понемногу знакомились с новыми тактиками ведения боя, с другими нововведениями Красной Армии. Честно говоря, особой нагрузки не было, а всё новое мы очень быстро усвоили. Ждали отправки на фронт. Здесь нам разрешили писать письма. Я написал Мартиросу. Попросил сообщить мне сведения о сыне — Гаруне.

Наконец, получили приказ подготовиться, вооружиться гранатами и автоматами к участию в боях за Будапешт. Отправлялись на следующую ночь. Стали готовиться, мыться, приводить в порядок автоматы, получать пули и гранаты.

К вечеру мы сели в машины и поехали. Доехали до восточной окраины Будапешта. Царила тишина, слышались только редкие дальние выстрелы. Совсем рассвело. Мы были в городе. Вокруг стояли полуразрушенные здания, почти все они были «ранены». После нескольких осторожных расспросов мы дошли к прибрежным улицам Дуная. Прятались, как могли. Всё происходило очень быстро. Прошли по полуразрушенному, залатанному большому мосту и без потерь перешли на другой берег.

Мы попали в Пешт — на левый берег. Здесь были свободные возвышения со скалистыми овражками. К вечеру мы еле поднялись, двигаясь от одного места к другому.

Ленинканцы шли за мной. Услышал, что Арсен, ставший капитаном, отстаёт. Он был архитектором, тоже ленинканец. Я остановился.

— Арсен, — говорю, — душа, ты почему отстаёшь, нельзя так.

— Дживан, у меня куриная слепота, что мне делать, я не вижу в темноте.

— Как это? А почему не сказал раньше?

— Не поверят.

— Арсен, не отходи от меня, не удаляйся, дай руку.

Начали спускаться. Мы шли не по дороге, а напрямую. Спустились к западной части города. Освещения не было, мы не могли сориентироваться, я слушал только выстрелы, но как понять которые наши, которые — их. В темноте мы скользили от здания к зданию. Дошли до линии огня. Там было большое многоэтажное здание. В той стороне, на краю улицы уже стояли они. В подвале здания нам позволили немного отдохнуть. Это был очень глубокий подвал. Раздобыли свечи и керосин. Каждый достал себе что-нибудь в качестве подстилки, чтобы немного поспать.

Каждый был сам наедине с собой, мы готовились войти в бой. Сукиас достал из карманов свертки и выбирал. Арсен стоял рядом с ним. Я достал стулья — себе и ему. Я засыпал сидя. Арсен чистил автомат, склонив голову. А я, сидя, дремал. Вдруг ребята стали разбегаться. Выяснилось, что обнаружен большой неразорвавшийся снаряд, по меньшей мере 60–70 см толщиной. Некоторые выбежали.

— Ара, взорвётся, бегите...

Началась паника.

— Ребята, кто рискнет вынести? — Нам некуда бежать, и здесь оставаться невозможно...

Никто не произнес ни звука. Я взглянул на молчание снаряда, на разорванный край бетона.

— Эх, судьба! — Воскликнул я и осторожно подошёл.

С четырех сторон шептали:

— Осторожно, осторожно!

Я постепенно сдвинул этого смертоносного великана, а потом сразу поднял на свои сильные руки. Мягкой походкой вышел из подвала. Осторожно дошёл до самого высокого места во дворе и опустил. Ни звука. Я был, казалось, загипнотизирован. Проскользнул обратно. Все обрадовались, хвалили меня.

Арсен все еще чистил свой автомат и сам себе ворчал под нос. Я заснул сразу, как только присел. Вдруг, под самым ухом — трах! Я вскочил.

— Что это было?

Я увидел, что Арсен лежит весь в крови.

— Арсен, Арсен, что случилось? Вставайте, ребята!

Все уже были на ногах. Арсен приложил раскрытую ладонь к сердцу. Кровь лилась между пальцев, сквозь одежду.

— Поздно, — еле прошептал он и испустил последний вздох. Я сжимал его грудь, мои пальцы были в крови. Я уложил его на землю.

— Ребята, приглядите, я позову нашего врача.

Я выбежал, была глухая ночь, только выстрелы слышались вдалеке.

— Биг, Биг! — Звал я, бегая то сюда, то туда. Биг был наш армянский врач, с русским образованием. Он возник рядом, мол, а я вас искал.

— Биг, капитан Арсен умирает, спешите.

Мы побежали, но Арсен уже умер. Погас.

Я достал из карманов Арсена часы, вещи, документы и пошел в сторону здания, стоявшего напротив нас. Там располагались наши ребята — Ашот, Мукуч, Азфт, Андо и другие. Я знал, что они будут там. Перейти было невозможно — это была открытое пространство под сильным огнем. Стреляли из автоматов, минометов и пулеметов. Я позвал их с этой стороны — не слышали. Нашел подходящий момент и прыгнул на их сторону.

— Арсен скончался. Помогите его как-то похоронить.

Сперва не посмели перейти на другую сторону под огнём. Я очень переживал, но что поделаешь — жизнь дороже.

Я передал часы и документы им, как согражданам, и побежал обратно. Пришёл и вижу, что на нём уже нет сапог и шинели. Я достал какую-то материю, укрыл его и снова побежал к ребятам. Как я был благодарен, когда увидел, что они уже готовы организовать похороны. Мы решили вырыть яму прямо у здания, возле того места, куда я отнёс снаряд. Рылось с трудом. Между тем, ребята-грузины уже написали на куске фанеры: «Капитан Арсен погиб за Родину, 1945, февраль».

Нас по одному побросали в горячие уличные бои. Реальность была такова, что выходящий погибал через 10–15 минут. Под приказ «штурмовики, вперёд!» мы выходили лицом к лицу и, стреляя, занимали позиции. Мы двигались только своим составом, были жертвы. Мы видели, что гитлеровцы отступают, но укрепляются на новых позициях, лезут в норы возле следующих домов. Наша артиллерия постоянно стреляла. Дома рушились. Мы ждали определённых приказов, объединения, но этого не последовало, выяснилось, что у нас нет непосредственного командования. Как «штрафников», штатный командир гонит нас на штурм, а сам остаётся на позиции — «бывшие пленные, павший пусть падёт, а кому суждено остаться в живых, пусть останется». Это очень плохо повлияло на нас. Но это война, надо уничтожить противника.

Все мы были бывшие члены командования. Были пламенные ребята, с общего согласия они взяли на себя командование. У нас появилось собственное командование. Начали углубляться в город. Прошли квартал, но нет ни тыла, ни средств для стрельбы. Дали короткую передышку. Собрались под одним зданием. Связались со штатным. Последний приказал двигаться по правой стороне моста, прочистить здания и улицу и под железнодорожным мостом выйти в следующий район города. Мы взвыли — нельзя под мост, он под другим прицелом, к тому же под перекрестным огнем. Мост был обрушен — его обстреливали, остался один скелет. Снова связались со штатными.

— Разрешите броситься на ту сторону поверх линий... Ответ был однозначный:

— Приказ не подлежит обсуждению. В случае неповиновения — расстрел. Штрафникам — без суда и следствия. Подчинились, пошли вперед, приблизились к мосту. Не успели собраться вместе, как попали под перекрёстный огонь. В считанные минуты от отряда ничего не осталось. Некоторым удалось отбежать назад. Я заметил лежащую по диагонали широкую рельсу. Я кинулся туда и во весь рост вытянулся, прилип к ней. Ещё двоим удалось повторить то же самое. Невозможно было сосчитать раненых. Я попробовал перетянуть к себе кого-то из тех, кто подошёл близко, но это было невозможно — мы были под сильным автоматным огнём. Он только успел воскликнуть «вах!» и так и умер под мостом. Я ругался.

Замолкли огневые точки противника. Вероятно, наши с напали с какой-то стороны и заставили их замолчать. Проверили — они молчали. Тут же приготовились вернуться на исходную позицию. Удалось вернуться невредимыми. Там никого не оказалось. Осталось найти единицы. Побывали в паре мест. Везде были раненые и оказывающие помощь медсестры. Перевязывали, очищали.

Необходимо было присоединиться к нашим. Наши уже прошли в глубь следующего района, перешли железную дорогу справа и уходили вглубь следующего района. Мы преследовали врага шаг за шагом, здание за зданием. По дороге я встретил ленинканца Андраника, расспросил его. Он был слегка ранен, перевязанный шёл назад. Я узнал, в каком направлении движется часть, и пошел в этом направлении. Опять предо мной предстала железнодорожная тумба. Собрались двумя-тремя товарищами. Необходимо было по одному забраться на тумбу и перекатиться на другую сторону. Бросился вперёд. Я поднялся и прыгнул одним движением, но сильно расцарапал ногу, было очень больно. Послышались выстрелы. Мои друзья остались на той стороне. Я не знаю, что случилось с ними дальше.

Очень скоро я присоединился к какому-то батальону. И здесь был отряд, состоящий из штрафников. Я был среди них. Командир был из наших, но я его не знал раньше. В течении действий он очень скоро узнал меня. Первая линия и изгнание немцев из зданий было поручено нам, будто наши жертвы не шли в счёт. Мы были под сильным огнем. От артиллерийских выстрелов рушились защищавшие нас дома. Снаряд попал в здание, стоявшее прямо рядом с нами. Здание рухнуло. Остался только тот балкон, под которым стояли мы.

Вечером мы немного передохнули, чем-то перекусили и продолжили ночное нападение. Была очень темная ночь. Перед нами была мощная преграда из зданий. Для нападения было необходимо изучить, найти слабую брешь в стене. Он вызвал 4–5 выбранных им рядовых, среди которых был и я. Он указал направления для исследования. Мне досталось левое крыло. Нужно было узнать, насколько укрепились фашисты. Мне предоставили одного рядового помощника. Я велел ему достать верёвку или кнут, чтобы один конец он



держал сам, а другой дал мне, чтобы не потеряться. Он ничего не достал. В темноте разглядели, что противоположная стена должна, кажется, быть совсем близко. Ноги ступили на каменное покрытие. «Хорошо, — подумал я, — на обратном пути по ним сориентируемся». Я попробовал шёпотом окликнуть своего помощника, но ответа не последовало. Я остался один. «Что делать? Один и выполняю своё задание». Я подумал и решил определиться. Правильно сделал. Подошёл к забору и растерялся — стена была гладкая, наверное, бетонная. Я прижался ухом к стене, как к радио — ни звука. Я слушал напряженно и ждал — ни звука, ни признака человеческого существования, кажется, не здесь час назад проходили горячие бои. Я расслышал слабые голоса справа. Начал осторожно двигаться в этом направлении. Вдруг услышал что-то, но это был не легкий шорох, а просто голос. «Видимо, здесь собираются, — подумал я, — вот только наши это или враги?». Еще немного приблизился — говорили по-русски. Я побежал в сторону голосов и смешался с людьми. Командиром этого отряда был один из наших ребят — Балашов. Начали двигаться вперед. Мы сами определяли направление движения и свое распределение. В полночь решили отдохнуть и немного поспать в большом здании. Еду нужно было добывать самим. В этом здании была длинная лестница, ведущая подвал. На этой самой лестнице мы и разлеглись, и стали поедать продукты, которые удалось достать, некоторые прямо там и заснули.

Этот отдых долго не продлился, на рассвете послышалось снова: «Давай, вставайте, ребята, пора». Дали направление движения. Начали двигаться вперёд. Квартал находился на склонах, крупные дома стояли густо. Мы вышли к группе зданий, возле которых было крупное сопротивление. Разделились на части. Командование выдвинуло по отдельному заданию для каждой из них. Необходимо было опасаться первого этажа. Мы присоединись к атакующим ребятам с первого этажа. Дали автоматную очередь, бросили гранаты и начали атаку. Обороняющиеся стали выпрыгивать из окон и дверей. Однако нашей задачей был второй этаж. Расположенные на втором этаже сбежали вместе с теми, кто оборонял первый. Несколько человек из наших были слегка ранены — мы оказали им первую помощь и продолжили продвижение. Подошли к очень большому зданию, которое было полным-полно людей — это были местные жители. Некоторые из ребят смешались с женщинами. Здесь снова нужно было ночевать. Выбрали открытую местность и очищенные дома. Были отрезаны от тыла, от основных частей. Ночью разожгли огонь, согрелись. Утром стало ясно, что мы собственными средствами и собственными силами должны дойти до возвышенности. По ту сторону от нее было последнее сильное укрепление противника.

Утром снова получили задание — отряд за отрядом. Мы попали на левый фланг. Сопротивление было слабым, мы с легкостью двигались вперед. Мы оказались посреди разбросанных по склону холма одноэтажных особняков. Здесь мы и встретили в первый раз чужестранные военные части.

— Что за часть? — спросил я.

— Венгерская.

— А вы что, с нами?

— Да.

— Тогда двигайтесь по левому флангу — чтобы нас не окружили.

Мой совет он воспринял как приказ.

Мы продвигались, почти не встречая сопротивления. Я вдруг понял, что это наше восхождение венчается с успехом лишь по той причине, что враг не успевает скопить свои силы в одном месте, укрепить сопротивление. Значит, остается одно — использовать случай и двигаться быстро, не позволяя противнику передохнуть. Мы метнулись к дому напротив, занимавшему хорошее положение. У нас был легкий пулемет. 4–5 человек из наших дошли до здания и заняли его с помощью выстрелов и криков «Ура!». Дошли без потерь. Я почувствовал, что эту группу буду я возглавлять. Я огляделся и понял, что мы оторвались от основной линии нападения. Сразу послал вперед связного, чтобы наши свободно двигались вперед — фронт свободен.

Довольно долго ждали. Чуть позже мы узнали, что наш левый фланг опустел. А слева пропали венгры. А мы двинулись направо, но боялись, что враг заметит это и подойдет к нашему тылу. Вскоре встретились с нашим правым флангом. Они тоже шли в правую сторону. Я подошёл к командиру, сообщил, что слева от нас никого нет, фланг открыт. Они ответили, что враг оттуда полностью ушёл и сосредоточился на холмах справа от нас. По дороге встретили большое здание, похожее на склад, кинулись туда, но внутри мы не обнаружили вооруженных людей — только прижимавшиеся друг к другу старики, женщины и дети.

Нас встретили как освободителей. Это были полупленные рабочие, привезённые сюда из разных стран Европы. Увидев нас, они обрадовались, свободно вздохнули. Начали меняться и даже дарить подарки. Наше командование назначило специальных людей, чтобы доставить их в тыл.

Мы снова переформировались. Мы снова шли вперед. Двигались быстро. Шли до тех пор, пока не встретили сильного сопротивления. Только мы встречали сопротивление, как начинался жестокий бой, но мы понимали, что нельзя допустить, чтобы они сумели организовать сильное сопротивление.

Мы оторвались от тыла, зато ускорили отступление врага. Где и как мы переночевали в тот день — не помню. Утром я с 7–8 людьми снова вошёл в левый фланг. Образовался развёрнутый фронт, мы оторвались друг от друга. С помощью связных стали уточнять наше расположение. В нашей группе были грузины, несколько русских и украинец.

Стали изучать местность. Жителей не встречали. Увидели дверцу землянки. После нескольких выстрелов оттуда неожиданно вышли люди с поднятыми руками. Это был отряд немецких связных. Был среди них и командир.

— Komm, komm, komm, — позвали.

Я вспомнил, как они звали нас на Керченском перешейке. Они были благоразумны — вышли и безмолвно сдались. Грузинские ребята стали их грабить. Меня чуть не стошнило. И грабить-то было нечего — что мог иметь солдат? Тем не менее, карманы, шапки и обувь были выпотрошены. В этот момент со мной случилось что-то неожиданное. Я, брезгуя происходящим, один-одинёшенек отошёл в сторону. Вдруг я заметил, что их командир, сторонясь остальных, направился в мою сторону. Никто не осмелился остановить его. Он протянул мне пистолет, карманную зажигалку и фонарь... Я опешил... Это был своеобразный жест благодарности за человеческое отношение. Я вспомнил солдата, который не отнял мои часы.

— No, no, no, I don't want! — Я отпрянул назад, употребив весь свой запас английского. Он понял и протянул мне только пистолет. Я принял его.

Теперь было необходимо доставить их живыми и невредимыми в тыловой штаб. Желающих было много, стали отпихивать друг друга: «Я поведу, нет, я!»

— Пусть поведёт один славянин, и один «чёрный» — грузин, — сказал я, зная, что эти шустрые в противном случае все наши достижения припишут себе.

Так и сделали, а мы стали преследовать по пятам передислоцировавшихся противников. Мы частично уже дошли до вершин холмов. Повернули, чтобы дойти до следующей вершины, однако встретили ожесточенное сопротивление. Неприятель сопротивлялся из последних сил, здесь было их последнее укрепление, последняя опора. Усилили все огневые средства. Было необходимо нанести сильный, и главное, быстрый удар. Однако, основные наши силы все еще были позади, за склонами холмов. Нам нужно было остановиться, пока они не придут. С другой стороны, промедление позволило бы врагу укрепить позиции. Нам везло только потому, что враг не предпринимал контрудара и не переходил к нам в тыл. Лично я боялся именно этого. Потому и старался укрепить фланги линии огня.

Дживан! Ты ранен?

В тот день я также находился на краю левого фланга и сам перед собой поставил задачу обеспечить защиту левого фланга. Мне помогал постоянно неразлучный со мной украинец, с которым я успел подружиться. Бой ожесточался, мы встретили бешеное сопротивление. Мы были под миномётным огнём, кроме того, стреляли ещё и с балконов. Мы вдвоём прыгнули в подвал следующего дома. Решили стрелять внутрь из окна. Едва успел пустить очередь, как вдруг почувствовал, что моя правая нога взлетела вверх. Украинец схватил меня и сразу посадил под стену. Я был ранен. Украинец исчез. Вдруг спереди наш Симонян подбежал ко мне (тот самый Симонян, что не выдержал давления в лагере в Галафате и выдал мою деятельность).

— Дживан! — крикнул он, — ты ранен? Дай мне снять твои сапоги, чтобы посмотреть, прошла насквозь или осталась? Не прошла — повезло.

Обувь наполнилась кровью. Как мог, перевязал, и пошёл искать санитаря. Я остался один. Двигаться не мог, а кровотечение усиливалось. Держал ногу неподвижно, чуть приподняв. Со всех сторон шёл ожесточенный бой. Немецкие миномёты уже сильно притесняли нас. Наши силы были оторваны друг от друга, и не было возможности вести артиллерийский огонь. Нужно было нападать — они перешли к обороне. Я лежал без надежды, с кровоточащей ногой. Нога была будто не моя — стала распухать и страшно болела. Я не мог ничего поделать. Я уже как-то сник и отключился, как вдруг вижу, кто-то ползёт ко мне. Я был под полуразваленным укрытием.

Этот человек не был армейским. У него в руках были свёртки. Он ползком дошёл до меня и взялся за дело — развязал и выбросил первую мою перевязку и стал быстро-быстро очищать, мазать йодом и крепко перевязывать. Когда он почти закончил перевязку, послышался свист, и... на прикрытие над нашими головами упала бомба и это так называемое прикрытие свалилось аккуратно в двух сантиметрах от нас. Мы остались под обломками и под землёй. Удар не повторился. Этот человек сначала отряхнулся сам, а потом и с меня стряхнул землю. На языке жестов успокоил меня.

Я стал просить его немедленно уйти.

— Go away, — еще раз вспомнил я английский и стал жестами показывать, чтобы он ушёл, стал толкать его, мол, иди, здесь смерть, оставь меня, иди, — go away!

Не ушёл. Закончил перевязку и только после этого ушёл. Кровотечение прекратилось. Где ты, добрая душа? Жив ли ты? Были ли у тебя счастливые дни, как я могу забыть тебя? В ушах моих звучит только одна твоя фраза: «I am the doctor. Give me your address, please».

Через какое-то время выстрелы стихли, и рядом со мной очутился Каро (он был из числа наших, узников Галафата). Увидел моё положение и пообещал подумать о транспортном средстве.

— Возьми мой пистолет и лишние вещи, — сказал я ему.

— Не надо, я сейчас найду какой-нибудь транспорт.

От него я узнал, что Симонян и капитан Хорен попали под бомбёжку и погибли. Ушёл. Я снова остался один, больше не появлялись ни Каро, ни кто-либо другой. Я остался лежать один. Мне нужна была помощь, чтобы хотя бы дойти до наших. Отчаявшись, решил пойти ползком.

Начал искать пистолет — не нашёл. Подумал, может Каро взял. Но не хочу верить этому.

Мой путь был долгий и мучительный. Я тащился по левому тротуару, прижавшись к стене. Дополз до окна-форточки какой-то подвальной комнаты. Стекла не было. Я просунул голову, и увидел там кого-то из наших. Это были военные, они носились туда-сюда. Среди них я увидел своего спасителя-врача. Скорее, он заметил меня первым и сразу узнал. Он кинулся к окну, втянул меня вовнутрь, уложил на какую-то кушетку и стал снова перевязывать мою рану.

На цокольном этаже были еще раненые. Вскоре до меня дошло, что этот добрый венгр был врачом, и это был его дом. Жена и дети были в отдаленной комнате. Этот настоящий человек собрал тяжело раненых, сколько смог, и ухаживал за ними.

На следующий день он снова заменил мою повязку. В этом же доме собирались также находящиеся поблизости здоровые воины, стоял вопрос об обороне. Из раненных только один был на ногах, остальные были неподвижны. На улице не смолкала пальба. Снаружи постоянно слышались крики раненных, но возможности помочь всем не было.

Нележащий раненый прилег рядом со мной, это был украинский крестьянин. Я невольно позавидовал ему — он был в состоянии двигаться. А он: «Не надо, я ранен в живот, я совсем плох». Он отошёл от меня, и вскоре послышалась фраза: «Он умер». Вечером его предали земле. Мы оставались на пересечении двух линий огня — наших и противника, с двух сторон огонь бил градом. Рана страшно болела, боль в ноге удвоилась. Двигаться было невозможно. В это время неожиданно объявился Каро. Я попросил его найти удобное место и с помощью палки перетащить меня после наступления темноты к нашим. Он ушёл под предлогом что-нибудь придумать.

Мы зашли слишком далеко вперёд и оторвались от основной части. По ночам вводили особое положение — немецкие объединения подходили вплотную к нашему зданию, кружили вокруг, могли ворваться в любую минуту. Тем не менее, не смели, они полагали, что внутри находятся укрепления.

Днем ребята из числа нераненых стреляли с первого и со второго этажа, создавая образ укрепленного поста. Стреляли и возвращались. Был у нас один дерзкий паренёк, он брал противотанковое длинноствольное ружье и располагался за узеньким окном.

Однажды наблюдатель заявил, что на здание движется танк. Я крикнул со своей кровати: «Держите оборону, ребята!». Этот смелый юноша спас нас. Он все время стрелял и менял расположение. Вводил врага в заблуждение.

Наконец, однажды ночью объявились связные. Мы были обнадёжены, решили, что приближаются силы тыла. Ничего не вышло, они молчали, ничего не говорили. Ушли на следующий день, покинули нас. А однажды пришла девушка-санитарка, одна-одинёшенька. Очень быстро и ловко перевязала нам раны и удалилась.

Наш честный врач продолжал заботиться о нас. Лекарства давно закончились, но он продолжать придумывать какие-то средства. Выделял нам порцию из своих запасов, делил с нами свой хлеб. Он был напуган. Пару раз его попробовали притеснить, но мы так набросились на него, что он сам стал охлаждать наш пыл. Он и сам был уже изнемождён, но продолжал заботиться о нас.

Прошла целая неделя, пока наши послали фургоны и ночью перевезли нас в тыл. Фургонов не хватало, нужно было перемещаться в две очереди. Меня оставили на вторую очередь. Мы — я и украинец Олег — попали в самый конец очереди. Водитель должен был быть очень осторожен, чтобы фургон двигался бесшумно и, что особенно важно, — не попадал под прожектора. Двигаться можно было только строго по следам предшественников.

От боли меня тошнило. Тряска добивала меня совсем, я попросил водить потише. Мы уже проходили вершину с другой стороны, как вдруг машина неожиданно встала.

— Что случилось? — спросили мы водителя.

Выяснилось, что он упустил след предыдущей машины, а места «границы» сам он не знает. Мы были уже далеко от линии огня. Он кинулся в стороны, поискал. Наконец, нашёл направление. Мы снова двинулись. Уже светало. Мы шли и шли. Кроме выстрелов не слышно ни звука, мы будто в мертвой зоне.

Мы спустились к сети городских проспектов, опутанных высотками. Снова наш фургон мотает из стороны в сторону. В воздухе уже проносились «мессеры» и «фокеры». Фургон остановился. Снова смотрим на нашего водителя:

— Что случилось?

Он и сам ничего не понимает.

— Я откуда знаю, — пойду посмотрю. — Сказал и ушёл.

Пришёл быстро. Хотел отогнать фургон, но не сумел:

— Нас окружили немцы... — сказал и ушёл, оставив нас.

Что за невезение. Вытянул шею, чтобы спросить у бегущих рядом, куда они бегут, но никто не останавливается, не слушает. Ищу какого-нибудь смуглого солдата, чтоб

расспросить. Нашёлся один. Бежал в панике, но остановился. Попросил объяснить, что тут происходит.

— Отступаем, — сказал он, — немцы прорвали тыл.

Я развернулся к Олегу. Попросил, чтоб держал узды и ехал за отступающими.

— Вставай.

— К чёрту, — лежит и сдвинуться не может. Не двигается с места, не может.

— Что будет с нами?

Попробовал сам взять узды, но не смог. Увидел ещё одного бегущего смуглого солдата.

— Займись этим фургоном и отвези нас хоть куда-нибудь...

Махнул рукой и ушёл... Решил сползти с фургона и кое-как добраться до противоположных зданий. Люди, находящиеся там, или заташат внутрь, или прекратят мои страдания...

Вдруг небо начало проясняться, бомбардировка ослабла и прекратилась. Чуть спустя объявился водитель нашего фургона.

— Ты где был?

— Расчистили тылы, дорога открыта, смерть фашистам...

К вечеру доехали до санчасти. Сначала надо было помыться. В баню была очередь. Нас бросили на холодный пол. Понемногу заносили внутрь, по очереди, скорее по выбору заносящих. Выпучил глаза, когда же меня занесут, кричал всё время:

— Сюда смотри, не видишь? Меня!

Никто на меня не обращал внимания.

Стемнело. Наконец и меня понесли на носилках, чуть облили теплой водой. Вскоре оказался под навесом в перевязочной, полной раненных и мед. работников. Они хлопотали над ранами всех видов и размеров.

Я попал на стол к одной медсестре — армянке. Наверное, это она меня заметила и уложила к себе на стол. Так и было — каждой национальности своё, где бы то ни было. Тёмненькая была, черноглазая. Я испил улыбку её глаз и сразу после перевязки успокоился, где-то в другой комнате, на койке, я заснул без одеяла и сновидений.

Из полевого госпиталя тяжело раненных загрузили в машины, чтобы отправить в тыл. Апрельское чистое небо сияло над головой. Нашим машинам было необходимо найти способ перейти на другой берег Дуная. В целях безопасности переходить надо было по понтонному мосту. По дороге мы видели много трупов и много раненных. Это было ужасно — они просили о помощи, но на них никто не обращал внимания. Прямо как вакханалия. Это были немцы, которые пытались окружить наших. Хоть и с опозданием, но специальная бригада успела прийти на помощь нашим и разбить кольцо окружения.

Вечером мы уже расположились во временной больнице. Утром опять подверглись бомбардировке, но здание не пострадало. Было бы лучше эвакуировать нас и перевезти поглубже в тыл. Нас разместили в поезде, который должен был отвезти нас до границы Румынии. Дня через два добрались до госпиталя.

Моя нога опухла и гноилась, это было опасно для жизни, необходима была ампутация. Я числился в списках на ампутацию. Вызывали своих, я пока ждал. Я просил, умолял, чтобы мне ампутировали ногу.

Однажды в общее отделение для раненных один румынский крестьянин с целью продажи принес тюки с вином. Пока договаривались о цене, ребята, которые были на ногах, начали отхлёбывать и бесплатно пить вино. Мужик начал плакаться и кидаться от одного к другому. У нас было несколько активистов, они-то кое-как и освободили мужика с остатками его вина.

Для предотвращения заражения каждый день проводили срочные ампутации. Я с нетерпением ждал своей очереди, звал и требовал, чтобы мою ногу ампутировали. В этот день и моё имя было в списке «ампутация». Ждал своей очереди, терпеть больше не мог, ужасно мучился. Оставался последний человек, через несколько минут должны были вызвать меня, как вдруг начали бомбить больницу. Все запаниковали. Тут же поступил приказ об эвакуации всего состава.

В этот раз нас послали в Румынию, в город Констанцию, расположенный на берегу Чёрного моря. Сюда, конечно же, прислали только тяжело раненных. Здания Констанции были большие, просторные, с удобными комнатами, залами, меблированные, с парками на берегу моря.

Здесь впервые обследовали наши раны. Медперсонал был многонациональный, нас обслуживал полный коллектив лучших специалистов. Было много румын. Именно они и выяснили, что мою ногу можно вылечить и без ампутации.

Меня оперировал грозный врач, не то татарин, не то азербайджанец. Он меня не усыпил, может не было снотворного или ещё что, не знаю, но хорошенько всё подготовил:

— Давай попробуем лечить. Ампутировать всегда успеем.

Делайте что сможете, доктор, — просил я.

— Ты должен терпеть и мне не мешать, чтоб вычистил всё.

— Вытерплю, доктор, буду терпеть, сколько надо, — ответил я.

Он начал свою работу. Чувствовалось, что он работает от души, в полном напряжении сил. Скрёб мои кости так, как будто сердце мне выскребал. Боль невозможно передать словами, но, стиснув зубы, я терпел. Медсёстры держали меня за руки и ноги.

— Ну, терпишь?

— Да, доктор, ты только лечи, — прорывал я, скребя зубами и кусая губы.

Врач стоял весь в поту, перевёл дух и заново принялся чистить.

— Очень, очень много гноя, ещё чуть-чуть, ещё немного потерпи, — повелительным тоном бубнил себе под нос, продолжая чистить.

— Терплю, доктор, терплю...

Наконец я услышал долгожданный его возглас:

— Достаточно, уже всё чисто, перевязывайте...

Перевязали и отвели в палату. Рана моя была очищена и обработана, жизнь спасена.

Военнопленные откуда явились, туда пусть и возвращаются

Спустя несколько недель нас перевозили на Родину. Наш поезд двигался в сторону Украины. Проезжали украинские степи. Вспомнил, как во время плена проходили тут с понишкой головой. Кое-где ещё лежал снежный наст. Доехали до Северного Кавказа. Наш поезд взял направление на Кубань, в город Лябинск. В больнице города Лябинска было стабильно, но дефицитом было всё, с оговоркой «всё для фронта».

Здесь нас разделили по званиям. Документов у меня не было, поэтому-то меня и бросили к рядовым. Была разница в обслуживании и питании. Доложил начальству, что я в среднем офицерском составе. Они взяли данные мной адреса, и вскоре получили основную часть моих документов. Меня перевели в офицерский состав. Снова должен был оперироваться, должны были снова чистить и обрабатывать мою рану. Я был истощён, у меня был недостаток крови. В это время все девчонки были в роли доноров. До операции мне должны были сделать переливание. На талоне образца сданной им крови каждый донор оставлял свои данные, а также и поднимающие дух теплые человеческие слова. Эту записку мне и дали. Спрятал, но сейчас не могу найти, и не могу вспомнить имя и адрес этой девушки (скорее всего, жена уничтожила).

Здесь, в этот раз со снотворным, меня прооперировал очень опытный добросердечный врач-еврей. Он окончательно подтвердил, что моя нога подлежит лечению, а не ампутации. А война уже заканчивалась, первая линия фронта уже дошла до Берлина.

Больница находилась в большом двухэтажном здании школы, расположенном довольно далеко от основного массива зданий. Здесь мне представилась возможность написать письмо двоюродному брату Мартиросу. Сообщил о том, что жив, и о том, где нахожусь.

Вскоре он приехал проведать меня. Его приезд совпал с теми днями, когда весть о победе на крыльях распространялась по всему миру. Какое радостное потрясение...

С утра в больницу набегали люди. Все были с подарками, с выпивкой, с едой. Восторг, радостные восклицания, крики «ура», поцелуи, объятия... Это было 9 мая 1945 года.

Мартирос приехал, увидел моё состояние и вернулся для того, чтобы перевести меня в Ленинанский госпиталь. Вскоре вернулся с необходимыми документами и устроил мой перевод. В этот период он успел перезнакомиться с местными армянами и связался с одной вдовой.

Вместе поехали в Ленинан. В эти дни очень сложно было достать билеты на поезд, но пользуясь моими льготами раненого, мы кое-как добрались. Без каких-либо проблем,



меня уложили в Ленинаканский госпиталь. Выяснилось, что и здесь я должен оперироваться.

Мартирос стал часто наведываться в город Лябинск, к своей знакомой. Здесь он и придумал стать закупщиком необходимых стройматериалов для различных колхозов Армении, в данном случае, для колхозов Ширакского района. В то время во всех сельхоз объектах Армении был большой недостаток стройматериалов, не было стоил, а те, что были, находились в ужасном состоянии, стояли полуразрушенные. Мартирос подписал договор с одним хозяйством в Артикском районе и поехал привозить брёвна. Там он всё проплатил, накормил-напоил рабочих и нагрузился сверх меры. Недостатка в брёвнах там не было — леса Сибири бесконечны... После удовлетворения законных требований и оплаты долгов перед колхозом, Мартирос и его друг Каро начали продавать остатки другим организациям и частным лицам, или совершали товарообмен. Но все эти махинации раскрылись. На протяжении всего этого времени я пытался образумить его и заставить прекратить всё это. Наконец это удалось, Мартирос вернулся к своей профессии — он был отличным кондитером. Как назло, сахар, муку, яйца, масло и другие необходимые ему полуфабрикаты очень сложно было достать в это время, а он не мог сидеть, сложа руки. Трудолюбивый, прилежный, с фантазией был человек.

Оперировался я уже в шестой раз. Это произошло под руководством армянского хирурга, опять-таки под наркозом. Это было окончательно. Мне сказали, что гной ещё будет собираться, но нога прослужит долго. В больнице я остался до осени. Как только я начал передвигаться на костылях, написал письмо в Капан, друзьям по работе, объясняя, что я соскучился по сыну. После этого Барашкова с сыном приехали ко мне в больницу, в Ленинакан. Прошло аж пять лет. Мой сын довольно-таки вырос, и обо мне у него не было никаких воспоминаний. Всё что подготовил — преподнёс ему. Уехали обратно — в Капан. Наконец, и я выписался и решил остаться в Ленинакане. Обратился в Ленинаканский отдел народного образования насчёт работы, объяснил, что ничего не имею: ни средств к существованию, ни семьи. По документам было видно, что я был в плену.

— Нет, — сказал заведующий, — военнопленные откуда явились, туда пусть и возвращаются.

— Тут у меня ничего нет...

— Понимаю, но требования такие...

Пришлось возвращаться в Капан, на своё рабочее место. Поздно вечером, когда стемнело, прибыл в Капан. Ни с кем не хотел встречаться... Сторонясь, потихоньку доковылял до дома и вошёл в свою каморку, которая служила моему сыну и его матери квартирой. Кушать было нечего, даже суточного пайка у неё не было. Она была учительницей.

В руководстве района были знакомые, поэтому моё пребывание в плену не вызвало отрицательных последствий. Как человеку знающему и близко стоящему к театру (одно время я писал рецензии к районным выступлениям), меня назначили директором театра. Я посвятил себя этому новому для меня поприщу. Времена были трудные, район был беден, пешком обходили деревни, я — инвалид со своей больной ногой. Денег не выходило, трудно было финансово обеспечивать, тем более что не было реквизитов, не продавались. Был у нас упёртый режиссер, как начинал орать: «Нет! И нет! Должен достать». Однажды прицепился:

— Должен достать, для того чтобы постановка была хорошая, в противоположном случае я посчитаю, что ты не хочешь, чтоб у нас была нормальное выступление.

— А кто не хочет? Все хотят, ну пойди и достань. Сам попытайся найти.

— Нет, это не моё дело, ты должен достать, из центра приедут смотреть...

Из центра приезжают... Надо хотя бы в столовую сводить, чтоб слаще на тебя смотрели. Как? У меня у самого денег не было — каждый день ел хлеб с помидором.

Дома не было, уходил из дому, чтобы Барашкова остыла по отношению ко мне, надо было разойтись, чтобы создать нормальную семью.

В ЗАГСе уже был, сына записал на свою фамилию, чтоб был законным сыном своего отца, но развод был неизбежен. Барашкова не допускала и мысли о разводе, впадала в бешенство. Жить с ней было невозможно: ужасно, слепо ревновала. Вдобавок была неряшлива, абсолютно не хозяйственна. Повестки на развод, приходящий из суда, разрывала, выбрасывала и не являлась. Долгое время я ночевал в театре в своём кабинете на столе, укрывшись взятой из дому шинелью.

Однажды ночью, оставив ребёнка одного, взяла на стройке бревно, упёрла в землю, и, не понимаю, как, открыла окно и забралась внутрь. Проснувшись по какой-то причине, увидел её, стоящую над головой... Что-то невозможное. Приподнял и выставил за дверь, чтоб отстала от меня. Терпеть это было невозможно.

До войны я возил её на Родину в Вологду. Договорились, что повезу и представлюсь её родителям как муж и отец ребёнка. Потом должен был оставить её и вернуться. Она должна была работать там.

Приехали в Москву. Пока в Москве ждали нашего поезда, я, воспользовавшись возможностью, вышел осмотреться. На одной открытой площадке поднялся шум, началась паника. Прибыла милиция. Была не то кража, не то драка, я не понял. Милиция и разгоняла народ, и пыталась поймать кого-то в качестве виновного. Всех разогнали, а меня схватили, чёрный, мол и по-русски плохо говорит. Потребовал отпустить меня, сказал, что ничего не знаю. Даже не выслушали, насильно поволокли в своё отделение.

Здесь кое-как объяснил, что я человек приезжий, жена у меня русская, едем к её родителям в Вологду, жена с ребёнком на вокзале, у нас на руках билеты на поезд, уедет — останемся, а денег больше нет, чтоб заново билеты покупать. «Не верите, — говорю, — можете проверить всё сказанное мной».

Не слушали. Дежурство сменилось. Приближалось время отбытия поезда. Второму начальнику также дал объяснительную, всё попусту... Когда убедились, что взять ничего не получится — выпустили. Еле поспел к своим. Нашёл их, когда, бросаясь из стороны в сторону, искали меня целой компанией, так как Мария познакомилась и подружилась с едущими в Вологду пассажирами. Успел в последнюю минуту. На следующий день добрались до её отчего дома.

Остался на несколько дней, познакомился с бытом, с историческими достопримечательностями. Они были на высоком уровне: большие и тёплые залы, обставленные мебелью, бальные залы, летние прогулочные парки... Через некоторое

время я должен был возвращаться. Она чуть не встала и не поехала за мной. Уезжая, всё смотрел, нет ли её...

Всё, поспешил на свой юг, на своё рабочее место — в Капан, в мой Капан. Спустя несколько месяцев в один из январских дней получаю телеграмму из Баку: «Мы на вокзале в Баку, приезжай заберите нас». Что мне было делать? У неё на руках мой ребёнок... Поехал забирать. Опять я у разбитого корыта.

А в это время в театре встал вопрос о занимаемой мной должности в связи с пребыванием в плену.

Вернулся к своей педагогической деятельности, но вскоре и это прекратилось — для тех, кто был в плену, работы не было, была лишь депортация... Постоянно вызывали на допрос. Я отвечал с открытым лицом, я был обвинителем, а не обвиняемым: почему под Керчью оставили целую армию, а они, «вышестоящие», смылись на большую землю? Ведь мы держали зубами всё до последнего кусочка земли и ждали подкрепления. Ждали, что переведут на другую сторону пролива. Сколько бессмысленных жертв было в его водах.

Насчет работы обратился к первому секретарю райкома. Он мне ответил:

— Ничего не могу для вас сделать, виновные должны отвечать за свои ошибки, ты давал клятву по сталинской конституции, почему ты не убил себя и позволил взять в плен? Для пленных у меня работы нет. Самое большее — можешь работать в шахте.

— Я инвалид, как мне работать с костылём?

— Вы человек с высшим образованием, я думаю, не следует вам разъяснять нашу политику... Свободны.

Я вышел с затуманенным взором, ничего не видел, не мог ни о чем думать. Перед глазами только реки бурлили, мосты скрипели. Вдруг понял, что могу надеть глупостей. «Нет! — подумал я, — я только женился, у меня будет ещё ребёнок. Нет! У меня есть сила воли, победа за мной. Хотя в данный момент все двери и закрыты, но я не потеряю надежду из-за одного тупого секретаря. Я стоял перед Ашой, жил в „собачей будке“ и вышел победителем. Нет!». С почерневшим сердцем ввалился в дом. Только женился, по обоюдному согласию. Был удостоен этой судьбы. Она тоже была в разводе. Из-за неё молодой и подающий надежды режиссёр районного театра пал жертвой на почве ревности. Она считалась бесплодной. Впоследствии она родила мне второго и третьего сыновей.

Я опять пошёл к секретарю райкома:

— Самоубийство, — сказал я, — идиотизм, я этого идиотизма не совершал. В этом ли моя вина? Если на мне лежит вина, оформите мне её официально, и я понесу этот крест. Говорите, «сухое от мокрого не отделишь», нету времени заниматься военнопленными. А для чего тогда такой большой аппарат? Вы и ваши работники разве не для граждан, не для людей? А для кого вы? Для ваших жирных должностей?

Наш заведующий РОНО — Иван Мартиросян («Иван-диван-Дживан») был хорошим другом. Мог держать меня под своим покровительством в резерве. Он сумел не вычеркнуть, не исключить моё имя из учительского списка. Если бы вычеркнул, кто бы

ему что сказал? Побывавший в плену преподаватель не должен иметь дело со «здоровым воспитанием» детей.

Однажды с какой-то запиской послал меня в районный военкомат к Айрапетяну, чтоб мне разрешили проводить занятия с неграмотными призывниками. В то время для этого мероприятия, в бюджете РОНО предусматривался специальный фонд (который обычно зря исподтишка растрачивался). Этот «здравомыслящий» коротышка Айрапетян решил не доверять мне, продемонстрировав «партийную выправку».

— Что, Мартиросян предполагает, что общение с призывниками менее ответственное дело? Не могу разрешить. Теряет партийную выправку...

Опять ничего не получилось. Надо было искать средства к существованию. Вынуждено пошёл к одному азербайджанцу сено косить.

Со дня окончания войны прошло довольно много времени, жизнь начала бурлить: из рабочих районов и райцентров многочисленные учительницы стали уходить в физиологические отпуска. Мартиросян начал искать для меня место заменяющего. Стали понемногу становиться на ноги, начали жить.

Иван отослал меня подальше от глаз — на строящийся объект «Каджаранстрой». Здесь я должен был организовать вечерние занятия для полуграмотных и имеющих начальное образование рабочих.

Смог организовать работу, устроил запись и начал заниматься. Создалась школа в Аване, и я стал её директором. Вскоре была создана начальная школа в Каджаранстрое под моим руководством. Мой заработок увеличился. Появились работающие со мной и другие учителя, учительницы. Анкаванская школа отделилась и стала ответвлением нашей школы под моим руководством, так как «началка» деревни Каджаран присоединилась к централизованной школе Каджаранстроя.

В те годы в Капанском РОНО накапливался большой бюджет (чтоб икнулось моему другу Ивану). Что он делал, черт его знает, но наши всевозможные занятия оплачивались. Начал полноценно обеспечивать свой дом.

В этот период полностью порвал с Барашковой. Она наконец-таки потеряла всякую надежду на мой счёт и неожиданно позвала меня проводить её; суд убедил её в неизбежности развода.

Я сразу же поехал. Вещи были собраны. Заново распаковала, купленный мной билет разорвала. «Всё, не еду, я посмотрю на какой это армянке ты женишься». Вернулся. На следующей неделе снова позвала меня провожать её. Снова пошёл — то же самое.

В итоге поняла, что я настроен окончательно, и к ней не вернусь. Сникла. В один из дней повёз её в Миджеван. Ждали поезда на Баку. До прибытия поезда я поспал рядом со своим сыном.

Чего бы я, несмотря на расстояние по-отечески ни делал для сына, всё же глаза моего Гаруна всегда смотрели мне вслед. Так я окончательно расстался с Марией. Ей дали назначение в Сисианском районе...

Там тоже кого-то захомутала. Потом этого несчастного загрызли волки. У неё родился ещё один ребёнок — мальчик.

Во время репатриации 1930-ых годов родители моей жены Норы обосновались в Вачагане, а потом переехали в Капан, там им дали полуразрушенный заброшенный дом, принадлежавший когда-то одному азербайджанцу. Они привели в порядок это полуразрушенное строение, пристроили новую комнату с крышей и полом. Потом вышло постановление о возврате старого имущества бывшим владельцам. Здесь на сцену вышла вдова бывшего домовладельца — Перчеан. Подала в суд, чтоб приватизировать и комнату, отстроенную Гукасяном. В это время отца в живых уже не было, и в роли хозяев были мать с дочкой. Нора родилась в Греции, но выросла в Капане. Суд постановил провести выдворение и совместно с новой комнатой собственность передать Перчеан, как бывшей хозяйке.

Жить мне было негде, поэтому я просто поселился у своей избранницы, и мы создали семью именно в этой комнате. По прошествии нескольких дней явился судебный исполнитель, мол «должны освободить».

— Брат, друг, исполнитель Егор, — спросил я, — если б не при исполнении, чья это новая комната?

— Это не моё дело, я вердикт привожу в исполнение.

— Ладно, сейчас оставь нас в покое, я сам пойду к судье — Тираку. Пошёл, обратился. А Тирак:

— Нет, право на собственность подтверждено свидетелями, обязаны освободить.

— Какой именно части собственницей она является? Старых стен или новой комнаты? В таком случае мы разрушим построенное Гукасяном. Ни нам, ни ей. Кроме того, а нам куда идти? А про нас почему не думаете, народный судья Тирак?

— У вас нет прав на эту комнату. Куда хотите идите, к кому хотите обращайтесь.

Подав апелляцию. Верховный суд тоже решил, что следствие и постановление по этому делу были объективны. Мы были обязаны освободить комнату. Вердикт суда подтверждался.

— Тьфу на вашу порядочность, сволочи, — бросил я в лицо Тираку во время второй встречи.

Я всё равно не съеду, до тех пор, пока не обеспечу себя жильём. Однажды спускаюсь с Каджарана, смотрю — Перчеан всё, что у неё было — не было, перевязала и сложила именно в маленькой комнате. Моя жена и её мать молча плакали, а Перчеан в моём присутствии визжала и рвала на себе волосы.

— Вы, — говорю я своим, — не вмешивайтесь, сидите спокойно, я знаю, как её приструнить. Сел и спокойно начал кушать. Официальные советчики Перчеан тоже явились. Предупредил, что таким способом она ничего не добьётся. Мы ляжем спать, а она пусть дежурит. Скоро комбинат выделит место, мы съедем. Или я разрушу комнату... Основная часть этой комнаты — наша застройка. Те люди, видя, что ничего не выйдет, увели Перчеан с собой.

А однажды этот подлый калека — Тирак — вне работы вызывает мою жену, вроде насчет комнаты. Этот «примитив» попытался изнасиловать её...

Я обратился к начальству комбината, сказал, что жена моя — ваша лучшая работница, я педагог, вы должны бы выделить нам угол для проживания. Переложили на горком. Горком — на комбинат. В этом промежутке открылась возможность кредита.

В этот период правительство возвращенцам отпускало кредиты: на жилищное строительство. Предоставлялись и запланированные участки. Моя жена и её мать считались новоприбывшими: на её имя мы получили кредит (35 000 старыми деньгами) и участок на окраине. Начал заниматься этим делом, но где я — где строительство.

Сразу же постарался ношу в 35 000 не пустить по ветру. Посоветовался с городским архитектором Оником. Сказал: «Эти 35 000 тебе, брат, а мне построй и сдай дом». Оник был мастером своего дела, ленинканцем; взял деньги и начал тянуть. После долгих проволочек вынужден был честно признаться, что ему не дают разрешение на эту деятельность. Мой старый друг Артём посоветовал мне держаться подальше от таких пройдох. Мы с женой решили купить готовый дом, но и это не вышло. А мы всего-то хотели иметь свой мирный угол с земельным участком. В колхозе Бежа, в загородном участке, на левом берегу реки, был таковой. Взяли, Оник пришёл, замерил, оформил, удостоверял, мол, это ваше навечно. Всё идеально, как раз то, о чём мечтала моя жена. Уже родился наш сын Аванд. Тем более радости моей «бесплодной» жены не было предела.

Начал строительство своего дома без опыта и знаний. И слева и справа попал впросак: стройматериала не было, мастера запрашивают дорого, обманывают. Оник опять обманул — взял крупную сумму, вроде чтоб привезти из Кировокана черепицу для покрытия... Умер уж, а до сих пор везёт...

«Чёрные машины» вышли на сцену, чёрными ночами ловили, увозили тех, кто был в плену, тех, чьё прошлое сомнительно, тех, чьё настоящее неблагонадёжно; имеющих склонность к религии, имеющих связи или родственников за границей, придерживавшихся оппозиционных взглядов, всех, всех.

При помощи партийного актива, с заранее подготовленными списками, неожиданно, в течение нескольких часов должны были «очистить» советскую родину.

Я содержал сироту, родственника со стороны жены, Степана. Положение было такое, что полностью готовыми ждали своей очереди. Оставляю разбросанный стройматериал на ребёнка — Степана. Жена плакала, говорила: «Я с тобой поеду, разрешают. И ребёнка с собой возьму, как-нибудь вырастим».

Не принимал никаких обвинений, сам требовал спать спокойно: «Свой гражданский долг я выполнил, и где бы то ни был честь советской армии я не посрамил». Мне говорили, моя вина в том, что не убил себя, попал в плен. На это я отвечал: «Почему нас в плен сдали, а сами убежали...»

Много семей разрушилось в те времена, много было жертв, а ведь даже не закончился траур по погибшим на войне. Страшное и ужасное было правительство, тоталитарный режим.

Кое-как закончил строительство дома и заселился. Новая жилплощадь, новые соседи. Должен вернуть 35 000 — легко каждый месяц выплачивал приличную сумму. Здесь у нас родился второй ребёнок — мой Армен (одного ребёнка мы потеряли ещё в утробе матери, по нашей вине...). Наша семейная жизнь начала налаживаться и вскоре стала такой приятной и счастливой, что, употребляя словосочетание «идеальная пара», имели ввиду именно нас.

В противовес Норе, её престарелая мать была настоящей ведьмой. Мужа держала впроголодь, дочь выставила на продажу. Она постепенно пыталась отравить любовь дочери ко мне, но наша жизнь лилась как музыкальное произведение, сладко и спокойно, под крышей построенного нами дома. Я был воплощением её мечты — Джано («душа»), так и звала меня.

Политические репрессии прекратились, я спустился пониже — в Капан, поближе к семье. В нашем растущем районе открыли филиал средней школы, опять же за счет конторы Ивана-Дживана (диван канул в историю). Некоторое время спустя школа превратилась в полную семилетку, с типовым зданием, даже в среднюю образовательную с самым большим зданием.

В этом промежутке Норина придурочная мать строила козни против меня, пыталась свести дочь с молодым человеком, выигравшим лотерею госзайма.

Это бы стало крахом для Норы, во всех смыслах. Она быстро опомнилась, и последняя опасная попытка со стороны матери была устранена, обезврежена навсегда. Каждый день, после работы Нора бежала домой, у неё была швейная машинка и золотые руки. Кроме того, для соседей она была любимой собеседницей.

Каждый день на руках со старшим сыном я ходил к ней на работу. Она заканчивала её, и мы вместе возвращались домой. Там нас ждали маленький Армен и старуха.

В тот день вечером должно было состояться заседание избирательной комиссии. Я был ее секретарём, а председателем — Нуриджанян Завен. Стояла ранняя весна. Жену выписали из больницы домой. Опять мы были в проблемах. Пошёл за ней без ребёнка. Быстро собралась, и мы вышли. Призналась, что получила похвальную грамоту из Москвы от профессора. Потом рассказала, что взяла со склада обувь — одну туфлю, показать мне, если понравится — возьмёт и другую, если нет — отдаст эту обратно. В таком приподнятом настроении и вышли.

— Джано, — сказала она, — пойдем «обмоем» магазины, с рынка курам немного ячменя купим, а потом — домой.

Пошли. Детям немного шоколада купили, наполнили бутылку чистой городской водой и собрались домой, как вдруг я вспомнил, что у меня заседание комиссии. У неё в руках была ноша, я сказал: «Давай лучше пойдём на заседание, вместе посидим, быстро закончится». При этом разговоре присутствовала её украинская подруга по рабочему кабинету. Она сразу накинулась, мол, что я Нору везде с собой таскаю...

— Что ей делать на твоём заседании? Пусть спокойно идет домой к детям.

А Нора мол:

— Правильно говорит.

И меня уговорила:

— Ваше заседание продлится, дети ждут, я пойду, а ты потом придёшь.

Взяла у меня легкие сумки и пошла. Сколько повторял:

— Оставь тяжёлое, я сам принесу.

Не послушала:

— Что тут есть тяжёлого.

Расстались, я пошёл на своё заседание.

Избирался работник рудника — Грант Багдасарян. Довольно долго сидели — не все собрались. Разговаривали, и темой беседы нежданно, непреднамеренно, случайно была смерть. Под конец согласились считать собрание так и законченным. С преподавателем семилетки, Саргисом, потихоньку направились к нашим домам. Подошли к дому Саргиса и заметили несколько наших учеников, бегающих туда-сюда. Один из них — Вазик (он сейчас работает в театре), заметив нас, запыхавшись, поспешил нам на встречу.

— Товарищ Дживан, ваша жена, Нора, упала и умерла...

— Ты что такое говоришь, парень, кто тебе такое сказал?

— Мы идем оттуда, от вашего дома, никто не знал, где вы, чтоб сообщить...

Я бросил Саргиса и побежал. Бежал и не верил, думал, ребёнок неправильно все понял... Добежал до участка, смотрю в сторону нашего дома. Там была толпа... «Это признак смерти», — подумал я и кинулся к дому.

Путь мне отрезали:

— Успокойся, возьми себя в руки, товарищ Аристакесян!

— Пустите меня, дайте посмотреть, что произошло. Не может этого быть...

Как живая была, как будто спала... Бросился к ней, погладил... Обезумел: «Нет её... Улетела горлица моя, радость моя, душа моя, ангел мой... Ушла-улетела...»

— Где мои дети? — единственное, что я вспомнил.

— В доме у бабушки Сирекана, держись... — будто во сне слышался мне чей-то голос.

Вот так я потерял любимую жену и мать моих детей... Это было 20-го февраля 1954 года. С помощью педагогических коллективов, займом, выделенным руководством рудника, я смог предать её тело матери-земле. Были мнения, что ее могли отравить, слишком стремительной была смерть... Обратился к патологоанатомам — они согласились провести вскрытие, если труп эксгумируют. Обратился для получения разрешения — из Еревана ответили, что поздно уже.



Случилось так, что было необходимо перезахоронить её во второй раз, так как должны были перевести её останки на специально предоставленное кладбище. К тому времени, когда мы с соседями переносили её гроб на новое кладбище, от нее остался один гребень в волосах... Тело не то что сгнило, а растворилось...

Так и осталась невыясненной причина её смерти. Упала с лестницы, у матери на глазах ударилась об землю и всё... Если б в этот день я был рядом с ней, может, ничего не случилось бы, а если б случилось, то было бы ясно, почему.

После окончания годовщины привёл в дом третью и последнюю женщину. Эта развелась также по причине бесплодия. Родила мне двоих сыновей — Сюнита и Сасунита. В этом случае для меня главным была не супруга. Она должна была вырастить моих детей и произвела на свет новых отпрысков. Такое счастье было дано как ей, так и мне. Ей тоже было трудно — она должна была стать родной матерью для всех моих детей. Если были какие-то ситуации, которые она не понимала, я ей объяснял. Так было застраховано наше благополучие.

Я дал жизнь и воспитал пятерых отпрысков мужского пола. Это и есть дорога к процветанию моего народа, моей нации. «Сердце рода» — это вышло из-под пера Варужана. «Мой род» должен расти, чтобы мы победили...

«Гарун — завет», — сказал первому,

«Аванд — военачальник», — сказал второму,

«Армен — мужчина», — сказал третьему,

«Сюнит — воин», — сказал четвёртому,

«Сасунит — крепкий», — сказал пятому.

Пусть идут, множатся и читают заветы рода своего.